АЗБУКА ВЕРЫ

Псаломщик

Художественная литература · azbyka.ru

Псаломщик – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/psalomshhik

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

Псаломщик

Псаломщик

Посвящается моему погибшему другу юности – Михаилу Сергеевичу Евдокимову, воистину народному артисту России.

Пролог

Чужие люди изорвали в клочья мой житейский букварь, а я выучился читать по нему себе на беду. Теперь мне кажется, что после московского мятежа девяносто третьего года прошли столетия.

Я лишь чудом остался жив на раздавленных баррикадах.

«Господи!» – сказал я в ночь перед штурмом. – Если останусь живым, то буду служить тебе всем, на что Ты дашь мне силы…»

Молиться я не умел, но, видно, кто-то из мертвых молился за меня.

После всего пережитого на баррикадах занятия литературой стали казаться чем-то вторичным, а наш брат писатель – докучливым болтуном. Мне стал омерзителен город с его пирами, на которых стоял густой запах трущобной помойки.

Как штиль, пришла опасная усталость. Мне казалось, что рассудок мой помрачен, и прекратилась сокровенная музыка в душе.

Я слышал пустословие людей, которых еще вчера несчастный народ возносил как знамя. То, что они делали, напоминало мне отточенную борьбу нанайских мальчиков. Они партийно-классово и аппаратно-кассово были всегда близки к властям и жили в другом пространстве с его временем. Над ними не капало.

Мне захотелось бежать из Москвы, как с чужбины, в долгое целительное молчание. Забыть сорные, утратившие смысл слова, перейти на церковно-славянский язык, который пока еще не знали и не уродовали все эти егеря-загонщики, охотники до чужого…

И я бежал, чтобы глаза не видели позора столицы, как позора матери. Запалился, хотел пить, но вода была мутной от золы и пепла чудовищного крематория, где заживо сгорала, корчилась и не хотела умирать моя изумительная планета Россия. Я стал пить водку – паленая водка едва не спалила рассудок. Я уже не жаждал сначала реванша, позже – покоя. Пришло равнодушие.

Почти десять лет бежит моя тень за тенью родины. Искать ее – все равно что искать мой городок Китаевск на пачке «Беломорканала». Я обиделся на народ, на рабствующую Россию. В девяносто четвертом в Калуге едва не женился на хорошенькой немке по имени Петра, чтобы уехать туда, где можно молча жить, пока не закопают в ямку. Но – хранил Господь! – на немке по имени Петра женился один мой благополучный приятель. Я потерял сон и съежился от болезненных сновидений. Лишь в разъездах по «территории» я отсыпался, потому что внушал себе надежду, что еду от тьмы к свету. Половину последнего года прошлого тысячелетия я жил у друга в заграничном уже Крыму. Спал, ел и ничего не хотел. Научился, не вставая с дивана, из «положения лежа», щелчком

отправлять скомканную газетную четвертушку в мусорное ведро. А когда отоспался и когда смутно захотел жить, то стал смотреть в телевизор.

Я увидел в нем крупнокалиберные пулеметы на зубцах старых стен Генуэзской крепости. И это курортный Судак? И это киммерийские мои холмы? Я смотрел, как с прутьями арматуры и бейсбольными битами идут мусульманские боевики прямо на объективы телекамер…

Люди говорят, что они берут русскую землю по всему Крымскому побережью. И прошлым летом отряды меджлиса прилежно атаковали Южный берег. Идет нашествие, захват жизненного пространства для мусульман.

«… Из русских тут выживут только придурки-сталкеры… – сказал некий лысый жук-носорог в ходе беседы с дятлом-телеведущим, который дробненько, с пониманием смеялся. – …объясните мне: а что такое собственно русские – прилагательна или существительна?»

Я бы объяснил ему по зубам, но с этим ящиком Пандоры связь, как известно, односторонняя. И они стали бойко объяснять мне, что русские – это нечто наднациональное. Меня охватила ярость. Да, нам, русским, не повезло. Выбору нас невеселый и небогатый, но он есть. Я найду его. Так началось крымское оздоровление.

Снова не спалось до самого ветреного утра. Как бывалый оптимист я ясно видел: будет хуже. Под утро прилетела в сад какая-то большая птица, била крыльями, перелетала с места на место. Едва забрезжило, я распахнул окно и глянул в сад. Это была не птица, а зацепившийся за голый куст жасмина сорный полиэтиленовый пакет…

Корабль Крым уходил в Турцию – мне же нужно грести в обратную сторону. Я собрал дорожную сумку. Вечером того же дня сел в поезд и уехал из бывшей русской Украины в пустое, холодное пространство квазигосударства.

В колесном перестуке пульсировало: кто ты тут – кто ты там… кто ты – куда ты… кто ты и куда ты…

Я поехал туда, где далеко от автобате и шатких дворцов на кровавом песке миллионы двужильных мучеников погружались во тьму времен, как моряки обреченной подлодки. Туда, где суровыми зимами мерзли в ДОСах[1]*и казармах отдаленных гарнизонов служивые. Голодные и холодные, они недужно отстукивали зубами SOS и ни на что уже не надеялись «во тьме и сени смертной» (Мф. 4:16). Беспризорные дети с рогатками, солдаты, которым не суждено стать воинами.*

Кто я в этом новом и неуютном для миллионов русских lebensraum[2]*?*

Часть первая. Воры и лохи

1

«… Рано утром, когда нищие еще не вышли в городок, я входил в него со стороны села Кронштадтский Сон. Было еще четыре дня до Покрова Пресвятой Богородицы, но уже ощутимо было дыхание зимы по ночам. Лимонная заря едва занялась и подсветила облака. Они, гонимые противным ветром, шли над пустынной степью, живо меняя очертания. Было неуютно и холодно в степи, но нельзя думать об этом в пути. Я шел и распевал акафист Смоленской Одигитрии. .

Когда жив был мой отец, то он меня спрашивал:

– Чо волосы отрастил, как пасаломщик?

– А чо? – как эхо отвечал я. – Все так ходят. Как в Ливерпуле!

– Ливер пуле нипочем, а вот вшиваоту разведешь! Это похоже. Но это похуже пули в ливере! Пасаломщик!

Советский пионер, я и слыхом не слыхивал, что это за «пасаломщик» такой. Мнилось мне, краснопузому, что я роковой поэт, как, например, гусарский поручик Лермонтов. Нынче все в моей жизни совместилось. Аз есмь червь. Но червь образованный. Бывший исторический писатель, а ныне самый настоящий псаломщик, но с короткой стрижкой и бодрыми армейскими усами.

Может быть, лучше ничего не помнить. Как бывшая супруга моя, давняя, старобрачная, барочная, порочная, барачная еще Надежда Юрьевна, наверное, вспоминала меня только тогда, когда я протягивал ей деньги. С ее стороны это умно, потому что здраво. Ей неведома была горечь Эмерсона[3], который измученно спрашивал некогда: «Как объяснить моей жене, что когда писатель смотрит в окно, он тоже пишет?»

Ей, бывшей моей жене, не давали спать химеры мелкобуржуазной dolce vita. Зараня, когда какой-нибудь неведомый дед еще не вышел на гумно молотить, она уже непременно будила меня:

– Ой, не знаю: рассказывать тебе сон – не рассказывать? Снится мне и снится море, купе поезда… Звезды…

Она научила меня вставать до зари. Когда ее сон повторялся три ночи кряду, я брал командировку, собирал сидорок и уезжал. Так уехал в Москву в девяносто первом году, когда начался большой революционный фарс, и там впервые увидел политических оборотней, чьей религией был Арбат. Недурно обустроились его приемные дети. Они позировали с автоматами в руках вблизи Арбата, не отходя далеко от пап и мам.

«Однажды вернусь на причал и увижу, – нередко думал я под ночной перестук колес, – что моя жена безраздельно вышла замуж, что ее украли взрослые вороватые дяди. И горько заплачу, весь изорванный в клочья молодым, клыкастым капитализмом…»

Так и случилось.

Я ушел бы в затвор после глубокого нырка в отчаяние, но духовник не благословил. Он сказал, что мой подвиг[4] еще не подошел к уходу от мира и что грех хоронить в душе веселье. Бывало, хотелось домой по старости лет и инвалидности духа. А жена – замужем. Она сожгла мои дни, как сентиментальные школьные дневники изукрашенные не всегда хорошими, но памятными отметками. Мне с моей профессией оставалось лишь протянуть ноги. Недавно я прочел в какой-то газете, что одному станкостроительному заводу, чтобы выжить, пришлось наладить производство гробов. Мертвые стали казаться мне «социально ближе», нежели еще живые. Они, уже мертвые, стали способны кормить еще живых. А люди так заторопились, что псаломщиков со священниками на все похороны не хватало. На Сибири негусто православных приходов. Мы с моей новой женой Аней живем в деревенском доме ее родителей. Я помнил ее институткой, она меня – преподавателем. Помню и то, что не однажды просыпался, курил, пытаясь разогнать сны, где эта красавица ускользала от меня в тот самый момент. Она писала

простые стихи, но, читая их, я думал: откуда в ней это небесное знание? Потом замужество, развод. Говорили, что она передумала вздувать очаги культуры в деревнях степного Алтая, а поступила в Литературный институт. Через полтора почти десятка лет я встретил ее в деревенской церкви на Рождество Христово. Она рассказала, что выпустила в Москве две книги стихов и вот вернулась в свою деревню учительницей литературы. Случайно ли мы встретились через годы? Кто я теперь, когда непобедимая старость грозит мне в ночные окна? Любил ли я ее? Я удивлялся ей и был благодарен ей. Она вернула мне высокий смысл человеческой жизни в супружестве. Я понимал, что люблю ее, когда с ужасом оглядывался назад, на перепутье дорог, где мы могли бы никогда не встретиться. Я понимал, что любой иной путь, кроме этого, был бы губителен для моей души. Любовь эта не была страстной, она была дружественной. Не хочу уподобляться писателям и философам, рассуждавшим о любви, поскольку любовь для меня – это поступки, а не рассуждения об их природе. У нас родился сын – что с ним будет, когда я умру в этом концлагере? Родителям Ани едва ли нужно было понимать, что делает чужой взрослый человек в их доме, когда ничего не делает? Писатель. А кто будет навоз из стайки выносить да по огороду-кормильцу разбрасывать? И они, по сути, правы – недеревенский я житель.

До недавнего времени Аня учительствовала. Потом перестали платить жалованье, школы не стало. И тогда мне вспоминалась газетная заметка о гробовых дел заводе. Неплохо зная церковно-славянский язык, я стал читать на похоронах Псалтирь и все присущие скорбному случаю молитвы. Если нет иерея, каждый мирянин может совершать все церковные службы, за исключением таинств. А разрешительную молитву тоже может читать только священник. Вот мы со стареньким отцом Глебом в поте лица добываем свой хлеб. Я просто шабашу с благословения отца Глеба. Принимать хиротонию, прежде чем душа почувствует этот непреодолимый зов Божий, опасно для нее. Это все равно, что надеть свинцовый пояс и прыгнуть с облака в море. Чтецом в собор не возьмут, если бы даже я этого и хотел. В соборе своя братия. Туда берет сам отец настоятель или отец наместник, причем берет того, кого лично знает. Идти в наш маленький храм? Но там, как и в прочих приходах, чтецу очень мало платят. Вот я гастролирую, прости меня, Господи, дело привычное. Я – и чтец-причетник, и псаломщик, и пономарь, и сам себе регент хора, и певчий.

Отец Глеб нынче – священник заштатный, а кончал семинарию сразу после войны и почему-то в Варшаве. Он часто хворает. Приходилось мне и одному нести крест похоронного чтеца.

– Это, паря, пока ты чтец… – говаривал он. – Ты придешь к священству. Вот сейчас ты чтец, потом станешь иподьяконом, потом, даст Бог, и рукоположат тебя. А чтец ты благоговейный, Петя. Слово ты не читаешь, ты его – чтишь! Пастырское слово нести, Петя, не каждому из нас, грешных, дано…

– Ой, батюшка, не искушайте нас без нужды! Только меня-то там, среди иереев, и не хватает. Помните, мы с Аней, с отцом Христодулом ездили на сорок дней ко вдове священника Полухина? Там еще мальчик-алтарник «Санта-Лючию» на японском языке пел… Помните?

– Как забыть!

– Вот помянули мы тогда протоиерея Полухина, все разговорились, застрекотали. У иных уже скорбь с лиц скочевала. И подошла ко мне его бывшая послушница: «Ну, ладно, – говорит, – ваша жена просто «сдвинулась» на этом Христе. Но Вы-то, хотя бы, человек адекватный»? «А что такое «адекватный»? – спрашиваю и делаю невинные глаза. – Это вы… никак, про это… про фараонов, – говорю, – египетских, что ли?» Она отшатнулась, сдвинула бровки к переносице и стала эти мои бараньи глаза пробовать алмазным буром, а они – черные. Я бы даже сказал – страстные! Не пробурила. «Забавно, – говорит. – Вы что, прикидываетесь князем Мышкиным,

да?» «Нет, я не князь, – отвечаю. И заключаю вне ее логики: – Я от древнего русского боярского рода!» Она сочла, что имеет дело, по-ихнему, с сумасшедшим, я, по-нашему, – с юродивым. Сделала бровки вразлет и отошла, но пару раз холодно оглянулась. Так какое же из меня, батюшка, духовное лицо с таким желчным норовом?

Снова батюшка смеялся. А я и рад был повеселить хорошего человека.

2

Иногда глаза батюшки Глеба не казались мне человеческими. Впечатлительность ли моя тому причиной, но смотрела на меня из их синевы сама вечность. Я догадывался, что он пострадал во время хрущевских гонений на церковь, однажды спросил – глаза эти захмарились. Он покряхтел, помолчал и ничего не ответил… Позже он привязался ко мне, как, впрочем, и я к нему. Пьем чай на его терраске. Дышим майским цветом черемухи. Он, батюшка, с легкой слезою изливает мне свою добрую память.

– Когда мой родитель, Царствие ему Небесное, сделался священником, я, Петенька, всегда прислуживал ему в церкви. Он сам был – высокий, брови – крыльцами такими! Я – маленький, в белом стихарике! Умилительно было прихожанам видеть нас вместе-то, да-а! То я кадило раздуваю, то со свечечками церковными играю, храм из них строю! А уж как просфору любил запить святою водицей… Капелюшечки, веришь, не пролью под ноги! Родитель мой, тот – о-о-о! – послушал бы ты его! В церкви, бывало, мирян поучит! Потом в дом пригласит да еще поучит! Зимы длинные, а у нас все людее, людее! Лампадки, свечечки пома-а-а-аргивают так, пома-а-а-аргивают! И люди дома у нас охотней ему сердца открывали! А бывало, и мы с ним по хатам идем с требами, или с «постной молитвой» в Великий пост, или просто познакомиться! Пурга пуржит, метель метелит – идем! Папаша-то мой добрый, помню, и говорит однажды: «Надо, – говорит, – отдельно от гомилетики[5] научиться говорить, глядючи в глаза людям! А им, Глебушка, людям, важность подавай! Вот читал, – говорит, – я вчера проповедь, кончил. Стоят, не расходятся. Кивают головами: «Да, да, батюшка! Истинно так!». «Так расходитесь же, говорю, с миром!» Один спрашивает: «А когда, батюшка, Писание Божие будет?» «Да разве, говорю, вы не поняли, что я говорил? Я вам и говорил-то из Божьего Писания, только что не по книге». «Эдак-то ты, отче, и теперь говоришь! Так в церкви не говорят, там только читают. Ты, отче, читай по книге, мы и будем знать, что ты читаешь Божественное! А то – что? Так и партейный секлетарь умеет: говорит не знай что да глядит на людей!» «Из церковной книги вы ничего не поймете!» – говорю. А они мне: «Это все равно. Мы будем знать, что батюшка говорит нам Божие Писание!» После стал он брать любую книгу с клироса, клал ее перед собой на аналой и вроде по книге читал. Тогда слушают! Помню! А вот у тебя получаться, Петя, будет!

«Их, людей, понять нетрудно! – скептически думаю я. – Чего ж мы хотим, если в России Библия на русском языке была издана только в конце девятнадцатого века. То есть девять раз по сто лет подряд люди не знали, чему их там заставляют кланяться в церкви. А как узнали-и-и… Тут и началось!»

Словом, пустопорожняя моя образованность кикиморой манила в болото неверия, холодным дуновением скепсиса гасила слезы душевных озарений…

– У тебя получится! – заверяет батюшка. – И народ нынче ученый, другой, и я поучу, коль нужда будет! Я на тебя дивлюсь, Петя! Я во младых ногтях не мог ни есть, ни спать после отпевания. Закрою глаза, вроде засну, так и тут он – усопший! А то и она, усопшая! Вскинусь я среди ночи, как дитё: «Мама!» Помолюсь с оглядкой – отпустило, а уж и рассвет в окнах! – рассказывал мне доверительно старенький батюшка Глеб. – А тебе-то каково?

«Нет, в священники я не гожусь – не тот коленкор души, не тот раскрой… Драчун я, батюшка…»

– Я, батюшка, на них насмотрелся: люди как люди. Лежат, никого не шевелят…

Говорю это, но понимаю, что некая разница есть: одно дело убитые в бою, а иное – павшие в миру. Одно дело старики – иное детки. Зачем приходили? Зачем ушли обманутыми? Мне отвратительна низость смерти. Не нахожу в ней никакого величия.

– Одна, – говорю, – низость и детское удивление эта смерть: да поди ж ты, жил, жил и – помер!

– Смерти нет! – испугался своей доверчивости батюшка. – Есть лишь вечная жизнь!

– Конечно… – согласился тогда я. – Под самую Троицу проезжаю по улице Серостана Царапина в Китаевске. Кручу педали. На велосипеде. Смотрю – пьяный мужик валяется. Свобода! На следующий день еду – он все еще лежит. Умер, стало быть. Люди отворачиваются и – мимо. Эх, думаю, народ ты наро-о-о-од! Надо, думаю, карету вызывать. Остановил я велосипед, прислонил вот так вот к заборчику – и к нему, к покойнику: точно! не дышит. Наклонился я, беру его правое запястье за пульс. А он меня, батюшка, своей левой за руку-то – хвать!.. Вот так прямо – хв-в-вать! Да как запоет: «Гра-а-а-бю-у-у-ть!»

– Господи, помилуй! – выдрал батюшка свою руку из моего хвата. Переложил чайную ложку из правой руки в левую и троекратно осенил себя крестным знамением, а на лице – недоверчивая улыбка. – Тебе бы дьяконом петь! Прямо вот так: гра-а-бю-ют!

– Да, вот именно так! По-сиротски басом профундо: гра-а-а! Потом чистым дишкантом: бю-ю-ют! А отчего это он, батюшка, ожил – скажу. А оттого, что я – лох! У него лапа, как у матерого чекиста, батюшка! Видно, бывший борец-вольник из некогда приличного общества «Динамо»! Пока я вырывался, велосипед-то у меня и – оп! – умыкнули. Это хорошо еще, что в Китаевске меня народ знает в лицо! Благо, батюшка, что у меня в краевой милиции Славка есть! Не то – идти бы мне этапом на Сочи!

– Почему на Сочи? – с удовольствием спрашивает ясноглазый мой батюшка. Ждет разгадки, как дитё.

– Ну, не в Сибирь же! Тут холодно. А от холода человеку одна польза! Не зря же на Севере больше честных людей, чем на Юге!

– Кто их считал? – риторически спросил батюшка. Он нахохотался не по сану, утирал обильные слезы и выбивал в платочек острый, как угол, нос. – Циркачи, прости ты нас грешных, Господь сладчайший… Кто транспорт-то умыкнул?

– Подельники этого борца с псаломщиками, батюшка, вот кто. А это было мое единственное транспортное средство! Немецкий велик, с тремя скоростями!.. Вот она, отец мой, вечная жизнь лоха!

Батюшка хохотал столь же весело, сколь и виновато. И примирительно приговаривал:

– Ай, яй, яй! Ай, яй, яй! «Гра-а-бю-ют!» Ну ты, Петря, и здоров присочинить! Уж писатель, так писатель!

«А-а! – думаю. – Петря! Он откуда-то с Запада… Потому и учился в Варшаве…»

Смотреть в его детские лазоревые глаза – все равно что в баню с устатку сходить.

– А чего тут, батюшка, присочинять-то? – говорю. – Статистика у нас такая: сколько надо – столько и пишем, остальное – на ум берем. Вот кто присочиняет-то! Факт! А я – что? Я – агнец кроткий! У них в России умирает около миллиона человек в год, то есть несколько дивизий ежедневно. Причем никто нам, еще живым людям, не помощник. Отнюдь! Но псаломщику помощь, да еще какая!

– Господь знает: кого, когда и куда призвать… – говорил, обороняясь, батюшка Глеб. Но уж послушать он меня любил, как и я его, впрочем.

– Да, уж это как водится! Кого в армию – и в Чечню, а кого – на Бермуды… Но и у меня, батюшка, в связи со сменой профессии появились деньги, – злобствовал я. – Да подавись он моим этим велосипедом – куплю себе вольву! У вас какая машина?

– У меня? Да мне бы, Петя, лошадку пегонькую, да тележку легонькую!

– Ну вот, даст Бог – куплю вам «пассат» с таких-то заработков! С нашей статистикой выморочности – нехай «пассат» дует!

– Даешь храму десятину, Петр Николаевич, и то – хлеб… А мне от тебя – и без того радость! Хоть ты и горячий, а душа у тебя чистая… Не прикидывайся, скоморох!

– Куда-а-а там душа! Что это за душа, которая в присутствии доброго пастыря курить хочет! А вы, батюшка, белорус, чай?

– Я православный русак родом из-под Гродно. Когда Русь-то крестил, Петя, святой благоверный наш князь Владимир? Во-о-она когда! Еще не было ни Беларуси, ни Украины, ни России – была Русь…

– Жаль, нас с вами, батюшка, там не было! – подначиваю я. – Хотя вы-то, может, уже и были!

– Ой, Петя! Грех с тобой один! Вот ты мне скажи: ты в политике-то за кого воевал? За левых или за правых?

– Я, батюшка, не Чапаев, чтобы всё вам показать на картошке, а потому я вам, батюшка, загану загадку. Можно?

– С Богом!

– Один, батюшка, русский ученый стал изучать арабский язык. А там, как вы знаете, читают справа налево! У нас же – наоборот: слева направо. И случилось непоправимое. Что?

– Принял магометанство, басурман?

– Нет, батюшка. Теперь он полиглот. Читает на всех языках, но только посередине. Весь дурдом со смеху умирает!

Стало хватать времени жить.

Оно, время, уплотняется, как вата, когда мертвых по три раза на день видишь еще на этом берегу. Вот и нынче отмахал я ночной степью да на больных ногах верст уже двенадцать. Даст Бог, не заплутаю.

Ни огонька, словно вся степь изготовилась к налету ночных стратегических бомбардировщиков. И пока лунный свет не отключили, хорошо в пути поговорить самому с собой, чтоб звери боялись и дети смеялись.

Иду и вспоминаю вчерашний день, когда я, в который уже раз, мог последовать за большинством народа.

3

Предвыборные кампании шли по стране, как мировая революция имени Троцкого по планете.

В деревню Кронштадтский Сон приехал, а точнее – прибыл, вор Чимба, анархист по всем ухваткам. Он не был обуян тоской по малой родине, но здесь некогда жила его честная бабушка-трактористка. Он «перетер с кем надо» и решил выставиться в депутаты Краевой думы от родного районного центра. Впрочем, родным ему и населенным, да еще и пунктом, деревню Кронштадтский Сон нынче можно назвать с большим риском быть правильно понятым. Не поняты?м, а по?нятым.

По бумагам проживало здесь двести сорок семь человеческих душ. Сколько из них мертвых – знать забудь. Все они – лохи. А этому Чимбе, как и Чичикову, все равно: живые ли, мертвые ли они. Есть на бумаге с гербами – стало быть, вечно жив человек, можно его в банк закладывать. В этих бумагах до сих пор числятся несколько поселков, где на месте домов давно растут русские деликатесы – крапива с лебедой.

Но закрыть эти осиянные латунной, холодной луной пустыри власти не могут. Оттого, что множество из тех, кто уехали дорогами русского кочевья в направлении счастья, имеют здешнюю прописку – иначе бомж.

Клуб сгорел. В школе снегом продавило крышу, и местные зимогоры растащили стропила с обрешеткой на дрова.

Позже я узнал подробности визита Чимбы.

Он прикатил со своими ворами и быстро собрал насельников Кронштадтского Сна на деревенском «точке»[6], где в детские его годы было «тырло» – обсиженный молодью пятачок земли для вечерних посиделок.

– Давно хотел спросить: почему эту деревню назвали Кронштадтский Сон? – живо, пока еще, интересовался молоденький пресс-секретарь Чимбы, имевший неуловимо дымчатый облик в своих дымчатых же очках. Казалось, сними с него, как с Гриффитса, очки и модную упаковку – он станет невидимкой.

– Чо мне ее, родину, в натуре перекликивать? – озадачился Чимба, читая черновик своей речи. – Я чо: Миклуха энд Маклай? Деревня и деревня! Тюрьма же, прикинь, есть – Матросская Тишина. Атас, кича! А у нас – Кронштадтский Сон, прикинь… Что это у тебя тут написано: «…история се?ла»? Как это историю могут посадить?

Пресс-малый пояснил, что речь идет о селе?, а не о прокуратуре, и сообщил, что народ пришел подивиться на знатного земляка. Чимба вышел к народу, надел на нос очки без диоптрий – такой ему затеяли имидж.

– Здорово, народ мой! – «возгласил Чимба в «матюгальник». Его воры сделали глаза как у хороших мальчиков. Младшая группа камеры предварительного заключения. – Мне, нах,

приятно видеть всех вас в добром здравии!

– Ково? – переспросила бабушка Нюся. Она была кавалером ордена Материнской Славы второй степени и курила трубку, потому что была селькупкой. «Ково» в Сибири – это все равно, что «повторите, не понял» в Кремле. То есть она не расслышала слов оратора.

Но шестерки посуровели. Они посмотрели на старуху с одинаково холодным вниманием, как, может быть, некогда смотрел на них потолок карцера. Понятно, что старуха Нюся собиралась не на карнавал, когда вырядилась стариком. Просто рожала и растила только сыновей. Они выросли, а матушка все еще донашивала за ними. Поди-ка, выбрось добро – деньги плочены.

– Вас! Всех вас, до единого, нах! – повторил Чимба во всю силу своих прокуренных голосовых связок. Он забыл человеческий язык.

Мир замялся, засмеялся, а глухуше на глазок подумалось, что мир заплакал, что этот пащенок грозит их сероштанному миру бедами.

– За что, паря? Живем, паря, тихо, хлебаем лихо!.. – захныкала она громко, как всякий глухой.

– Время, время, нах! Отвезти этого кощея на хату! – указал он своим прихвостням на бабушку. – Дайте ему, кощею, денег! Дайте ему хороших сигарет! Дайте шоколадку с пепси-колом!

– Ково? Коло?м ково-то?! – ужаснулась неугомонная старица. – Колчаки каки-то! За что, паря?!

Шестерки в длинных до пят облачениях – к ней.

– На тебе, дед, бабло и – домой, шнель цурюк!

Чимба приказал «отвезти», имея в понятии «отвезти в иномарке до самого курятника», а они поняли команду как «отвести». Вытолкали из реденькой толпы старушку, принятую ими за старика, что, впрочем, дела не меняло, дали ей пендаля; дали ей деньги и стали, как благородные колчаковцы, показывать дулом пистолета в сторону деревни.

А пресс-секретарь авторитета Чимбы в это время говорил агитку:

– Господа! Нынешние депутаты Краевой думы уверены, что содержание такого, как ваше, захолустья слишком дорого обходится для бюджета. Депутаты уверены, что проще вложить в переселение несколько миллионов, чем отщипывать от тощего районного бюджета кусочки. Но как реально должно выглядеть это переселение? Как?

Он сделал паузу, и все услышали отзыв ворон: «Карк! Карк!» – и увидели черную, похожую с земли на клубок гнуса, тучу ворон в равнодушном, низком, как банный потолок, провисшем и худом небе.

Пресс-секретарь помахал мирянам рукой, намекая на внимание к своей особе. |

– Счас нас обсерут с головы до пяток! – тревожно, громко и просто, перекрывая разбойничий грай, вознесся чей-то предостерегающий глас.

Пресс-секретарь снял шляпу и сказал в «матюгальник»:

– Никто из нас не собирается гадить вам, граждане! – Наверное, он имел в виду толстые зады плохих депутатов Краевой думы и не менее толстые морды своих нанимателей. – Дело в том, что официально закрыть населенный пункт им, паразитам, очень сложно. Такое решение

должно приниматься на уровне госуда-а-арственной власти, а стало быть, государство должно – что? – гаранти-и-и-ировать права переселения. И, само собой, финанси-и-и-ровать переезд на новое место жительства!..

Это мотовило словесной соломы, наверное, не задавалось вопросами: а куда их переселять? Кому они нужны? Где их ждут на земле, которую они мнили своей?

Он пилил бабки. А бабки – они ведь разные бывают по русским деревням.

Он натужился и продолжил:

– В конце минувшего одна… две тысячи третьего года депутаты Краевой думы приняли решение заложить в бюджет полтора миллиона рублей для переселения жителей из вашей захурыженной деревни Кронштадтский Сон. А требуется их, граждане, четыре с половиной миллиона! А на содержание вашей захолустной лежки требуется восемь миллионов рублей в год, господа! Из чего складывается эта сумма? А вот из чего: необходимо дизельное топливо – раз, надо поддерживать школу – два, фельдшерский пункт – три, решать транспортные вопросы – четыре! А в школе вашей деревни Кронштадтский Сон всего-то семь учеников. И сама школа, граждане, практически, мешком накрылась. Выгодней вас переселить, так получается! И вот прохвост-губернатор заявил, что областная администрация готова вплотную заняться этой проблемой, что намерена в первом квартале разработать соответствующую программу. В Сердобайском, например, после закрытия шахты и переселения шахтеров остались бюджетники, не «вошедшие» якобы в программу переселения. У вас, славных земляков Чим… простите, Георгия Ивановича, иная ситуация. Здесь, граждане, не было официального переселения, но после того как закрылись хлебозаготовительные предприятия, народ потихоньку начал бежать. Кто мог, тот сбежал. Остальные – перешли на натуральное хозяйство…

И тут в натуральном хозяйстве грянул первый натуральный выстрел.

Преданный пресс-секретарь сильно, как распутный Кирибеевич купца Калашникова, толкнул Чимбу в грудь. Он сбил его с ног в жидкую грязь, а сам завизжал и – рухнул на авторитета сверху. Чимба расценил самоотверженность писаки как попытку покушения на свою особу. Он без раздумий застрелил его – того, кто сверху. Сам укрылся телом, как мешком, и продолжал беспорядочную пальбу до тех пор, пока не опустошил полторы обоймы. Так получилось: пейзане залегли, не боясь родной грязюки, а свои братки – те не захотели пачкать «прикида». Кто-то из них в суматохе пустил шефу в лоб шальную ли, заказную ли серую пчелку. Теперь двоим из приезжих нужны погребальные «прикиды». Атаман Чимба – сам-третей, если по-семейному.

Я вспомнил эту мразь – Чимбу, когда меня вызвал к трупу покойного «людоеда» старший лейтенант милиции Слава Рыбин.

4

Славу я знал лет пятнадцать, еще до той поры, когда он слезно напросился на срочную в армию. Его не брали потому, что он считался «умственно отсталым», учился в спецшколе. После пэтэу он, детдомовский сирота, мирно труждался на обувной фабрике. Умственная отсталость его никак особо не проявлялась, разве в том, что все в жизни ему нравилось. А так у полноценных юношей не бывает. Это ненормально. Ему нравилось после смены принять душ и, неспешно съедая ровно три порции мороженого, пешим ходом пройтись от проходной фабрики до проходной общежития. Ровня водку изводила, водка – ровню, ровня детские пинетки с

фабрики выносила, а счастливый Слава ел эскимо на палочке. Там, в общежитии, под койко-мес-том стоял как знак самостоятельности настоящий чемодан. В чемодане как знак зажиточности таился настоящий взрослый фотоаппарат «Зенит». Счастливый Слава снимал девчонок-обувщиц и совсем не в том смысле, который вкладывается в слово «снимать» в наши безблагодатные, окаянные дни. Он обязательно дарил девицам мутные, худо закрепленные фотографии. Фиксированного заработка не всегда хватало на фиксаж, но половодье счастья казалось Славе вечным. Второе, что нравилось ему не меньше, чем столовские котлеты с макаронами, – это милицейская форма. Теплыми вечерами лета он с простецкой улыбкой топтался у дверей девичьих комнат в новенькой милицейской фуражке и с фотокамерой на ремешке через плечо. На зиму он околпачивался казенной шапкой того же рода войск. Зимой он часто приходил ко мне услужить по части походов по магазинам, а потом садился читать толковые словари.

Сына полка нигде не гнали. Он завел дружбу с райотделовскими «трудниками». Более того, сам капитан Клячин, народный поэт милиции, обещал:

– Сходишь в армию, паря, – будет, понимаете ли, семь на восемь харя, а когда станет харя семь на восемь, тогда и к нам, понимаете ли, милости просим!..

И все. И счастья юниору было не занимать.

Он сходил в армию по большому счету – на севера. Дедовщина? Так у детдомовского мэна – вся жизнь измена. И ухорезовская дедовщина ему – обычный пляжный режим: ударили – лежим. Еще раза дали – мы еще удале. Славу били крепко, так, что к лицу семь на восемь, словно сапожными гвоздичками, приколотили ему лютую ухмылку. С ней он и жил, готовился в академию. Иногда разыскивал меня, приходил поговорить о каверзах службы милицейского человека и почитать толковые словари. А бывшая жена ему – чай, кофе, хорошие манеры. Пигмалионила от всей своей души, а потом говорит, в таком барственном расположении:

– Хорошо! Раньше баре арапчат заводили, и мы своего дурачка завели! А вот машину купить не можем.

То есть иносказание. Намек на наши со Славой способности. Я говорю:

– Прочти любую хорошую сказку: дураками Русь сильна! И я делаю ставку на сильных!

Она уже невесть где, а Слава – вот он. Намедни он и позвонил мне:

– Чо, командир, говоришь, «мрет народ – вороне радость»?..

– Радость, радость… Что дальше-то, господин офицер?

– Чо?

– Радость, говорю! «Чо»! Дальше чо?

– А-а! Так тут такое дело, Петр Николаевич: великая тут в тебе есть нужда, римским папам легче дозвониться!..

И он стал рассказывать:

– Гы-гы-гы… Тут интересный, Петр Николаевич, случай с выносом тела Гоши Чимбы! Это авторитет такой. Я сейчас звоню по мобильнику, но стою одной ногой в могиле с боевой

гранатой на шее… гы-гы-гы… Короче, поехал этот Гоша Чимба с бригадой воров в Кронштадтский Сон, агитировать! Да, понял? Там его быки стали выводить с митинга глухую бабку Нюсю Вертинскую! Понял? А она оглохла еще в середине девятнадцатого века во время расстрела на Ленских приисках! Гы-гы-гы! Они ей дали денег: иди, дескать, хлам, на печку! Сечешь масть? А она – ухом-то не ведет. Быки – они же веселые, ну и стволом-то давай ей в былую грудь-то тыкать! Тут ка-а-ак вороны налетели – в полнеба! Налетели в полнеба-то и давай ор-р-рать! Быки едальники распахнули – в небо смотрят: к чему атас? А бабка Нюся, Царствие ей Небесное, – бывшая красная партизанка! Гы-гы-гы! Хлесь! – батожком по стволу. А ствол-то, Петр Николаевич, не на предохранителе! Патрон досланный! В итоге: бац! – выстрел! Бабка с ног – *и дух с нее вонь!* Пошла тут канонада, ёпарэсэтэ-э-э, гы-гы-гы! В сумме, Петр Николаевич, четыре покойника: старушка, Чимба, один бык и один пресс-атташе! Мы с судмедэкспертом Вадиком и этим трупом Чимбой находимся в деревенском погребе – кругом лед, как на глобусе Антарктиды! Мы – заложники, три дни мать-то! Гы-гы-гы… Гы-гы… Братки говорят: надо авторитета отпеть! Легко сказать, да, Петр Николаевич? А поп-то священник – на два района! Наведет, говорят, за ним хвост потянется! А приезжай, мой ты дорогой профессор, продуди ты над ним *псялтырю,* Петр ты Николаевич! Да объясни ж ты им, как надо трупы перед десантом в рай *закумуфлировать!* Не приедешь – убьют ведь сперва меня, потом и тебя самого достанут, нехристи эти! Гы-гы-гы!

Не напрасно Славка словари читал.

– Слышу! – говорю. – Слышу… Ты что это все время гыгыкаешь? Не понимаю – отчего тебе смешно. Смешно тебе? Ты в истерике?

– Какие истерики? Смеетесь! Это я так дрожу, Николаич! Гы-гы-гы… Холодно же здесь, Николаич! И страшно! Гы-гы… Не знаю, что за мобилу они мне дали – моя из погреба ваще Китаевск не берет…

– А почему вы в погребе, а не в теплом морге, например?

– Мы и были поначалу в теплом районном морге! Да, в самом теплом! Мы сутки труп охраняли совместно с чимбиными братками! Совместно с трупом! Я ж говорю: его братки тайно хоронить решили! Без надлежащих почестей! Часть своих побитых в морге оставили – для дезориентации мстителей за старую свою матерь и праматерь, а вождя – вывезли! Гы-гы-гы… Но, Николаич, погибшая-то прабабка-то оказалась прамать-героиня! Секешь масть, Николаич? Все ее внукидзе и правнукидзе вооружились числом с хренову тучу, собрались в кучу и – мстить.

– А чего ж теперь его охранять?

– Эх ты, Николаич! Охраня-а-ать! Они все, как один, с нательными крестами! Как люди, воры-то эти! Руки, ноги, голова. Тела, правда, во фраках.[7] И говорят: надо, мол, по православному обычаю человека погреб… погреб-сти или как там у вас? Тело обмыть надо? Надо. Челюстя подвязать надо? Надо. А где бабку взять? Одна была знающая женщина на всю округу – баба вот эта Аня-селькупка, так они ее неумышленно – что? Мочканули! Ты – второй знаток из всех известных в нашем рыгионе! Они, братки, тебя и затребовали. Остальных днем с огнем – и не отыщешь! Боятся! Кто не слышал про твой талант эвакуатора – кинь в него эргэшку! Они говорят иномарку ему – тебе, значит – купим, если приедет вместо бабки. Или катафалку закажем, если не приедет! Пусть, мол, выбирает! Гы-гы-гы…

– Скажи им, что мужчину должен обмывать мужчина. Пусть нагреют воды и теплой губкой крестообразными движениями оботрут тело своего шефа…

– Да погоди ты, Николаич! Какие теплые губки? Тут тебе что: первая брачная ночь? Дак, вот, слушай! К утру, Николаич, смотрим: *матка боска чесноковка-а-а!* Нас там, в районном морге, сыновья бабкины и ее внуки окружают! Она же героиня – их больше и больше ползет! Глядь: уже полурота! Все с обрезами – артиллерия, ма-а-ть моя Палагея! Я говорю Вадику: выдай же ты браткам эту падаль, эту Чимбу, на пару часов раньше – и линяем рука об руку! У тебя, говорю, зарплата семьсот рублей! За нее смерть примать? Вот и пиши: «…от воздействия факторов внешней среды…» – и тэдэ. Гы-гы-гы… Вадик им и выдал под заказ! Ему без разницы! Под давлением силы! Они прикрылись нами с Вадиком и сманеврировали в деревню! Вот перевезли тайно в хороший чей-то братский погреб. Приезжай, а? Тихонько отчитайся, бабло получи – и свободен! Братки настаивают, чтоб скорей, пока все бабкины потомки не сбежались! Братки смотрят на Гошу Чимбу – и помирать-то им вроде не в дугу! Они тут даже у судмедэксперта Вадика документы проверили, у меня тоже проверили! Вадик говорит: что ж вы, кстати, раньше, когда шеф еще дышал, как сом, и пел, как плейер, бдительность не проявили? Так они его чуть не урыли. Гы-гы-гы… А тебя уже мы с Вадиком удостоверим!.. Гы-гы-гы… А то они нас уроют! Я чо гранату-то на шею повесил? Для самозащиты! Самсо – самозащита с оружием!..

– Слава, ментовская ты рожа, как говорят в сериалах! Степной ты наш Чехов, откуда они знают, что ты меня знаешь?

– Да ты что, гуру, что ты, родной? Город-то наш какой? В погребе – чихни, а на-гора – эпидемия, ну!

– Ладно, второгодник… Координаты погреба, район?

– Район? От Китаевска – километров тридцать, а от крайцентра – сто двадцать с лихом! А район-то тут, Николаич, Верх-Чумышкинский! Жуть! Могила, а не погреб… Хотя… Гы-гы-гы… Телефон, кажись, разряжается… Войнушку, короче, услышите – рулите на звуки боя!.. Семьдесят семь. ЭсКа.

«Спокойный был район, – думаю я. – Это в Китаевске скоро покойник на покойника с косами пойдут! А там было тихо…»

Сердце щемит.

– Перезвони, Слава!

Я телефонировал батюшке Глебу с тем, чтобы взять благословение. Батюшка благословил:

– Христос разбойника взял в Царствие Небесное. Поезжай, Петр Николаевич, Господь с тобой! Буду молиться за тебя, но осторожней там, гляди-и-и! Сам-то я… ты знаешь: без сил…

И поехал я на машине, присланной братками.

Едем. Проселочных дорог давно не чистят. Осенью можно с грехом пополам переплыть океаны грязи. А зима – конец навигации. Степь… Леса нет. Уголь не завозят. Люди даже кизяка наготовить не могут – коров не осталось. У «скорой помощи» нет денег на бензин. А зачем медикам «за спасибо» гонять по деревням на драндулетах с красными от стыда крестиками, когда можно сачкануть в отапливаемом помещении? Народный художник Чупахин жил в деревне. Он погиб от инфаркта, поскольку «скорая» ответила на вызов, что нет бензина. Потом было установлено, что бензин был – просто колдуны в белых халатах не хотели ехать по холоду.

А прошлой зимой, помнится, у бывшего школьного учителя из той же деревни Кронштадтский

Сон случился аппендицит. Нынче такого рода болезнь на селе – это смерть. Труп пролежал в голбце[8] среди картошки неделю. Человека не могли вывезти и похоронить. Как мне объяснили позже, когда добрался туда: одна-единственная в деревне печная труба с дымком – это крыша магазина. Старою тарой и отечественными оградами отапливаются. Неделю над бедным учителем, поскрипывая родными казенными половицами, ходили осиротевшие дети. Они спускались в подпол за картошкой, чистили ее. Ели.

Какое мне дело? Прочесть над убитым Канон по усопшим. Объяснить, как подготовить расписной разбойничий челн к плаванию в океане вечности. И – прощай, раб Божий, мне – направо вдоль по темной улице жизни, где твои братки побили фонари, освещающие вечернюю стезю моих сестер и братьев.

К деревне мы подъезжали медленно, как на катафалке. Тем более что лежала она, убогая, в самой стрелице – на стыке всех мыслимых оврагов, ложбин и ручьев. Воры знали, что их могут обстрелять потомки убитой матери-героини и по всем правилам войны выкинули из окна белой машины белый флаг. Когда холодок смерти касался их шкур, они, воры, вспоминали правила и законы.

Разумеется, я тоже вспоминал.

С моей хорошей памятью я стал неплохим специалистом по похоронным обрядам. Еду и вспоминаю ритуал: после прочтения Литии и Канона преподобному Паисию Великому, поёмый за избавление от муки без покаяния умерших, необходимо совершить омовение тела покойного со чтением Трисвятого.

Одежду, в которой человек умер, и все, что использовалось при его омовении, принято сжигать.

– Одежду его не сожгли, надеюсь? – спрашиваю братка с рыбьим, как у любовника русалки, рылом. Он вытянул правую руку в окно и держит в ней белый флаг.

– Ты что, профессор, ну, совсем? Где, где у нас, ну, распираторы?

«Заикой, – думаю, – в детстве парень числился: нукает…»

– В погребе дымом, ну, задохнемся и кони, ну, кинем! А если дым, ну, через вытяжку и пойдет – они, бабкины, ну, дети, под этой завесой подкрадутся: гранату, ну – фуйк! И на тебе – иже, ну, еси, ну, на небеси: тут, ну, грязь помесил – там, ну, помеси!

«О, тупица! – со злобным сладострастием думаю я. – О, тупой из тупых! Да они и без того вас выкурят! Селитры-то в деревнях – море!»

– Не знаю никаких «фуйк», – говорю я терпеливо. – Только без чистых одежд его тело при воскресении не обновится.

– А он чо: в натуре, ну, воскреснет?! – тупица с усилием разворачивается ко мне, словно табанит поплавком, как веслом. В глазках его блестят страх и ледовитое недоверие. Видно, он и продырявил своего шефа. – Да? Воскреснет?

– Все воскреснут перед Страшным Судом…

– Ништяк… – шепчет вор. – Бог, ну – не абрашка, забачит, ну, барашка…

– При чем нубарашка-то? Нательный крест на нем есть?

– Золотой, ну, на ём, – говорит вор-флагоноша. – Был, ну… Его Мифа себе взял, черт, ну, кумовской… Зачем, говорит, золото, ну, обратно зарывать – люди на приисках не бакланили, ну, по самые уши в студеной, ну, говорит, водице…

– Вот пусть этот же Мифа и повесит крест на место. Иначе молитва недействительна.

– Да я его самого, ну, повешаю, если чо, ну, коснись! На галстуке! Во! Еще! Шефу, ну, галстук-то надо, а, профессор?

– Галстука не надо. Мы ж его хороним, а не в пионеры принимаем!

– Вах-ха-ха! Чимба, ну, пионер! – Рыбенок так расхохотался, что выронил флаг. Это было похоже на детскую истерику. – И-а-ах-ха-ха-ха! Ой, ну!

Это водитель двинул его локтем куда-то под плавник.

– Слушай, чмо, чо профессор говорит! Говори, профессор!

Не впервой говорить. Это они меня не знали, а я их брата знавал. Он, этот браток, пасует перед мудреными и красиво произнесенными словами. А уж суеверней вора – нет в мире твари. Разве что какой-нибудь ламутский хуторянин.

– «Видите, братие, богатого житие, кии успех многоразличные ризы и одр украшен, предстоящих множество и брашна сладкая, а душа его нага и скверна яко в кале грешнем телеси будуше. Кая бо есть полза, аще и всего мира богатство соберет, а душу погубит?.. О како златом красимся, без красоты лежит и без лепоты, яко прах от ветра разыдется…» – исполнил я просьбу.

Рыбоглавый смотрел на меня, как смиренное дитя. Он дробно хлопал ресницами. Будто я сказал «изыди!» – и смущенный бес оборотился свиньей да и чухнул через все картонные кордоны в сторону Мертвого моря.

– Ни-и-иштяк, ну, хе-хе! – быстро опомнился он, тут же поперхнулся, впуская бесенка обратно. – Говори, ну, дальше!

– Да что говорить! Нужен венчик на лоб…

– Ага, ну, вот-вот! Дырку-то, ну, в лобешнике прикрыть надо… Да, батя?

– Не для того, чтобы дырку закрыть, *сынок,* а в знак нашей веры в Пресвятую Троицу! Во упование на получение венца за исполнение заповедей Божиих! Погребальное покрывало нужно покрыть в знак того, что он находится под покровом Христовым! Есть покрывало?

– Откуда, мужик? Ты чо, ну, того? Рамсы, ну, попутал! «… Во! упова-а-ание!..» Чо думаешь: мы всю, ну, хиромантию с собой возим, как водолаз, ну, свинцовые чуни? А? Не-э-э! Покрывало, в натуре, убежало… – и со скрипом запел, как заплакал:

Пой же громче, луженая глотка,
Чтоб покойника бросило в дрожь,
Наша жизнь – это биксы и водка,
А цена ей поломанный грош…

– Я с собой взял… – сказал я. – Как знал…

– Навернешь бабки. Получишь приварок! – не то обнадежил, не то пригрозил водитель.

«Подавитесь вашими деньгами…» – думал я, говоря смиренно:

– Я не священник. Я выполняю свой христианский долг и церковное послушание – не более того. Потому мне денег не надо. Отпустите заложников: Славу и эксперта Вадика. Отпустите во славу Божию.

– Ну и флаг, ну, тебе, брезгливому, в руки… – постановил Земноводный. – Кто в жизни горя не видал, не грыз сухую корку, кто не любил и не страдал, с того не будет толку! – И вдруг подпрыгнул да как заорет: – Гудвин, вертай, ну, тачанку: я, ну, флажок этот… ну, белое знамя, мля, ну, потерял!

– Сучонок… – сквозь зубы, строго по этикету, высказался водитель Гудвин. – Бестолковку бы лучше свою потерял! – пророчески пожелал он.

Я знал, что давно должен был заняться своими нервами. Но слово – не воробей.

– Не пойму, – сказал я, пока машина пятилась и юзила по мылкой, солончаковой грязи проселка, – вы как: на самом деле тупые или только прикидываетесь таковыми?

– Это кто как! Хе-хе-хе! – ответил, закуривая, Гудвин. – Я вот, например, могу биксе[9] стихи почитать… Но это не значит, что я умный. Я – дурак. В этом мое счастье! А Сынок… – кивнул он в сторону ушедшего на поиски флага, – …он придурок. И это несчастье. Но наше общее с тобой беспокойство о том, чтобы народные мстители нас не перевстретили. У них, умных, времени много. Они-то уже всю свою мамку целиком в ямку закопали… А мы своего пахана за собой частями таскаем… Кстати, откуда вы его кликуху знаете?

– Чью кликуху? – не понял я.

– Вы назвали погоняло «Сынок»… Вы что, были знакомы раньше?

– Ах, это! Нет, я не имел чести. По годам-то он мне в сыновья – Боже упаси! – годится… Но Чимбу я знал. Жили по соседству в Китаевске…

– Усек. Я в детстве кошачьим бешенством переболел – не все доступно моему помраченному рассудку.

– Бешенством? Это сурово. Почему – кошачьим?

– А сестренка принесла с улицы кота – и давай его дефицитной вареной колбаской кормить. Тот избегался, стал эту колбаску хавать. Откуда коту знать, что колбаса – инструмент большой политики. И я, малой, еще тямы-то нет: хотел быть хорошим, стал эту колбасу ему в пасть подталкивать: смотри, какой я добрый мальчик! Он меня – цоп! – за палец. Насквозь. Мать с работы пришла, а мы с сестрой – в несознанку. И началось… Водобоязнь и прочее. До семи лет не умывался. Сейчас – раз в месяц по четвергам… Шутка!

Вернулся веселый Земноводный Сынок с флагом. Держа его в окне высунутой правой рукой, он стал шутовски креститься левой, читая свою зэковскую молитву:

Спаси, ну, меня, грешного,

От порядка здешнего,
От мороза, ну, сильного,
От труда непосильного,
От начальника-беса.
От пайки малого веса,
От игры, ну, картежной,
От зоны таежной,
От моря, ну, Охотского,
От конвоя вологодского,
От этапа, ну, дольного,
От изолятора центрального,
Спаси, ну, во веки веков
От милиции, кар и судов!
Аминь, ну!

Но, по-видимому, Господь манкировал. И две похоронные команды все же пересеклись. Грянул бой, в котором крушили супротивных по обе стороны линии фронта. В погреб я спуститься уже не смог. Но столько нищих из окрестных деревень я проводил последней, может быть, земной молитвой, что вооруженные дети героини меня узнали и выпустили из кольца!

И вот – расхлябанными огородами, вечерней полынной степью я уходил из деревни Кронштадтский Сон, слыша за спиной сочную пальбу и разрывы гранат, которых здешние места не слышали со времен Верховного Правителя адмирала Колчака.

5

Иду пешком. Октябрь, октябрь…

Разве с такими холодными чувствами уходил я в девяносто третьем из окруженного Дома Советов! Помню только, шел по битому стеклу, аки матерый йог. С тех пор не видел столько битого стекла. А поддержи нас тогда все эти бабкины дети с обрезами, глядишь – и бабка бы жила, и смрад не стал бы воздухом России, которую оседлали воры.

Смерть смерти, как и жизнь жизни, – рознь.

… Один загадочный попутчик рассказывал мне в поезде, что когда обыскивали карманы убитых у Останкинского телецентра, то у некоторых обнаруживались оплаченные квитанции на гроб. Однако на морозном тогда, как и сегодня, рассвете их дровами наваляли в грузовики и свезли в крематорий. Всё у нас записано, господа победители. И, сдается мне, что месть мертвых будет страшна, что она уже началась.

«Зрю тя гробе и ужасаюся видения твоего, сердечно каплющия слезы проливаю… Смерть, кто может избежать тя? Увы смерть, земля бо наше смешение, и земля покроет нас… О человече… аще доидеши величества сана и всея мудрости и храбрости навыкнеши, сего же друга не минеши, но земля еси и паки в землю поидеши»[10].

Больными ногами курильщика к утру я неспешно отмерил по «сорочьему снежку»[11] еще километров около семи и миновал Бабаев Курган. Скоро по деревням начнут колоть кабанов, палить их в соломке по старинке, наедаться свежениной впрок. Я придерживаюсь трассы, но осторожно иду степью. Вид убитых, мертвых людей не может не угнетать. Я всячески отвлекаюсь. Думаю о том, что на Всесибирский съезд нищих я обещал взять сироту Алешу, пришедшего в городок Китаевск из казахских степей. Алешу гложет державная обида:

– Колбиты[12], – говорил он, – не сдают своих детей в детские дома! А я – русский, надо мной смеются.

Позвонил я ему вчера из алтайской лесостепи. Сказал: жди, к утру буду у полицейской дорожной заставы на входе в город. Алеша любит слушать, как и что я говорю, а потом рассуждать по теме. Мне нужно отдать текст готовой лекции для людей из Лиги нищих и юродивых. Это корпорация номадов[13] с большим будущим и ярким историческим прошлым. Президент Лиги – друг моих детских лет, киноактер Юра Медынцев. «Человек с тысячью лиц», шагнувший со сцены в зал, где разыгрывается живая национальная трагедия. Мысленно я его вижу в образе идущего этапом на пересыльную тюрьму Мити Карамазова. Юра – богатый человек. За гонорар в пятьсот долларов я напишу ему реферат о нищих в таком ключе:

«Господа прошаки!

Благотворительность на Руси известна с дохристианских времен. Так обозвали редкое во время оно отсутствие совести. Эрзац-совесть – это та самая пресловутая благотворительность. Современный муляж совести называется этикой. Приведу образец нынешней благотворительности: средь бела дня вас берут на гоп-стоп. Вам выворачивают карманы, вам заглядывают в рот, ища остатков пищи. Они находят их, эти остатки. И предлагают вам закрыть рот, говоря: береги их, брат! Приятного аппетита! Спокойной тебе полярной ночи!

Вежливо говорят и уходят есть икру, которую мы мечем. А ведь могли и последние крохи отнять при помощи зубочистки. Но они – добрые, они творят свое благо. Они помогают тебе пройти в холодный накопитель и осуществить транзит в заслуженный рай, ибо богатые не наследуют Царствия Божия…»

– Мы – профессиональные нищие, Петюхан! – напутствовал меня Юра. – И не нужно этого скрывать. На строительство нового русского, заметь, мира нам каждый подаст в силу чувства юмора. Два: дай суть нашей идеи. Она такова: сегодня нищий – я, завтра – она, послезавтра – целая страна! Активней излагай, с видением перспектив! Пиши как бы путеводитель для инопланетян. Вообрази, что ты один на Земле знаешь, как дошкандыбать до оазиса в пустыне и у какого прохиндея, за какую плату взять инопланетный корм в тюбиках. Я ясно излагаю?

– Куда ясней! Ясней бывает только в кабинете окулиста…

– Или когда отключат электричество за неуплату ясака.

– Вот и излагай сам.

– Откуда же мне взять столько слов, интересно?

Уйдя в свои мысли, я не заметил, когда посеял редкой манной небесный снежок – нечаянная радость, ни мало не пугающая меня мертвенной своей белизной.

Но мертвые догоняли. Они вызывали у меня чувство страха и брезгливости с детства.

… Мне было лет около пяти, когда в бараке умер старик, которого звали Нанайцем. Наверное, он и был нанайцем. Сядет на лавочку у барачного крыльца и трубку курит. Но в гробу он казался мне похожим на еще живого Хо-Ши-Мина с гравюры из отрывного календаря. Мне казалось, что умер большой вьетнамец, а не маленький нанаец. На его поминках все пили кисель и ели кутью. Я не всегда бывал сытым, но почему-то не смог съесть ни ложки холодного риса в той комнатке, с того стола, где час назад стоял гроб. Мертвый нанаец, Хо-Ши-Мин – и стойкое отвращение к рису. Только вид убитых на войне и воцерковление притупили мое

разгульное воображение.

– Гей! – слышу тоненький голос. – Эге-ге-э-эй!

Кажется, что Алешиному торсу не более восьми-девяти лет, а голове – все восемнадцать. От роду ему их – двенадцать. Он чтит меня, человека ученого, мудреного и оттого понятного. Им ведь чем мудреней говоришь, тем большим они проникаются чувством сопричастности к этому мудреному. Он бежит ко мне через хайвэй, а стропы оранжевого ранца придерживает в кулачках, зажатых на груди. Этот его школьный ранец когда-то был школьным ранцем.

– Что, Алеша, все с сумой ходишь? – спрашиваю я ласково. – До пенсии-то еще далеко?

– Жабрую, кажу, дядько Петре..

– Мы с тобой, как дед Архип и Ленька! – я даю ему «Сникерс», купленный вчера: – Снікерсни у своему форматі…

– Якій вы, кажу, дід! Вам ще… вам трэба дівчинку собі пошукаты… – смущается он, а глядит своими карими оченятами радостно.

– Зачем же ты мне, Алешка, льстишь-то! – говорю я. И, чтобы скрыть набежавшую слезу радости от этой встречи, закуриваю, отгоняю от лица дымок. – Вот читали мы с батюшкой неделю назад отпускную молитву… над такой одной красавицей… Э-эх! Что наша жизнь в штормах радиоволн!

– Шо ж з ій, з дывчіною, зробылося, дядько Петро? Віна в вітпуск захотіла, чи шо?

– Нашли убитую. В лесу… Витпуск тебе… Ну, с Богом! Пошли!

– Гей! – разочарованно сказал Алеша и поежился. – Холодно ей на тім світи, га?

– Холодно, Алексей… Нам тут гораздо теплей… Как добрался?

– Да мне тут рядом от бабы Риты…

Он подал мне горячую руку, и мы с моим мехоношею[14] пошли к Бабаеву Кургану.

6

Едва заалел восход за речкой Чумышкой. Проходящие в город автобусы еще подсвечивали фарами. А ноги несли нас с Алешей к первой полицейской заставе на входе в город. До нее осталось километра полтора.

– Все! Разговаривай, Алешка, по-русски, – как нелегал нелегалу говорю ему я. – Не то военные обозлятся – хоп! – и Дніпро под Смоленском дамбой перекроют, как вы нам в Керчи. Это будет хороший ответный ход.

– Да и х-х… с ним! – горячо отвечает Алеша по-русски. – Где она, та Украина!

– При мне – ни слова матом! В воскресенье пойдешь причащаться.

– Ну и пойду… А вы, дядя Петр, что же, в детстве никогда не матерились?

– Нет, я не матерился ни за какие шанежки! Я в детстве был одним из самых уважаемых

граждан города Китаевска!

Я сажусь на холодную пластиковую скамейку загородной автобусной остановки.

– А простатит? – напоминает мне малыш о мрачных, отнюдь не брачных перспективах мужского бытия.

Нахожу в сумке пластырь, разуваюсь, начинаю чинить стертые до сукровицы ноги и бурчу:

– Смотри, доберусь я до твоего воспитания, кочевник.

– Аргумент не катит! – Алеша нахватался от меня, как кошка блох. Я закурил, а он тут же каламбур: «Перед смертью не накуришься…» Хоть записывай за ним. Пробовал он и мата легонького, усеченного запустить, проверить меня на доброго дяденьку.

– Матюгаться при мне – категорически запрещаю… – сказал я, приступая на переломанные пяточные кости, пробуя их на боль. – Последнее предупреждение. Знаешь поговорку: любите меня, любите и моего цыганенка? А кто ж меня полюбит, когда у меня цыганенок матерится, как русский военнопленный! И насчет каламбуров тебе меня не одолеть. Какую вот ты музыку любишь?

– Поп-музыку! – говорит он и ждет.

– Поп-музыка – это музыка поп, цыганенок! Я победил!

… Что цыгане! Русские и не заметили, как стали давно уже кочевым народом. Все эти лицедеи и иже с ними искусно превратили нас в зрителей, которые шуршат бумажками от чупа-чупсов на собственных похоронах. Мы взвесь, страты. Листва вывороченного бурей дерева, корча с иссыхающими корнями. Вот и семья наша в третьем уже со времен падения монархии поколении, как безродная, кочевала с каторжного острова Сахалин на материк, на каторжные кузбасские шахты, к обвалам, к черным пирамидам отвалов. В Пустыню Ивановну.

7

… Я с куском черного, как шахтерские будни, родительского хлеба вышел из барака на низкую приступку крыльца домишки по улице Ртутной, 26. Он прятался от истории на холмистой окраине кузбасского города. Мой родительский хлеб намазан толстым слоем комбижира. Тут же выкатился из-за тенистых кущ хрена огненно-черный петух. Он покрутил своей маленькой головой с гневными глупыми глазами. Потом шумно ударил крыльями, заклокотал и взмыл едва ли не к моему лицу. Я и обронил тот хлеб в угольную пыль, а со всего двора, со всех огородов уже бежали к трофею меченые зеленкой гаремные его куры…

– Вор! – рассудил я тотчас. У меня еще не крали. Стало быть, начал я в подслеповатой своей ярости выбирать из угольного шлака что потяжелей, но бабушка уже грозила мне пальцем из раскрытого окна, говоря:

– Яичко любишь? Ну вот! А петуховину осенью – сами съедим!

И сбылось. Летом султана съели. Мы еще и поспорили с сестрой на грудной косточке, кто первый слово молвит. Косточку нужно разломать вдвоем, вдоль и пополам. А после этого тебе дают что-нибудь в руки, а ты непременно должен говорить: беру, да помню! Поспорили мы на целый дореформенный рубль, и я бдел половину суток.

Отец приходил на обед в двенадцать часов, мыл руки, подтягивал гирьку часов, включал репродуктор и садился за стол, никогда на него не облокачиваясь. Вот я и пошел на огород собрать ему сладких огурцов с навозных грядок.

– Жалко петуховину? – спросила из-за спины сестра.

– Маленечко…

– Ой! Смотри-ка: двадцать копеек! – она нагнулась и подняла у моих ног блестящую монету. Я мигом вырвал у нее этот подарок судьбы, а она, хитрая, отдала двугривенный и смеется:

– Бери, да помни!

Я подсчитал убытки: от ста копеек отнять двадцать – это восемьдесят. Это неделю копить по десять копеек в день. Ладно, приедет тряпичник, сдам утиль и рассчитаюсь.

Тут с улицы донесся вопль певца за сценой:

– Айда-те в клу-у-у-уб! Духовой оркестр шахтеров хорони-и-ит! Дядя Петя на басу-у-у заработал колба-су-у-у!

Я поставил миску с огурцами на крыльцо, и голодной ватагой мы хлынули на похороны. Когда схлынули с мероприятия, пока ходили, кто-то спер огурцы. Это не считалось кражей, а шло по статье «наказание за ротозейство».

Но там, в засыпных бараках сибирских каменоломен, я увидел настоящего живого вора Шуру Чалых.

Это случилось, когда лупанул невиданный на Сибирской низменности парной тропический ливень. Гром раскатывался так, что собаки рвали цепи и запрыгивали в окна бараков, распарывая голодные чрева об осколки стекла. Безымянная речонка напиталась бешеною водою, поднялась видением, подмыла и обрушила свой крутой берег. А второй, пологий, – поглотила.

На том пологом берегу зимогорили в землянках-кратерах Копай-города полунищие, отставшие от паровоза истории, поселенцы каменного карьера. Отцепленный телячий вагон поезда дальнего следования.

С чердака своей коричневой двухэтажки, какие до сих пор стоят у железных дорог, мы с Юрой Медынцевым и со слепой девочкой Светой обозревали противный берег Копая – этот затерянный мир. Юра скрутил ладони в трубочки наподобие бинокля и в этот бинокль рассматривал лютую стихию.

– Что видишь, керя? – на правах командира спрашивала слепая Света.

Юра рапортовал, что копайские люди валят заборы и вяжут плоты, что поток несет на своем горбу вороньи гнезда и рухнувшие плетни; что какой-то человек в костюме бросился в воду спасать тонущего Гошу Чимбу: гошина голова то покажется на поверхности воды, а то снова канет.

– Скажи, керя: зачем этот Чимба полез в воду?

– Он хотел выловить чей-то патефон, керя, и стал тонуть сам! – ответил четко, по-военному

Юра. – Воду хлебает! Конец пути – Обская губа!

– Но патефон не может плавать! – засомневалась Света.

– Плывет, как камбала! – заверил Юра.

Он был смиренным ребенком и отличником учебы, которая давалась ему естественно, как дыхание. Придешь к ним в итээровский дом на две семьи:

– Юра дома?

– Занимается! – строго округлял глаза искалеченный войной его отец дядя Серя. – Я вас, шельмы, научу, как правильно родину любить!

Он привез с войны трофеи – фарфоровых пастушек, два гобелена, часы с боем и всякую диковинную мелочь, которую Юра бестрепетно таскал из дома.

– Занимается! – говорил дядя Серя и концом трубки указывал на портрет Юры, писанный маслом.

На портрете – надпись:

Учись, мой сынок!
Твое время настанет.
И знанья твои пригодятся стране.
А если учиться мой сын перестанет,
Пусть вспомнит тогда
об отцовском ремне.

Под портретом подпись:

Папчик – майор артиллерии С. Медынцев

Рядом с этим портретом на гвозде висел, как жирный навозный салазан[15], командирский ремень. С портрета невинными глазами смотрел на нас вороватый ангел в пионерском галстуке – сын артиллериста дяди Сери.

Ремень научил Юру делать такие невинные глаза, но это не мешало ему красть у отца охотничий бездымный порох «Сокол» и махорку. И на тот час на том чердаке у нас была выстроена из суглинка «фанза» – курительный прибор, куда забивался добрый фунт томской махорки. Но Свете мой друг курить запрещал – она считалась его невестой.

Интересной она была, эта жизнь, о чем я уже тогда догадывался. И уже тогда мне хотелось стать писателем и рассказать о своей самой лучшей жизни, где все было перевязано веничком, и где каждая причина непременно имела следствие.

Однажды, когда наша двенадцатилетняя команда шла в поход на кукурузу, Жека Шуйцын остановился и спустил резинку шаровар: ему нравилось выводить струйкой на теплой дорожной пыли: «Ж-Е-Н-Я». Мы всегда так делали до сих пор. Я, например, выводил «петя» с маленькой буквы. Но Юра вдруг заявил:

– Перестань, керя! Светка здесь!

– Так она ж не видит!..

– Она слышит.

– Да пошел ты, керя!

Два кери – Юра с Жекой – подрались. Юра был лучше. Так я Свете и сказал по-честному. С тех пор я Жеке не товарищ. Но в тот час на том чердаке Света спрашивала:

– Кто же этот человек в костюме, керя?

– Не могу знать!

– Он вытащил, он вытащил Чимбу! – дождался я своей реплики. – Ура!

– А где патефон? Где патефон? – Света могла бы слушать музыку всю свою жизнь напролет. Писаная красавица, ни разу не увидевшая своей красоты, она, когда выросла, стала рядовым работящим музыкантом. Так и шагнула из тьмы во тьму. – Где патефон-то, керя?

– Патефон? – Юра посмотрел на меня, ища подсказки. Я подмигнул ему: ври. – И патефон, керя, с ними…

На поляне у дома стоял деревянный столб на пасынках. На столбе – рупор радиодинамика. Было слышно, Как насморочным, жабным голосом пел свои мантры Леодид Утесов:

– … Даши годы длиддые, бы друзья стариддые…

– Выключите, выключите это противное, это гундосое!.. – молила слепая Света. – А человек в костюме – кто же он, спаситель патефона?

А человеком этим и был вор Шура Чалых, который о ту пору возвращался в отпуск домой, одарив Чимбу второй, но по-прежнему единственной жизнью будущего дерзкого вора.

… Потом я видел бесчисленное множество воров, вижу их и нынче – стоит лишь включить «ящик», но второго в жизни явленного вора я видел в бане.

Кончалась зима.

В подполе кончалась картошка, а в угольных ларях – уголь.

С утра, отслушав «Пионерскую зорьку», Петя стал перебирать картошку на едовую, кормовую и полевую. Одновременно он следил, чтобы юный кот не вспрыгнул на братишку, который лежал двухмесячным пеленником в качке и пищал, просыпаясь, как мышь. Это настораживало кота. С портрета на стене строго глядел отец со значком ГТО на солдатской гимнастерке.

– Надоело… – говорил ему Петя.

– Глупости! – хмурился отец. – А ты сдал нормы БГТО?

Взрослые рано, по гудку, уходили на работу. Отец на свой экскаватор «Воронеж», а мама – на грохота в камнедробилку. Вечером приходили, смеялись чему-то, внимательно слушали радио, патефон, вой ветра в печной трубе и засыпали под скрип одинокой сосны на огороде. Перед сном они о чем-то думали и шептались, как рябина с дубом.

Вечером же, засветло, Петя брал черное ведро и шел к железной дороге собирать уголь, свою норму. Пальто его было перешито из отцовской шинели, а шапка осталась на улице после

драки фэзэушников с местными, и Петя ее взял себе: голова у него была не по возрасту большая и умная. Потому и прозван был в школе Голованом.

В один из вечеров он набрал угля очень быстро – недавно на угольный склад приходили разгружаться вагоны – и тащился домой неприступный и гордый. Он знал, что мама даст денег на кино «Серебряная пыль». Эта пыль уже три дня витала над рабочим поселком, а Сане всё – то некогда, то не на что. Но получилось не по его.

– Глупости, – сказал отец. – В баню собирайся, ифиоп…

Ну, что ж? Можно и в баню, кипяток этот терпеть. Одна радость – клюквенный морс в буфете да ручка банной двери из зеленого стекла в рубчик. «Все надоело», – думал Петя, а тут мама:

– Я вам, мужики, новые рубашки купила… Сегодня завозили в магазин… Только вы их не завозите, смотрите… Ифиопы…

И достала из топорной работы гардероба большую белую – отцу, а вторую, с мелкими розовыми ромбиками, Пете.

«То-то!» – подумал Петя, отец же сказал:

– Спасибо, Аня… Я первую и последнюю белую сорочку еще до войны сносил…

– Тебе белое личит, Коля… – Мама, как заколдованная, с улыбкой смотрела на рубаху, на отца. – Теперь бухгалтерша-то вовсе свихнется с копылок…

Отец сказал:

– Глупости! – и полез на чердак за веником. – Бухгалтерша какая-то…

Потом пошли в баню, к центру поселка, где горел ряд фонарей и который назывался на местном языке не центром, а пупом.

Отец шел впереди, Петя чуть сзади и вдруг – хлоп! – нет отца. В темном проулке ребятишки натянули через тропу проволоку. Лежа на зимней тропе, отец сдавленным голосом сказал:

– Дай-ка руку-то скорей… – и встал, легко и коротко простонав. – Варначьё карьерское…

Петя, спеша и волнуясь от предчувствий, стал смахивать варежками снег с его парадного пальто, а когда задел левую руку, то отец ойкнул:

– Что, больно? – спросил Петя.

– Глупости… – буркнул отец.

Возле банного пруда, на дамбе, стояла старуха в телогрейке и нещадно стыдила голого фронтовика Федю Николаева, который купался в проруби. Он увидел отца и заорал:

– Никола-а-ай! Убери старуху! Замерзну я тута-а!

Отец стал похож на мальчишку. Он хохотал и, размахивая веником, бежал к старухе.

Та покачала головой, сплюнула в сторону Феди, подалась за плевком всем телом, будто поклонилась, да и пошла себе домой или в гости к другим старухам.

Федя скачками, повизгивая, понесся в баню. Отец еще смеялся, молодел в смехе, а Петя взялся за дверную ручку из зеленого стекла и потер ее вязаной варежкой. Ручка отозвалась ему мгновенным сиянием далекой луны и померкла на морозе.

В раздевалку доносился хохот, и банщица, хромая тетя Арина Попова, сказала:

– Ух, шваброй бы да по спинякам-то жеребячее племя-то, а! – и завздыхала, подтирая пол. – Про-вдоль бы хребтишша-то, а! Вам не побаниться, вам бы нажбаниться!

– Глупости… – все еще посмеивался отец. – Чо ты, Ариша, ну? Лучше бы спела: «Где ты, хме-е-лю, зиму замувало-о-о…»

– Ты-то бабник известный… Господи, прости… Матерь Божия, святая Троеручица… «Глю-упости»…

– Письма-то Федька пишет, а, Ариш? – спрашивал отец, раздеваясь сам и успевая помочь Пете. – Или собакам сено отбыл косить?.. Эк ты! – он осмотрел руку. – Вроде, распухла? А ну, глянь, Ариш!

– Язык бы у тебя бы не распух… – тетя Ариша смотрела на руку и ждала розыгрыша, потом прислонила швабру к синей кабинке и легонько помяла отцову руку. На лбу его выступили капельки пота, как на банном потолке. Отец взмыкнул теленком и рванул руку на себя. – Ну так всё, Микола. Поломка… Это где ж так, а? Ох, мамонька! А и полбока-то вырвано! На войне, а, Колюшка?

– Под Москвой.

– Ба-а! Весь, поглянь, израненный… А в Москву-то город не заглядывал?

– Я нелюбопытный. Под юбку заглянуть – это еще туда-сюда…

В ласковом банном тумане сновали свободные от роб каменоломы, взрывники, коногоны. Тут же тихонько мылись фэзэушники.

– Здорово, смена! – крикнул отец звонко. Отозвались довольные:…о-о-о-в!.. Коля-а-а, у кого нос доле-е-е!..

– … Колька… сколько…

Подошел рябой Иван, который вне бани все время ходил в промасленных брюках и телогрейке, за что был накрепко прозван Сыром в масле.

Сыр дотянулся до батиного уха и стал что-то шептать. Слышно было только: Наташка… Галька… Верка… Шел разговор про «холостячек».

– Глупости! – спокойно ответил отец и покосился на Петю. – Хошь, Сыр, я из тебя щас клоуна сделаю?

– Смотри сам, – крякнул Сыр, поднял тазик на пуп и поплелся в парную. – А то – Верка будет моя!

В этот раз мылись долго – отцу мешала больная рука. Мылись, парились.

– Как ты, Коль? – спрашивали мужики. – На инвалидности?

– Бюллетенить придется, – без смеха уже отвечал отец. Он досадовал на руку. – Весна вот уже, а тут – хрясь!..

А Петя с радостью думал: весна! Он видел цветенье черемух и водопады на лесных полянах, желтые цветы мать-и-мачехи на склонах оврага и птичьи гнезда в буйной траве, каникулы, мяч…

Отец знал: кончается барда для коровы. Ее осталось чуть на донышке треугольной шахтной вагонетки. Кончается уголь – его надо выписать, привезти на лошади, вывалить у ларя и лопатами – в ларь; Сане надо сапоги или калоши на валенки, а пальтишко еще хорошее, продюжит весну – сколько ее, весны-то той; поросенка на откорм купить – тоже надо, не последнюю зиму живем…

– Надо. Много чего надо. Ламповый приемник хотел взять, а какой теперь приемник после этого…

Лицо его омрачилось, и тут открылась дверь из предбанника. Голый Сыр всунул в помывочную лицо и крикнул:

– Никола, сюда! Быстро!..

– Разогнался… – буркнул отец, но встал и опрокинул полтазика воды на Петю и полтазика на себя.

– Пошли, Голован, не то чайна[16] закроется… Видишь, не могут без Коли Шацких…

– Быстро! – еще раз повторил Сыр, с головой, повязанной вафельным полотенцем. – Вора отымали! Ага!

Кружок мужиков в раздевалке расступился, разомкнулся, но гомону прибавилось при виде отца. Он был в поселке кем-то вроде мирового судьи. Отец и сын шли, прикрываясь тазиками, к центру круга, где на мокрой деревянной решетке для ног сидел мальчишка-фэзэушник с красными ушами. Ему их надрал Сыр. Сидел паря, ни на кого не глядя, одной рукой придерживал на коленках Петину новую рубаху, а пальцами другой – ковырял подножную решетку.

– Стыд-головушка! – говорила банщица. – А?! Вот, пока еще на решетке сидишь, а не за решеткой, проси прощенья!.. Скажи: простите меня, люди, мол, добрые! Больше никогда в жизни чужой блохи не трону! А?

– Простите меня, люди… – подняв со скукою брови, начал повторять было мальчишка, – …добрые… блохи… не трону…

Сыр замахнулся и сквозь стиснутые зубы выдавил решительно:

– Щ-щ-щ-эс… кэ-э-эк… сур-р-раз-зенок ты… с-с-с…

– Ну, к чему такое жеманство! – отвел его руку отец. – Я сам беспризорничал. А ну, парень, встань!

Тот встал, голова опущена. Публика притихла.

– Моя рубаха! – с обидой выговорил Петя. – Новая! Мама только сёдни…

– Уддуй! – сквозь стиснутые зубы произнес, нахмурясь, отец. – Рубух юму муло!

– Муло! – Петя крепко тер нос, перемыкая боль на боль, чтобы не зареветь. – Муло!

– Я вот тебе дам «муло»! Хлюндик! – нахмурился отец. – Одевайся, пошли: чайна через полчаса закрывается.

– Дак, Николай! – воскликнул Сыр. – Дак, это как жа? Рубаха-то чо? А твой-то – чо: без рубахи опосля бани, да?

– Глупости, – сказал отец. – Человек скоро полетит в космос, а ты со своей рубахой!

Сыр озадачился:

– Дак, это… Мне – чо? Не моя рубаха-то, дак, чо мне…

– Пошли в чайну, ребяты…

И все, кроме Пети, оделись в новые белые рубахи, которые только вчера завезли в орсовский магазин. А он надел отцовскую, до пят.

– Рубаха-то до пят, а девки торопят! – смеялась банщица. – Да, Петька? Вырастешь – на завод пойдешь?

– В ниситут!

Когда Петя дорос до ее величины, ему хватило веку увидеть, как заводы-мамонты встали и вымерли. Отчего-то стало жаль их домашний уют.

… Сказать это прозой? Но проза низка, когда о любимом – с пристрастьем. Сибирских сосновых морозов тоска, казалось, бодрила ненастьем. Надёжа завод, ты давал нам тепло, значительным был и всевластным, а соли пакетик да хлеба кило не делали детство ужасным.

Я лично пятерки из школы носил, корову доил и покосы косил. Мне силы надолго хватило. Иного бы трижды скрутило…

… А летом наши дома ставили на дезинфекцию, то есть морили в них клопов. И тогда народ-муравей весело и привычно ставил на улице печи и кочевал на жительство в стайки.

Родительница вора Шуры, чумазая грохотистка Лена Чалых жила в первом этаже того же дома, где угнездились и мои родители со чада. Так, героически, появился Шура, одетый в бостоновый костюм. Это был костюм, который хотелось потрогать. Он был сталистого колера, а сорочка под пиджаком желтая, как весенний цвет мать-и-мачехи. Сибирь не баловала детских глаз разноцветьем садов и яркостью одежд. Долго еще цветенье картофельных полей казалось мне райским цветеньем. И до седых волос доживший, я считаю, что ее цветение красиво. Но желтая рубашка Шуры, его красная, обветренная на лесоповалах ряшка и зелень заречного луга доселе напоминает мне любой светофор на перекрестке…

И я сказал Алеше, пряча аптечку в сумку:

– … Нет! Я, Алеша, не матерился, а хорошие книги читал… Над вымыслом слезами обливался…

– А все равно – нищий!

– Хэх! Да ты знаешь, сколько у меня денег! Народ-то мрет и мрет – вороне радость… Я сейчас богат, как гробовщик… Пошли! Тут нас дядя Юра подхватит и скажет, куда нам плыть…

– Куда же вы деньги тратите?

– Детям голодающей Африки отсылаю! – ускорил я шаг, будто хотел оставить этот веселый разговор за спиной. – Будто ты не знаешь, что Аня строит храм! Я эти деньги отдаю ей на раствор, на кирпичи, на всякую всячину…

– Та не летите ж, кажу, як голый в баню, дядько Петро!

– Опаздываем, Алешка, – прибавь, кажу, ходу!

8

«… А баня та стояла в лощине у проезжей дамбы. Дамбу с будкой водозабора подпирал пруд. Вода в чаше пруда была мягкой и вечнозеленой. После того как с крыши будки нырнул и не вынырнул заика по кличке Гын-Гын, никто, кроме Гоши Чимбы, не решался повторить номер. Скорее из ужаса перед наглостью недавней гибели, чем от страха высоты. На берегу пруда отдельно от нас, черни, лежал этот Гоша Чимба – самый бесстрашный подросток поселка на то время.

Чимба – это его самоварная кличка. Он сам назвал себя так, выкладывая эту кличку галечником на тощей груди. Кожа под камешками не загорала, и все грамотное население могло прочесть, что этот мальчик имеет кличку Чимба. Кто знает, что такое Чимба, пусть не поленится написать мне по адресу: город Китаевск, Главпочтамт, до востребования. Чимба жил в домах, с которыми наши не дрались, обходя их, как прошлая война обходила Швейцарию. В тех домах жили урки. Большинство их детей и внуков тоже стали урками. Они, эти дети, вроде бы, и не были детьми. Они не играли в казаки-разбойники или в войну. Они не играли, а осваивали боевые ремесла, как самое жизнь. Их родители были отделены от государства и власти. Они верили лишь себе, удаче и крепкому кулаку. А кто не знает, что зэковские драки – самые подлые и отчаянные? *Тюрьма слезам не верит.* Они ни на кого не надеялись. А Господа Бога путали с дедом Морозом.

Так вот, Чимба жил среди них, а на нас плевать хотел, как на тангенса с котангенсом и на Бойля с Мариоттом. Своей второй жизнью он был обязан вору Шуре, и на утро следующего дня чисто одетый, коротко остриженный Чимба зашел в нашу дворовую гавань. Воры сбивались в кодло.

Чимба сел за столик во дворе. За этим столиком по вечерам мужики играли в «секу», а с утречка уходили на работу. Чимба достал из штанин финку с наборной ручкой, с усиками и кровотоками. Он взял ее в левую руку и стал вонзать ее жало в столешницу между растопыренными пальцами правой. Он был левшой.

Наша команда с утра на посту по охране. Слепая Света терпеливо учит ноты по азбуке Брайля.

– Чо это он делает-то? – спросил Юра, глядя на забавы хулигана.

– Иди, спроси сам, керя…

– Ага-а… А он ножичком – чики-брыки! Ты командир – ты и иди!

– Так зачем командиру идти? Ты и иди! Ты – подчиненный!

– Не… Я боюсь. Потому я и не командир…

Вот и задача с двумя известными. Один мистер Икс, второй – товарищ Игрек. С дрожью в коленках я спускался по чердачной лестнице на лужайку.

– И тут выходит Дон-Жуан, сын Дон-Кихота с Дульцинеей. Ты кто? – спросил Чимба, не поднимая на меня взгляда. – Ты поцен или карлик?

– Чо? Поцен, конечно! – отвечал я, не в силах отлепить взора от порханий, как крыло стрекозы, стали.

– А почему у тебя усы? – Чимба пырял финкой между растопыренных пальцев.

– Чо? А-а… Ежовику ел.

– Пионер?

– Чо? Да… это… Пионер… – отвечал я, обмирая от страха. – Юный… это… пи… это… пи…

Чимба перебил:

– Пи-пи. Ка-ка. Ням-ням. А умываться – кто будет? Пушкин? Тимур и его парчушки? – он, этот Чимба, глянул мне прямо в глаза. Взгляд этот меня успокоил. В круглых, как ягоды крыжовника, глазах ничего, кроме смеха, я не увидел. – Зубы чистишь порошком?

– Чо? Ну! А чо?

– Чокнешься скоро – вот чо. Ну, говори, поцен, наскороту: в каком сарайчике Шура чалится?

В двухэтажках ожидали дезинфекции. О том, что незаметно подкравшимся летом будут травить клопов, знали все, но никто не знал когда. Многие уже перебрались с пожитками в сарайчики и стали артельно класть летние печушки во дворе.

Я уже вознамерился показать Чимбе каморку Шуры, но, в восторге от земного счастья, с чердака высунулся рядовой Юра и не прокричал – пропел упоенно:

– Пожа-а-а-ар! Пож-ж-а-ар! Ярошенки гор-р-ря-а-а-ат!

Вот так же орал просадивший в чайной очередной аванс татарин дядя Чуфаров. Когда свалится, а мы снимем с него штаны и – ну настегивать крапивой, он тоже выл:

– Горю-у-у-у!

– Курили на чердаке, шкодники… – сказал Чимба, все так же, ни на что и ни на кого не глядя, а только на свой красивый ножичек. – Теперь вервий…

Не вервие. Вервий – это по-ихнему веревка, петля, приговор к вышке. Но об этом я узнал позже, когда занялся плетением словес. Плетение словес – это по-нашему литература. А пока я вижу, как Юра осаживает Свету и слышу:

– Не ходи со мной, я бегом побегу! Ого! Дядь Сема на каланчу полез! Щас колокол – дэ-дэ-э-энь! Дэ-дэ-э-энь! Не ходи, Светка, со мно-о-ой! Тебе мамка сказала, когда на работу уходила, – что? Чтоб ты сидела дом караулила! Чтоб цыганы перину не скрали-и-и! Дэ-дэ-э-энь!

Мать Светы, тетя Аня, работала грохотисткой в дробильном цехе и имела три почетных грамоты от трех, проходящих по ее согбенной спине на повышение начальников щебнезавода: Маневича, Штерна и Бэри, которого звали за глаза Берией. Как после грохотов она играла на полухромке «Подгорну», уже не узнать. Ее перина пред дезинфекцией проветривалась на бельевой веревке, обвисшей между двумя тополями.

– Я же слепая, я – сле-па-я! – объясняла Света. – Я все равно их не увижу – цыган! Я их не увижу!

– А чо ж тебе тогда на пожар гляде-э-э-эть!

По деревянной чердачной лестнице Юра рванулся на ромашковую поляну и – далее. Света, не хуже зрячей, не отставала. И я побежал с ними на пожар.

А когда все дружно вернулись с пепелища, то перину кто-то украл…»

9

– Вот так, Алеша: пока народ по телевизору глазел на кавказскую войну, глядь – а страну-то сбондили!

– Кто это?

– Воры – вот «кто это».

– Значит, мы лохи?

– Не всякий лох плох, – говорю. – Мы лохи, но мы – лохи высокого ранга, Алеша. Нищий лох, Алеша, нравственно выше, чем, например, лох-президент. Все, например, президенты в мире – лохи. Они попрошайничают. Они берут в долг, а отдают эти их займы невинные, следующие поколения. Ты же, детка, в отличие от них берешь, если дают. И бежишь, если бьют. А возвратить не обещаешь…

Идем тихо, коротаем в разговорах предрассветное время.

– Вы толковый, дядя Петро! А скажите: лохи – они были всегда, например? Или как с горы на лыжах: бац! – прибыли!

– Я тебе поясню. Лох узколистный и серебристый был всегда. Это полезное эфирно-масличное растение. Лохом называли и тощего после нереста лосося, Алеша.

– Лося?

– Нет, лось – это сохатый. Лосось же – это рыба. Нерест – это икромет. Икромет – это время, когда рыба мечет икру. Икра – это деликатес. Деликатес – это нечто, обладающее тонким вкусом… Вкус – это…

Алеша сделал вид, что хочет вырвать свою ладонь из моей.

– Про лоха излагайте! Грамотно чтобы. А икру я ел…

При такой жадности к знаниям да при оранжевом ранце скитается мальчишечка-сирота по пыльным шляхам побирушничества. В моем детстве мы об этом только в страшных книгах о царизме читывали.

– А я про что? Я про лохов говорю. Могу грамотно. Слушай внимательно: по-немецки «лох» означает сразу и лунку, и углубление, и отверстие, и просто дырку. По-русски же слово «лох» имеет совсем другое значение: дурак, простофиля, профан. А ну, не шмыгай в себя, возьми платок – и высморкайся!

Он так и поступает. Я бдительно продолжаю:

– Очевидно, что слово «лох» в этом значении пришло из идиша. Идиш возник как кодированный немецкий. А «лох», что значит «дырка», издавна говорили евреи о простаке, пропустившем свой шанс по глупости. «Лох» – сокращенное от знаменитой еврейской идиомы «лох ин дер коп» – дырка в голове. Der Kopf – деркоп – дерко – дырка… Лох в нынешнем русском языке, Алеша, – это любой человек, которого вынудили к непривычной, но привлекательной и якобы мигом обогащающей деятельности… Вот тебе примеры: обыватель и казино – это лохотрон, дурачок и деньги – это форекс, владелец квартиры и риэлтера – шулера, маменькин сынок и богатое наследство, президенты и президентство…

– Вы такой умный дядя Петя, но тоже лох. Так оно получается… – мотает на ус Алеша. – Горе от ума!

– Я не умный, а эрудированный. А эрудиция – это пустое, к уму она отношение имеет са-а-мое отдаленное. А горе, Алеша, – это в аду гореть. У нас – чем не жизнь? Воля! А у них что?

– Нет, воля, дядя Петр, – это деньги!

– Не скажи! Денег должно быть ровно столько, чтобы их хватало не попрошайничать и оставалось, чтоб поделиться с товарищем…

– Мне бы такого, как ты, папку… – говорит хитренький Алеша. – А вы на Украине-то бывали?

– Бывал. Чуден Днепр при тихой погоде – это действительно так, удостоверяю.

– Нет, вы скажите серьезно: у нас… у них в Алма-тах бывали?

Он думает, что у меня с его мамой могло случиться дитя. Могло, Алеша. Могло, лисёнок, но не случилось. Не я твой отец. Ты говорил, что у того, кто дал тебе жизнь и погубил твою маму, была татуировка на предплечье. И, как я понял, дембельская. Он много моложе меня. Я не стану врать, что я твой отец. Я своих детей не вырастил, деревьев повалил вагон и маленькую тележку. И дома не построил. Хочу вот построить храм на земляничном лугу. Вот куда идут мои деньги, сынок… И жизнь моя исполнится смысла и спокойствия. Даст Бог, мы сделаем это с тобой вместе. А пока – молчок, старичок. И послушай бывалого бродягу. Нам осталось пройти метров четыреста.

– Россия, – упражняюсь я в риторике, – она, матушка, сейчас уподобилась царственному осетру, которого потрошат: икру берут, а все остальное бросают гнить, – говорю я. – Однажды я сказал этим борцам с народным благосостоянием, Алеша: отдайте мне, паразиты, то, что отняли с кровью у моих мертвых. Реституируйте, паразиты! Нет, говорят мне, такого закона. Отдайте, говорю, хотя бы землю: на ней еще пять лет назад стоял дом моего прадеда! И тополь рос, который пращур посадил! Я вырою себе могилу на этой земле. Я не хочу лежать на городской свалке, которую вы называете кладбищем. Тополь, мне говорят, пожалуйста, берите. Так и быть. Все равно от него один пенек остался. А земля – это, извините, объект сельхозоборота! Это у них-то сельхозоборот! Как бы не так! И получается, как говорил Антон Иванович Деникин, что у белых с красными земельный вопрос решается просто: кто первый в землю ляжет – того и земля… Вот так, Алеша… Но нас семью оглоблями на одном мете не

ушибешь! Кто они мне, все эти греки?

«… Раньше, когда вся эта демократическая шарманка завелась, я, доктор филологии, ездил по городам с гитарой и давал концерты авторской песни для небольшого количества людей. Чем я отличался от нищего шарманщика? Потом я разъезжал с лекциями о Серебряном веке: чем я отличался от уличного факира или нищего? Кому он нынче нужен, Серебряный век? Пришла пора взрослых разочарований. А теперь, парень, у меня есть вера… Малая, но есть. Но тому, кто захочет лишить меня веры, сделать это не удастся – мимо тазика, как говорят парашютисты. Наверное, мы и до номенклатурного переворота жили как нищие, если смотреть на это глазами богатых людей. Но тогда мы верили в будущее…»

– С кем из животных можно нас сравнить? Мы кто – овцы?

– Мы – Божьи овцы, Алеша!

Он отмахнулся, сердясь:

– Сами будьте овцой! Я – не овца! Я хочу отомстить за маму!

И по щеке его скатилась за воротник сладкая слеза мстителя, увидевшего в мечтах плоды своей мести. Его мама умерла от передозировки наркотиков. Она работала в краевом центре Горнауле на «мамку»[17].

– Кому ты хочешь отомстить за маму, Алеша?

– Всем… – вот так, ни много ни мало. – Кроме вас. Вы смешной. С вами весело. Вы прожили интересную жизнь!

– Во-первых, я ее еще не прожил. Во-вторых, Алеша, ничего необычного, наверное, в моей жизни не было. Все вокруг лишь казалось мне необычайным: живая тварь, железо, вода, камни… Тот же завод. Ты. Вот отвлекись от соплей и послушай финал моей поэмы «Завод». Слушаешь?

– Да, дядя Петр!

– Ну, так слушай, пока я добрый:

… Белая собака чешется о прясло… Выйдет на дорогу, тявкнет – и замрет. В хмуром песьем взоре яркое угасло: снегу нет, без снега стынет огород. Небеса китаевские снегом оскудели… Встал ноябрь, как телка, – и ни бе ни ме… Не прядут метели снежные кудели – белая собака не в своем уме.

Родилась собака при Советской власти,
Выпало ей счастье при других харчах.
Поведет ноздрею, щелкнет ярой пастью:
Не усторожила, стало быть, очаг.
Вспомнит: камышами мечутся подранки…
Утро… козье стадо… цоканье кнута…
Белая собака, призрак эмигрантки —
Конура на месте, да еда – не та…
Вот и снег задержан паном на таможне,
И свинью хозяин в мае заколол;
«Беларусь» споткнулся на пожженной пожне

И уткнулся в пожню, как пьянчуга в стол.
В лагерной фуфайке – вата легче пуха —
Пугало пустое ловит белых мух.
Хлеба нет, собака. Снега нет, старуха.
А не то – пошла бы нынче ж на треух.
Ух, какознобило! В банный день субботный
Вывалил хозяин на собачий лай.
С виду беззаботный, стыдно безработный
токарь-фрезеровщик, он же – Николай.
Словно бы очнувшись от хандры постельной,
Он стоит и смотрит на трубу котельной.

Замер, сделал стойку, как хороший сеттер, отлетая думой во вчерашний век, где швырял он деньги с девками на ветер, но на производство шел как человек. Вспомнил Николаша, как был крут и молод, как из деревеньки уходил пешком. Мог бы серп он выбрать, только выбрал – молот. Мог квартиру выбрать, но построил дом. Вспомнил Николаша, как любил подраться, девушкам стихи он мог читать в бою... «Я ли вам не свойский...» Где ж вы нынче, братцы? Может, вспомним вкратце молодость свою?

Белая собака, бедная дворняга
Доплелась до школы – окна не горят...
На ветру обрывки выцветшего флага
Как-то неохотно с небом говорят.
На нее с помойки глянет Менделеев:
Жил в химкабинете, а теперь – ничей...
Сколько было славы, спичей, юбилеев!
Сколько было громких сказано речей!
Дмитрий свет Иваныч! Не в песок и глину
Улеглась собака – да, ой, на твой портрет...
Не серчай на псину, почеши ей спину!
Ах, да у тебя же ручек-ножек нет...
Рядом Ломоносов в парике, в камзоле....
Вынут из багета – что ему багет!
Вон парик порепан сонмищами моли...
Отзовись, Отчизна! Но ответа нет.
Дневники и двойки,
Бойл да Мариотт,
Все с одной помойки
смотрят в небосвод.
Ленин с дамской плойкой,
Карла с розой треф,
на солдатской койке,
задницы пригрев,
рассуждают бойко
про политмомент,
и какой тут нужен
будет инструмент.
«Чтобы сконтгапупить звезды из губина,
Подошла б, Каглуша, гусская дубина!»

Вот прошел учитель в секонд-хэнд одетый... Ишь, переживает, бедный, демократ, что

обуться нету, что одеться нету – тут и голодовка в самый аккурат. Шуганул собаку. Осмотрел ученых. Крякнул, словно грузчик, восходя на трап. Вспомнил слово «деньги». Не имея оных сплюнул ва след узорчатый от собачьих лап. Пусто, страшно, дико под бесснежной высью… Что случилось в русской искренней судьбе?

Белая собака,
бедная собака
потрусила рысью
К заводской трубе…

ЭПИЛОГ. ТРУБА

На заводской трубе написано цинковыми белилами:

«Все удобно, что съедобно!»

«В детстве у Вити был калейдоскоп, а у Коли его, калейдоскопа, не было. Чтобы поглядеть в тубус, Коля отдавал Вите кусочки комкового сахара, и пока тот грыз сахар, Коля смотрел на чарующее чередование цветных черепков в зеркалах тубуса. Кругом цвели поля, пели утренние птицы, играло солнце на небеси. Коле было чихать на все это – он смотрел в трубку. Он был голоден, но счастлив. И он умер от голода, но с улыбкой счастья на лице и с картонной трубкой в кулаке. Витя долго разжимал кулак Коли, чтобы забрать игрушку у мертвеца, который так и не стал взрослым. Разжал – и к ногам его упал цветной телевизор. Аминь».

– … Это вы сами написали? – Алеша давно стоит, и я стою. Он смотрит на меня зачарованно, не хуже, чем тот рыбоглазый вор из вчерашнего боевика.

Я расшаркиваюсь и развожу руками.

– Вы – этот… поэт?

– Нетушки! Я прозаик, иногда пишущий стихи. Чтобы не потерять чувства ритма. А поэт – это такая самозаводящаяся игрушка. Накрутит сам себе пружину – и давай за девками, как ты вот, гоняться! И жужжит: я пишу для себя, я пишу не для славы! Так вот и жужжал бы для себя!

– Эх, зачем вы, дядя Петя, возитесь с покойниками? Зачем? Как вы потом исть-то садитесь? – Он, похоже, ненавидит меня сейчас. – Эх! Если бы я мог так написать! Разве я ходил бы с этим… – он срывает оранжевый ранец со своих узеньких плеч. – Зачем вы-то… так, а? Я… я… Мне надо питаться, расти… А вы… Нате! – бросает он к моим ногам свою котомку.

Это не произвело на меня сильного впечатления.

– Стоять! – властно сказал я и указал на ранец цвета будущей украинской революции. – Подними! – Отвлек таким заявлением его внимание, схватил его за плечи и прижал к себе, потому что проясняется утро, и хайвэй полнится скоростными, летящими, как пьянь на ларек, иномарками.

Алеша глушит плач будущими мужскими стонами. Вот она, достоевская слеза ребенка, падает на бетонку, где ничто не прорастает, но всё умирает. Я и сам-то едва не плачу.

– Будешь жить при мне, аккатоне. Тетя Аня нравится тебе заочно, да, я знаю. Но она меня, я считаю, бросила. Она – религиозный фанатик. *Она* будет молиться до тех пор, пока *я* не

расшибу себе лоб.

– Нет, вы глупый… Глупый, хоть и лекции кругом читаете. Она вас, вас любит!

Он плачет еще сильней и трясется, как вибромолот. Нам тревожно сигналят из машин. Я отмахиваюсь свободной рукой. Мы стоим посреди оживающего хайвэя, как рассекатели.

– Не бросай ее… – тоненько, с хрипотцой, как обесточенный, говорит он.

– Ты думаешь, я умный? Как бы не так! Хоть и знал в твоем возрасте, где находится озеро Баскунчак.

– Это не озеро – это фамилия такая, – с большой уверенностью ответил Алеша. И мы двинулись дальше в щель автомобильного потока.

«У нас с Аней сын, Иван Петрович Шацких. Куда же я его брошу? Самого скорее бросят. Ванюшка останется с ней. А я вряд ли переживу это одиночество, не старые, чай, времена – времена молодости».

10

Мог ли я объяснить ему, что со мной произошло то, чего не просчитаешь ни на одном компьютере. Аня возомнила себя самой грешной из женщин на земле, забывая, что я-то, горемыка, полюбил ее со всеми теми грехами, что в девичьей юности на кривой козе не объедешь, когда страшно сказать правду и сказать ее некому. Сто лет назад можно было бы сказать, что я полюбил ее за родство душ. Мы были, как мне казалось, одной душой и одной плотью. Я мог бы сказать Алеше:

«Мы, Алеша, уже пять лет как венчаны. Я не говорил тебе об этом, чтобы не ранить своим благополучием, чтобы не повис между нами грузный и грустный вопрос: почему бы тебе ни пожить у нас? Это не мой дом, Алешка. А сейчас мне неизвестно и то, кто я сам в этом доме.

С венчания мы ехали на велосипедах. Сухо потрескивала в небе еще невидимая гроза. С лица Анны не сходила задумчивая мягкость.

– Смотри на дорогу, Нюся! – тревожно говорил я. Но нет – она смотрела на меня.

Потом мы сидели у раскрытого окна ее учительского домика, но она опять на меня смотрела.

– Ты – мой герой, Петр… – говорила мне она. – Если с тобой что-нибудь случится, то я уйду в монастырь.

Ах, милый ты мой Алешка, друг ты мой, надёжа! Кого не тронули бы такие слова! Ты знаешь Анну по моим рассказам и знаешь, как она надежна и что цена ее слов – очень высока. Она из тех редких женщин, которые, сами того не сознавая, видят в мужчине его суть, которая не выражается ни благолепием лиц, ни рельефом мышц – она человек небесный.

– Давай с тобой построим храм! – продолжала говорить она. – И ребенка, которого я рожу, будем причащать в нашем храме!

Я не мог не согласиться – всё, что она говорила, звучало здраво. Мы и родили ребенка. А с началом возведения храма моя жизнь, которую я полюбил с новою силой, выходила на высокий душевный круг, откуда можно лететь выше и выше.

Как-нибудь я расскажу тебе о том, по каким кругам административного ада она прошла, прежде чем получила землю под строительство, как она выходила болезнь суставов своих красивых ног в хождениях по нищим деревням с ящичком для пожертвований. Люди в окрестных деревнях знали и чтили Анну, отрывали от себя крохи, они клали их на алтарь новостроя. Привычный мир пылал в адовом огне, они строили свой ковчежец. Дело шло.

Когда-нибудь, даст Бог, я напишу об этом роман. Но она, моя заповедная Анна, мой деревенский ангел, она отдалилась от меня и живет теперь где-то высоко-высоко среди лун, иных светил и птиц небесных. Так стало мне казаться. То есть я могу потрогать ее рукой, как твой глухонемой мальчик свою Жирную Хромосому, но ее нет со мной. Говорят, что тот, кто не строил храма, не знал искушений. Она ушла из выморочной школы, где уже больше года не платили даже мизерного жалованья. Все свое время отдавала занятиям с детьми на дому, хлопотам о храме да молодому вдовцу о.Христодулу – своему духовнику, которого назначили сюда вместо старенького отца Глеба. Она с диковинным для моего понимания постоянством исповедовалась ему, а это значит, что она не оставляла мне ничего, кроме усталого тела. Не терплю я усталых женских тел. Мне не кажется благим делом любовное истязание усталого тела. И не выдержал я, и воспринял Анну не как дар Божий, а, похоже, как реванш за бессмысленную жизнь до нее. Увы – реваншизм ведет к зеро. Это я нынче просветился, а полгода тому я закатил Анне страстный монолог. Навязал лыка, похожего на бред ревности. Заболел старостью.

– Ты ревнуешь, но он же священник! – сказала она с большим терпением. – Может быть, у тебя жар?

О, погоня за уходящим поездом жизни! О, Хасбулат на обезножевшем скакуне! А он, бес-то, меня и давай крутить. И давай пускать серный дым на святые иконы. Во мне помутилось, померкло выстраданное: вне веры православной не может быть ничего, кроме пустоты. Там – черный, как в угольном штреке, тупик. То есть во мне нарушилось обретенное в тяжелой дороге соотношение вечной борьбы двух начал человеческой природы: духовного, данного людям Богом, и телесного, данного дьяволом. Вся чернота, вся муть изверглась из меня, но не иссякала.

– То, что он священник, отнюдь не значит, что он не мужчина и не жеребец! – кричал я, презренный. Но ведь так оно и есть? Он ведь не монах, да и монахов бывает отчитывают.

Она с отчуждением смотрела на меня и не искала слов:

– Он вдовец, он схоронил молодую жену! Ты не знаешь разве, что священнику не положено жениться дважды и что жениться он может только на девственнице?

– Мало ли что людям нельзя делать, но делают же! Делают, да еще как! И что: для этого обязательно жениться надо? – высказывал я свои прямые, как дышло, доводы.

– Какой бред! – помолчав, выразительно сказала Анна. – Так ты мне Бог знает что внушить можешь! Тебе не стыдно? Я не знала тебя таким…

– Так знай же! Знай! – ревел я, и будь у меня под рукой ружье, я бы, грешный, застрелился. – Я тоже не знал тебя такой! И я хотел бы, чтобы ты чаще бывала дома! – Будь у меня под рукой штык – вспорол бы все брачные перины, а пух развеял бы по степному ветру. А надо было говорить: прости, милая – так гнет меня предчувствие телесного краха…

Ни ружья, ни штыка не было. Тогда, приравняв к штыку перо, я написал гневное письмо ее духовнику о. Христодулу.

11

Вот приблизительный его текст:

«Здравствуйте, батюшка. Благословите. Вы знаете, что мне тяжело ходить пешком, и потому, надеюсь, Вы правильно поймете мое обращение к письму, а не к очному объяснению. Как писатель, я хотел бы прояснить для себя Вашу позицию по одному из насущных вопросов из сферы супружеских взаимоотношений двух православных людей, моих знакомых. Он – достаточно известный и уже немолодой литератор, сочинитель песен под гитару. Человек он не то чтобы умный, но тонкий и проницательный: Не очень умный, но супруг (назовем его П.) все больше и больше влюблялся в свою разумную супругу (назовем ее А.), радуясь воле небес и тому, что жизнь обрела наконец ясность и высокий смысл. А однажды А. и П. решили построить православный храм на цветущем поле. Они светло и горячо взялись за дело. И дело пошло. Да вот беда: чтобы хоть как-то содержать семью и дать неработающей своей супруге заниматься строительством храма, П. должен был непрерывно прирабатывать, зарабатывать, отъезжать в далекие города с концертами и лекциями. Потом он стал прилично зарабатывать, читая Псалтирь под покойными. И, возвращаясь усталый домой, наш писатель – человек не очень умный, но одаренный тонкими эмоциями и художнической сверхпроницательностью, встречаем был едва уловимой для стороннего взгляда остудой и охладой. Он отрывался на многие сотни и тысячи километров от дома, чтобы вернуться туда с вечными чувствами фронтовичка. И нетрудно, батюшка, наверное, вообразить себе душевное смятение этого бедолаги-фронтовичка, когда он рассчитывает на естественную супружескую близость, а в ответ слышит от своей Пенелопы: «Сегодня нельзя, сегодня среда, милый!» Или: «Нельзя, Одиссеюшка, – пост-с!» «Ах, Боже ты мой Боже, какая святость! – думает фронтовичек в умилении чувств. – Ничего, переждем…»

Но кончается пост – начинаются регулы, кончаются регулы – начинается среда. В четверг – она устала. В пятницу – далее, по неразмыкаемому кругу. Фронтовичок – опять на войну. У него уж и ноги не ходят, и нервы, и сомнения, и страдания неразделенной любви. Вернется: где моя валерьянка, моя маун-трава? Он видит – остуда, охлада. Пропасть между супругами ширится и острозубится. Вещи, которые ему по-своему до?роги, раскиданы в полном небрежении, на рабочем столе – черт ногу сломит, а уж про обеденный – помолчим. Какой там! Супруга ведь строит храм! Он, П., уже вроде бы и не при деле. И он уже пишет мне, как я – Вам. Мол:

«Я прихожу домой после большого житейского отвращения. Говорю жене: может, постелишь постель, как в песне поется? Она: «Среда-а-а! Пя-а-тница-а!» Вот она, любовь лоха! Не проще ли сказать: «Так, баба, шабаш! У тебя пятница, а у меня был трудный день. Мне не до тонкостей!» В этом обугленном мире приткнешься, бывает, к любимому существу – и весь отдых. И курорта не надо. «Дай-ка денег, я быстренько сбегаю на ферму к дояркам за эрзацем типа жмых! А через пятнадцать минут – обратно!» Она говорит: «На-а! Только не вводи во искушение!» Нет, этого «на» ему не надо. Он сигарету в зубы и на чердак с песней: «сигарета, сигарета, только ты не изменила!» А на чердаке курить опасно во все времена, а особенно во времена диктатуры либерализма. И это, отче, тот самый венчанный брак, к которому призывают нас наши молитвенники?

«По мне бы – таких змеюг убивать надо, чтоб мужиков не портили, когда в стране убывает в год по полтора миллиона голов!» – пишет мне благовоспитанный мужчина П.

Чувствуете, батюшка? Сменился лексический строй! То есть неплохой человек, не йети какое-нибудь, теряет последнее в своей земной жизни лицо. Кому это выгодно, как намекали древние юристы из пруденции?

Далее. Она действительно много и успешно работает, очень устает, но что-то в этом месте сильно попахивает фанатизмом и трагическим фарсом. Вернувшись в очередной раз с передовой, наш фронтовичек читает на заборе, что он – откровенный рогоносец. Раньше дегтем писали подобные изречения, тут – краской из баллончика, что, очевидно, удобней. Деготь – тот пока выгонят, да то, да сё. А баллончик перед дегтем – он как космическая ракета перед сивкой-буркой. Но фронтовичек верит жене. Он не верит надписи на заборе. Однако по дальнейшему его «регажу» на развитие событий можно констатировать, все же, факт очередной тяжелой контузии П. Он стал смотреть на свою жизнь, несколько изменив угол атаки своего зрения. Повторяю, это следствие сильнейшей контузии, всего-то-навсего. Нуждается человек в лечении лаской энд заботой. Иначе свои химерические сны и заблуждения человек переживает всё острей и острей, нежели реальность. Это болезненный аутизм, батюшка, страшней некуда. В искреннем своем заблуждении П. может зайти так далеко в инобытие помешательства, что дурдом станет его кровом, прибежищем, дурной реальностью. Тут А. скажет мужу: надо, мол, молиться, причащаться! И, наверное, будет права, но отчасти. Потому что она путает причинно-следственные связи. Ведь П. был совсем не против того, чтобы выстроить храм. Более того, он делал в помощь ей всё, что в его немощных силах. Но он, П., против того, что платой за его добрую волю станет отсутствие в семье супружеской близости и человеческого, а не скитского общения. П. – человек, может быть, излишне чувствительный, и не совсем здравомысленно реагирует на происходящий пожар, семейного очага и оттого выглядит смешным, нелепым, слабым. Но не любовь ли, к которой призывает нас Христос, делает мужчину сильным? А время для П. имеет уже ход со знаком минус. Его все чаще посещают мысли о добровольном уходе из жизни. П. – писатель, это то единственное, что позволяет не считать себя лишним на этом пиру духовности. А. звонит:

– Что делаешь?

– Пишу.

– А-а, пишешь! Вообще-то, надо рыбу чистить, завтра праздник, к нам батюшки приедут… Ну, пиши, пиши.

Да, едрена же фенюшка, батюшка! Бдльшая половина деревни баб-прихожанок – и рыбы почистить некому! Они что: все до одной разделяют убеждения г.Арбатовой типа Новодворской? Отчего же так таинственно? То есть то, что делает жена, – это высокий смысл ее жизни. На здоровье! Но делать из мужа мальчика на посылках – это, извините, у него бы спросить неплохо: желаете ли, кормилец, бысти заживо замурованным в фундамент храма? Неплохо, да?

Поскрипит бывалый мужчина и муж П. осями, членами и сочленениями и, чтобы не впасть во грех малакии, уходит из дому куда-нибудь, где уже умерли. Работа у него такая, ея много. А в развитие отношений между венчанными супругами можно увидеть следующую картину:

– Дай, жена, свежее бельишко в дорогу!

– Ой, П., совсем трусов не осталось! Только женские!

– Хорошо. Давай женские, но свои. Слава Богу, что хоть не мужские, но чужие!

И уходит бедный П. в степные деревни хоронить своих мертвых, одетый в женское исподнее. Читает он девяностый псалом, а сам об этом своем слабом соответствии Богоданному полу думает.

В детстве я увлекался элементарной логикой. Вы тоже, надеюсь, изучали эту дисциплину.

Скажите мне теперь, отец Христодул: хорошо ли, когда религиозный фанатизм одного из супругов разрушает семью и супружеские чувства? Во славу ли это Божию? Похвально ли для замужней женщины, имеющей маленького ребенка, денно и нощно биться лбом, отбивая поклоны, творя в доме запустение и раздрай? В наши дни очень легко воссоздать внешние формы богослужения, но при этом опустить его цель и смысл. И как насчет послушания Духу Божьему? Не можем ли мы просто следовать за Ним, позволить Ему вести нас, или же мы жестко связаны уставными формами, правилами и не в монастыре, чай, живем. Ответьте: можно ли делать доброе дело, ломая мир и лад в семье? Не гордыня ли это? Вот говорят: кто храма не строил, тот не знал искушений. Но зачем же эти искушения надо подогревать еще и супружеской холодностью, запущенностью в доме? А все это прячется за правильные слова из Священного Писания. А где же «печального утешить?» А «неисполнение в свое время данного слова»? А где же заповедь: «жена своим телом не владеет, а владеет муж»? А «усиление каждый раз раздора с мужем»?

А «искание и достижение господства над мужем»? А «супружеская ревность с одной стороны, а с другой – нехотенье прекратить поводы к ней»? Разве православная жена не обязана, как нечто само собой разумеющееся, исполнять эти заповеди, батюшка? Чем же А. отличается в таком случае от рядовой злобствующей феминистки или от стервозных персонажек Григория Климова? Разве то, о чем я пишу, это не разновидность женской стервозности? И где радость – не надо счастья!

Вот совсем недавно, пишет мне П., супруга его ходила на свадьбу, куда почему-то не пригласили ее мужа. Где гарантии, что завтра она не пойдет с мужчинами в баню во имя Божие? Прошу вас ответить мне, а я уж передам ваши слова несчастному, не очень умному, сильно контуженному фронтовичку П. При всем при этом он хотел бы знать: как же так случается, что один храм мы строим, а другой – разрушаем? Церковь – это Мать. Так может ли любящая Мать доводить детей своих до таких тягостных недоумений? Владыки святые! Я что, почемучкой должен быть до гробовой доски? Плачу, вопию, вопрошаю – и нет ответа. Вот и храмы нынче, как правило, заполнены, особенно в церковные праздники. Но живость чувства веры не исключает сбитости с толку, незнания, где искать домашнюю свою правду. А вследствие этого, батюшка, – простите уж меня, грешного! – происходит ослабление нравственного личностного влияния православных иерархов на своих прихожан. Я лично, наблюдая клинику описанных мною супружеских взаимоотношений, уверен в том, что не одна православная семья развалилась вследствие чрезмерной эксплуатации церковью религиозного чувства женщины и отторжения мирянки от ее прямого назначения – служения своей семье.

Дерзнул написать Вам теми же словами, на которые подвигнул меня Господь. Потому что с тех пор, как воцерковился, перестал ругаться матом.

С искренним уважением раб Божий Петр».

То есть я ревновал, я ревел, как буй-тур, как театральный мавр, испачкавший лицо серной кислотой вместо морилки, как человек, очнувшийся ограбленным в несущемся на южный курорт поезде.

Я считал то, что произошло с ней, Алеша, религиозным повреждением ума, когда послушание и смирение граничат с гордыней. Меня бесило, что теперь у Ани на все есть ответ. За нее, как в армии, все решают командиры. Но вот командир – увы! – не я. Я – досадная, логически мыслящая помеха. А поскольку женщина не может быть бесхозной, то ее хозяином, конфидентом и наставником стал молодой священник из новой волны. Ты бы видел, какими глазами она смотрит на своего пастыря! Все мое матерое, бродяжье одиночество начинает сгущаться. Мне хочется выть, как одинокому волку. Иногда я и вою. Попросту говоря, Анна

стала всем, что дорого мне в жизни. Но теперь я смертельно болен. И зачем я ей, которой нет еще и сорока лет? Надеюсь, она похоронит меня в этой степи, облегчится – спасибо и на том. Но далее идти по миру аж до самого Крыма и Рыма, как раньше, я уже не могу – нет сил. И хочется жалости к себе, как после вечного захода солнца. Но людям, Алеша, безопасней жалеть героев книг и персонажей киносериалов, или уже мертвых людей, или кошечек и собачек.

Правильно говорят батюшки: возлюби ближнего своего, как самого себя. Только какое же, батюшки мои, «возлюби»! Любовь, как вера: или она есть, или ее нет. Можно ли возлюбить из чувства долга? Но-о, детка, – видел бы ты их, этих неразлучников – «Х. плюс А», как пишут на заборах! И я знаю, что как бы ни лгала себе женщина, но мужчина – ее земной бог. Об этом и в уставе церковном говорится иносказательно. Но женщина, как ни странно, вечная язычница. Она даже не знает темных глубин своего лицедейского дарования! Ничто уже не остановит бабу, когда она почувствует манящие огни житейской рампы. А когда религиозный пафос смешается в ее сознании с любовным помешательством, то ее не остановит ни память о прошлом, ни судьба ее ребенка. Это у них называется «сладость греха», поскольку внецерковный человек вообще не осознает греха. Она не понимает тогда, что выбросить – иначе говоря, абортировать, – исключить от живой жизни мужа или уже рожденного ребенка – это, я полагаю, нисколько не меньшее зло, чем убить невинного человека. Привычный муж протух и завонял табаком, как нечестивец. И тут ей Господь не советчик! Он свой парень. Пойдет она к тому же о.Христодулу, исповедает грех: что, скажет, делать-то было, отче мій? Не нужен мне стал муж мой венчанный. Посты не блюдет, на стол ему, как официантка, ставь. И еще чего требует, лохмаче тулупа. Нет, отче! Одного Бога люблю. В монастырь уйду. И всплакнет ему в рясу, как некогда в мое плечо. Влупит он ей послушание. По силам. А нет чтоб сначала хорошенько рассудить, кому ты вручаешь себя в послушание и куда поведет тебя этот человек. Так что эта парочка – Аня и о.Христодул – играют и доиграются. Они построят еще пяток храмов, им все Господь простит с запасцем. Но храм моей души, Алеша, они превращают в руины. Когда я начинаю рисовать себе картины своего мужнего будущего – в голове мутится, сердце теснит.

Бог, Алеша, – это Бог. Люди, друг мой, – это люди. Есть среди них и волки в овечьих шкурах, даже и митрофорные. Знай и не путай. А я знаю.

До поры я бесчувственно относился к черному коту Анны. Кот – он и есть кот: смышленый, ловкий, ручной. А однажды вдруг отметил, что хочу взять его на руки, уткнуться в его пушистый загривок. Почему? Потому, что оба мы с ним для Анны – домашние животные. Только ты, друг Алеша, не подумай, что я неверующий. Просто у многих из людей изуродован понятийный аппарат, и его, как иной банан, в ухо не вставишь. А у меня он не изуродован: ведь чтобы правильно поступать, нужно правильно понимать.

И кто я с этим нечистым духом: сумасшедший странник перед – ого-го! – высотой духовной жизни Анны и о.Христодула, Алеша? Кто я для них, для людей, наследующих не эту разоренную землю, за которую я бился до полной потери сил, а Царство Небесное? Кто я со своим простым желанием покоя и лада, тихой любви и щебета детей, со своим любимым табаком и дурной привычкой к писательству? Аз есмь червь. Ползем дальше, господа юные натуралисты. Что бы нам, бездуховным, и не поползать?

Так я думал. А в воскресенье поеду к своему духовнику – тошно мне жить, Алеша. Мне стало с Аней гораздо сложней, чем некогда с механизмом имени Калашникова. Может быть, я и писателем стал оттого, что всегда бежал от действительности, не сознавая этого, жил бегом, жил в слове. И вдруг – стоп! – вот она, действительность. Я сделал в ней остановку, но сегодня, чтобы стоять на месте, нужно все время бежать… Разумеется, всего этого я Алеше не говорю.

– Да она, может быть, и не пойдет за нас! – только и говорю я Алеше, вдогонку теням своих невеселых мыслей. – Я старый, ты малый…

– Она пойдет! – горячо говорит ребенок и вдруг целует мою руку.

– Кто это тебя научил руки целовать? Что люди подумают?

– Вы же священникам целуете!

– Так священнику – положено! Он – духовное лицо!

– Это вам! А мне, так вы – духовное лицо…

– Тьфу на тебя! Совсем от рук отбился, бродяга!

Нам сигналят из проезжающих машин. Выглядим мы с Алешей посреди бетонки странно, но прилично. На мне шикарная куртка и малиновые ботинки. Алеша – со школьным ранцем на спине.

– Братья и сестры! – громко и внятно кричу я людям в автомобилях. – Среди вас врачи, ученые, учителя, музыканты, инженеры бывших оборонных предприятий, офицеры, преданные командирами, инвалиды войн, детства и труда – все категории и слои населения, на чьих плечах держалась страна. Наш дом – Россия – разорен и перезаложен! Все вы нынче – нищие, господа, а не одни мы с Алешей!

И Алеше уже весело, он хохочет, как на рождественской елке в детском доме.

Ах, нам бы с Алешкой, с Аней и Ваней деревенскую бы усадебку, эти кусты акации, тенистые аллеи, кисейные занавески на окнах и жужжание пчел над цветами жасмина! Где ты, мой тихий некогда Китаевск? Куда сплавился по реке времен? Где серебряная чешуя многая рыбы? Где черно-пестрая корова Пятенка с печальными глазами индианки?.. Где сороки с вороненым опереньем, которые ранней осенью слетались на музыку моего магнитофона и устраивали воздушные танцы?

Но – чу! Тишина…

Наверное, господа ученые собрали ядерную бомбу из запчастей, которые скоро поступят в свободную продажу.

12

Мы стоим и ждем Медынцева на первой автобусной остановке городской окраины. Алеша мучается: видно, хочет закурить, но стесняется меня. А я приплясываю на холодке, примерно не курю и продолжаю мысленно обзор своего доклада, который за пятьсот долларов напишу все же для президента Лиги нищих Юрия Сергеевича Медынцева. Куплю новый германский велосипед, а остальное положу на блоки для возведения храмовых стен.

Алеша вещает. Действительно, что это за бубенчик? Это голос Алеши. Он рассказывает мне про свою влюбленность:

– … Она с ним ходит, как Хромосома Жирная, он ее за все руками – хап! хап! А я бы ее любил, руками бы не трогал! Нет, она с ним! Вот у меня в сумке – все чистое! Ногти – стригу, зубы чищу, дезодорант – ношу! Ну чем, чем он лучше меня, дядя Петр? Он ворует – я нет! Я только

Христа ради прошу, причащаюсь, исповедуюсь! Почему ей вор дороже нищего?.. – слышу я голос Алешиного одиночества.

– Правильно, Алеша. Если женщину любишь, то руками ее лучше не хапать! Но, может, у него голос толще и доходы выше? – говорю я на это. – Или, может быть, язык лучше подвешен! Может быть такое?

– Да нет! Он вообще глухонемой!

– Значит, Алеша, она его жалеет… Он, может быть, заменяет ей собою куклу! Подрастет вот, одумается.

– Кто? Она?

– Она! Смотри: солнце взошло! Хорошая примета, Алеша! Значит, вопрос слива режима в Кремле – дело ближайшего времени. Тогда определим тебя в школу, где кормят бесплатными булочками с маком.

– Да… – кривит лицо Алеша. – Мечты одни… Вам, может, школа тоже куклу заменяла!.. Учились на десятки, дядя Петя, а вас кинули, как лоха!

Я останавливаю его и даю звучного щелбана.

– Всё, терпению моему есть предел! Получай, паря! Во-первых, у нас были пятерки, а не десятки. Во-вторых, солнце взошло! А я помню солнце на баррикадах, да! С тех пор октябрь – священный для меня месяц. Так что я не готов слушать твои циничные реплики!

– Священный? – чешет он лоб. – Все у вас священное, я смотрю!

– Да, священный. Вот и смотри. Ровно десять лет назад, когда ты еще не был влюблен в Жирную Хромосому, воровское буржуйское кодло с мясом и кровью вырвало у народа сердце!

– Да ладно вам!.. У вас буржуйки были? – он слюнявит палец и трет им ушиб.

– Была…

– Как ее звали?

– Печкой ее звали, вот как ее звали… Не домна, не мартен, а именно – буржуйка…

– Нет, не то! Иностранки у вас были?

– Казашка была!

– Тю-ю-ю!

– И одна немка!

13

– … Ну кто лучше – Чимба или я? – спрашивал я, закуривая для форса. – Кто, говори?

– Он…

– Ну, а чо ж ты тогда?!

– Ничо… – пожимала плечами юная немка Лиза Кёних и привставала на локоть, нависая над моим лицом. – А чо? – щекотала она мое лицо кончиком русской косы.

– Да ничо! – туша окурок о железную боковину койки, сурово отвечал я. – Немецкое отродье!

Мне было четырнадцать лет, ей семнадцать. Она подкладывала язык под щеку и начинала что-то там царапать, раскапывать, как альпийская сенбернарша.

– Ну, а чо ты тогда? – продолжала она тему. – Хочешь: вместе сфотаемся? Скоро фотограф придет…

– Да ты чо! – пугался я. – А если кто увидит?

– То-то! Чимба придет – кишки размотает! Слыхал песню: брюхантина распускает паруса?

Она лукаво смеялась. Глаза как два дефиса. Ямочки на ланитах, как скобки. Бугорочки, как куполочки. Нет, все же она меня частично любила..

… Когда Чимба вернулся с «малолетки», он не стал никому разматывать кишок. Он швырнул ее под своих недоумков. Это у них называлось тогда «пустить под транвай». Бедная Лиза Кёних! Теперь она, вероятно, счастлива и живет в фатерлянде…

Я продолжаю говорить Алеше:

– Да, солнышко! Взошло как по нотам! Что, разве не видишь? Добри ранок, панычок!

Алеша горько вздыхает, добывает из потайного кармана куртки зажигалку и начинает ею щелкать, говоря:

– Что мне солнце… – Сам на меня поглядывает. – А вы ноты-то знаете или так?

– И так, и этак! Я же пою на клиросе, а раньше пел свои концерты! Ты бывал в театре? Нет? А ты хотел бы летать, как птица?

– Не хотел. Зачем это босиком-то да по репейникам?

– Ты прав. Не мущинское это занятие. Может быть, двести лет назад… Хотя… Юра же Медынцев стал неплохим артистом! Заслуженным! Вот мы с тобой стоим, незаслуженно ждем его.

– А дядя Юра, он что – артист?

– Так уж получилось. Видел фильму «Советник из тьмы»? Не видел. А когда мы были твоего, Алешка, возраста, то нас хоть и силком, но регулярно возили в театры краевого центра. В оперетту. Или в Театр юного зрителя. И вот однажды мадам на сцене поет так с укором: ой, мол, Мыкола, ты, Мыкола… А он ей тоже с обидой, будто стыдит: ой, мол, ты, Олеся, мол, Олеся… Пока они так препираются, мы с Юрой Медынцевым идем в театральный буфет и пускаем слюну на великолепие витрин. Потом набиваемся помочь буфетчице потаскать ящики с песочными коржиками. И все отделение распиваем лимонад с песочниками. Она нам дала их бесплатно. «Бесплатно – вот эт-то да-а-а!» – говорю я Юре. А он мне: «Думаешь она нам дала бесплатно?» «Ну, денег-то мы же ей не давали?» «Денег-то не давали. А труд?» Понимаешь, насколько он умней меня? Я говорю: «Дак, это чо за Труд! Разве это труд… Это ж тебе не поля

окучивать, не воду с пруда коромыслом по сто ведер…» «Ты еще мал и глуп и не видал больших заслуженных артистов, керя, – учит Юра. – Она свои губы помадой накрасит, перо в чернилку умакнет и эти песочники спишет на утруску. Придет домой и еще в сумке принесет своим короедам. То бы ей грузчику на бутылку давать два двенадцать, а тут мы – два дурака. Понял? Икономка какая!» «Нет, – говорю я. – Она добрая». «Добрые, керя, это мы с тобой. А она умная». «А ты откуда знаешь, что спишет?» «Дак у меня же родная тетя, мамкина двоюродная сестра, здесь, в Горнауле, живет! Она в продуктовом киоске работает…»

Я не стал рассказывать ребенку, что мы заговорили с Юркой о женских телах.

– … Моя тетка такая муля! – сказал Юра, оглядывая гипсовое изваяние голой римской женщины в радикулитной позе. – А вот у этой, каменной – что? – он указал на статую и поскреб ее пальцем. – Фурункула слева, фурункула справа! А ну, Петруха, покарауль!

Встал на цыпочки, засопел, потрогал холмы.

– Тверды, – говорит, – как скалы…

Потом пошли смотреть и трогать руками другие голые статуи.

– Чо они голые-то, а? Баня сгорела? Или хламиды кто украл, пока они банились…

– Царизм их раздел! – просвещает меня Юрка. – При царизме народ жил очень бедно, Петруха. Потом родился Ленин и – вот! Видишь? Все обуты, все одеты. Нос в табаке. Ливер не бунтует. – Потом вскинул брови, почесал под пряжкой школьного ремня пуп и говорит: – А ведь у вашей Аньки – тоже есть… кое-что!

Будучи идеалистическим подростком, я стукнул его легонько за честь сестры. Он не ответил мне, а только со свистом втянул в себя воздух, почесал затылок и оправдался:

– Я ни причем! Я не трогал…

Мы шли дальше, но трогали уже пунцовые и синие бархаты портьер.

– Бархат?..

Сказка.

– Бархат…

Сказка!

Приблизительно так же мы с ним проводили театральное время и в тюзовском буфете. Кто знал тогда, что Юра Медынцев станет известным артистом, а потом создателем корпорации пишущих всея Руси.

– Теть, может, что поднести?

А на сцене летчик Николай Гастелло направлял горящий самолет на колонну вражеской техники. Невидимые артисты в оркестровой яме дули в трубы и били в литавры с таким пафосом, что песочники в моей глотке застревали. Я еще не знал тогда, что законно пью ситро, что все оплачено, поскольку перманентные революционеры обобрали моих дедов, прадедов, родителей, меня лично и героя Гастелло на поколения вперед. Конкретно могу назвать фамилии главарей последнего полутора десятка лет. Они все при деньгах и на

свободе…

Оркестр детского театра продолжал звучать в моей памяти, когда я услышал голос Медынцева.

– Э-й! Петюха-а-ан! Алеха-а-ан! Сюда! – кричит он из оконца «мицусиби», похожей на благородно-синий эмалированный чайник из нашего детства. Машина стоит на той стороне хайвэя стратегического назначения – это метров пятьдесят по прямой. Зачем же мы переходили через бетонку, как русское войско через Альпы? Рано, авто еще мало.

– Идем, Алеша, обратно. Напомни мне позже, что надо подать муляву в Гаагский суд от имени всех нищих новых суверенных держав! – говорю я, пока мы вновь пересекаем широченную бетонку. – Зачем вожди, которых я лично не выбирал, превратили в прах мою страну и в горстку трубочного пепла – мою светлую память о ней? Это они, чиновные воры, пиявки болотные, отняли у меня время моей жизни! Это они, упыри, в отличие от Бога, слепившего из праха человека, слепили из человека прах!

– Ого! – радостно, именно радостно, смеется Алешка. – Здо?рово говорите, дядя Петр! Вот бы мне так научиться!

Мы с ним как родня – старый да малый.

14

– Здоровеньки булы, керя! – говорю я Юре Медынцеву. Алеша бросает ранец на заднее сиденье и лезет следом, а я сажусь рядом с ним. – Тепло здесь у тебя. Вот рассказываю Алеше про дядю Сашу Шуйцына. Ты помнишь Шуйцына дядю Сашу? – спрашиваю я своего вечного друга, перекрестив лоб.

– Мюнхгаузена-то? История! – смеется розовощекий Юра. – Да век не забуду, керя! А ты знаешь, что он, оказывается, даже бегло читать не умел? А шкаф-то этот с книгами у него стоял как акция прикрытия!

– С чего это ты взял? Хотя Буш-младший, говорят, тоже не умеет читать.

– Бушу читать не обязательно, у него советники. А я встретил Жеку Шуйцына в Москве. Недавно. Выпили по чутушке, вспомнили нашу территорию. Он сказал: тятя, говорит, ни читать, ни писать не умел. Притворялся. А книги ему завещал маршал Рокоссовский, которому батя, мол, спас жизнь. Завещал с условием, что тот читать научится. «А зачем ему было читать? – говорит. – Он и без того видел "гад подземных ход"!»

– Во-о-от! Ты ему верь! Жека еще тот Мюнхгаузен, сам дядя Саша бы шапку снял!…

– А ты не думаешь, что дядя Саша юродствовал, Петюхан? Что все наши советские чудики – это русские юродивые?

– Недосуг мне думать, – говорю. – Днем думай, ночью думай, в степи, в постели думай. Ты у нас думай, а у меня работа…

– … Скажи, керя, сколько же из нашего поселка больших людей вышло, а? – слышу я голос Юры. Но дремота клонит голову, и, приваливши ее на сгибы локтей, я закрываю глаза. До места ехать еще около часа. Но сон не идет.

– А сколько их оттуда не вышло? Ты Улю Медный Пуп помнишь? Слушай поэму! Название –

«Уля – Медный Пуп».

– Давай! – весело говорит бодрый Юра.

Оказывается, можно внушить себе все, что заблагорассудится. Так я внушил себе, что мои занятия литературой – пустая трата времени. Возможно, дамбу я выстроил, но так ее подмыло водой одиночества, что я уже и Алешке готов читать свои опусы, и степи под сорочьим снегом. Усталая Аня оглохла.

«… Я не помню такого, как он, вратаря, Медный Пуп его кличка и – Уля. Только встанет заря – он втихаря возле стенки ларя в карауле. Он об стенку колотит резиновый мяч, карауля его на отскоке. Стонет угольный ларь – беспощаден палач, и удары, как молот, жестоки. Это Уля готовится к новой игре – в синяках, как индеец в раскраске, сын горняцкий, чей папка погиб „на горе“, не в какой-то индейской Небраске.

Уля сдержан. От боли не плачет.

Хоть записывай Улю в апачи.

Он во взрослой команде стоит вратарем, он по-девичьи строен и тонок, хоть и стал огород под окном – пустырем, хоть и стены в избе – из картонок. Отутюжена форма. Щитки, как броня. Загорелые ноги, как струны. Он, как Хомич, прыгуч – хоть асфальт, хоть стерня: оттолкнется – и ахнут трибуны.

Уля сдержан. И знает лишь мама —

Он в московское метит «Динамо».

Он со звоном мячи принимает «на пуп» – это тренерское упущенье. А когда он приходит по праздникам в клуб, то краснеет, как дева, в смущенье. Все гордятся, что Уля карьером рожден, все суют ему, бедному, краба. Только Чал, что был трижды на срок осужден, насмехался: «Он, часом, не баба?»

Уля сдержан. Он знает, что скоро

Заберут его дяденьки в город.

А однажды сломалась машина игры, когда Уля взял «пендель» от Чала. Все качали его, теребили вихры, дружно публика Улю качала. Кто-то сдернул с мальчишки трусишки – оп-па! Та же публика – в хохот: «Поди ж-ка!» И шумела, ревела жестоко толпа. И рыдал оборванец-мальчишка.

И ушел. И повесился Уля.

Он в подземном теперь карауле…»

Алеша дремлет. С лица Юры не сходит улыбка Данко, встречающего счастливую старость на Канарах.

– Я буду ее читать людям! Ты когда успеваешь-то? Такие вещи печатать надо – пусть народ читает, знай наших!

Вспомнил он футбольные подвиги нашего детства и снова говорит:

– Петюхан, а отчего его Дуней звали?

– Думаю, что из-за голоса. Помнишь, как он фикстулил?

– Ах, ты Петька! Ты же, Петька, поэт! Отчего ты книжек, Петька, не пишешь, а покойникам сказки рассказываешь? Ты же свой талант в землю на три метра зарываешь, Петька, вместе с этими покойниками – это ведь грех!

– Стихи – это вторично… – неискренне говорю я. – А вот отчего ты, Юрка, не идешь опять на сцену, а сделался Царем нищих всея Сибири?

– Извини-и-и! Стихи не вторично! Стихи душу в человечине будят! – говорил Царь нищих, ловко обгоняя попутную машину. – А моя роль – это роль, за которую я плачу себе сам и обхожусь без продюсеров! Это моя лучшая роль, и таланта я не закапываю!.. И по городам и весям не кантюжу…[18] Это – перспектива! Кто-то сказал, что общество будущего – это общество кочевников, номадов. Они не имеют никаких пристрастий. Они, как и деньги, свободно перемещаются туда-сюда. Вверх – вниз, влево – вправо. Туда, где это выгоднее…

– Это для безбожников, – говорю я. – Для нелюдей…

– А ты что: стал таким уж набожным? – мы встречаемся взглядами в зеркальце заднего обзора. Рыжие глаза Юры смеются. – Ты-то, греховодник?

– Боюсь, что да. Потому что греховодник. Все иное ведет в тупик… Кочевье – тоже. Вон посмотри: цыгане – и те осели…

15

Было, к нам в Китаевск потянули вербованные люди, брянские с рязанскими. Приехали девушки с иным, певучим говором, с иными именами. Были среди них Софья, Бэла, Мирра, Эвелина. На праздники поселковые мужи стали надевать яркие цветные и белые рубахи. После праздников висели на бельевых веревках между жилыми вагончиками-балками красные, желтые, белые. Они болтали рукавами, как пугала, и не давали летним птицам оставить на себе пометки. А зимой птица в Сибири не разгуляется.

Плотник-бетонщик Толя Богданов водки не пил, но и не выполнял производственного плана. Он курил кашгарский белый план и зеленую конопляную пыльцу под названием дурь. Толе в письмах присылали ее друзья. Они заглаживали дурь утюгом в уголок почтового конверта. Обдолбавшись, Толя прямо на полигоне нового завода играл на семиструнной гитаре и часто облизывал пересохшие губы. Голова его клонилась к деке, «канадка» падала на глаза, которые были мутны и печальны, когда он пел:

… Есть в Ташкенте речушка Салара,
Она мутные воды несет.
А на той стороне – плановая,
Она мальчика нынче спасет…

Комсомольцы и комсомолки млели и решались выпить, чтоб подпеть. Им, воспитанным на примерах борьбы за светлое однопартийное будущее, хотелось чего-то запретного. Они, как и я, четырнадцатилетний человек, никогда раньше не слышали таких понятных сердцу страдальческих песен. Я никогда не видел такой уверенной и грамотной гитары. Наверное, Толя был неплохой музыкант. Он не был хулиганом. Похоже, что он жил в среде, отличной от нашей. Никогда я не слышал, чтобы он назвал кого-то Сёмкой, Васькой, Валькой – только

Василий, Семен, Валентин. В бараке заводского общежития на рабочей разливанной окраине, где «Ж» располагались слева от входа, а «М» – справа, о Толике шептались все девушки. Они говорили, что Толик в бегах, что он скучает по родному городу Грозному, но если появится там – ему не жить. Он, как Фанфан-Тюльпан в волонтеры, завербовался в Сибирь и ушел от проклятой погони.

Искры камина горят, как рубины,
И улетают с дымком голубым…
Из молодого красивого юноши
Стал я угрюмым, больным и седым…

Он пел и узкими пальцами легко, как девичьи волосы, перебирал струны гитары. Девушки обнадеживающе смотрели на него:

«Дурачок, милый маленький дурачок! Да вот же мы – женский штрафбат! Ты цены себе не знаешь!» – говорили они безмолвно, их мысли порхали вокруг Толи, как птички-колибри.

Они сами вибрировали, как струны или как вибраторы на полигоне бетонного завода.

– … А что же мне делать, коль юность утрачена?
Что же мне делать, куда мне пойти? —

спрашивал Толик.

Девушки сладко затаят дыхание, а Толик выносит приговор любви:

… Нет, не пойду як тебе, сероглазая,
Счастье искать, чтобы горе найти…

И девушки-комсомолки уходили оплакивать неприступность Его Величества Вора.

Было ему лет восемнадцать. Мне пятнадцатый. Он как-то доверчиво выделил меня из всех, приходил к нам домой. И мама, жалея, пыталась его накормить. Когда Толика выгнали с завода по тридцать третьей, она приютила его, печального демона – духа изгнанья, как родного. И если бы он сказал: «Приведи мне свою сестру», – я привел бы. Все равно она, бедная, уже была не раз бита отцом за любовные дела, а я мог только мечтать о таком шурине. Я думал тогда, что если парень ночует с девушкой, то это – любовь. Это значит, они копят деньги на комсомольскую свадьбу и на платяной двустворчатый, чтобы – поровну, шкаф. Но с девушками Толик, тоскующий о чем-то непонятном простым смертным, замечен не был. А вот поесть любил, особенно когда «забьет косяк» анаши и «пошабит». На печальном его лице тогда появлялась счастливая улыбка. Обычная молчаливость оставляла его. Тогда он мог махом съесть булку сухого хлеба за шестнадцать копеек, недавние рубль шестьдесят. А за двадцать четыре, белого, мог заглотить две булки, не жуя.

Он говорил:

– Кумарит, Петр. Могу еще булку оприходовать. Понимаешь, Петр: если человек поверил в свои возможности, в свои силы, то его возможностям не будет предела. Это – истина. Если ты в глубине души ощущаешь себя жалким кроликом, то ты – ничто, имей даже жесткие мускулы, как у Тарзана, и мягкое пузо, как у начальника отдела сбыта Кубрака. Так что ты к Бэле-то подкатись, не бойся… Поверь в себя, отрок. Людей губит страх. Страх губит любовь. Спеши, а то к ней Георгий Хара уже подкатывается на новом велосипеде с фарой, ментовская мразь…

– Почему ментовская… это… мразь? Он в институт… это… готовится!

– А станет – ментом… – позевывал Толя. – У него судьба такая…

– Я с ним не справлюсь…

– Я тебе помогу… Не дай Бог, он тебя тронет…

– А что ты ему сделаешь?

– Зарежу! – сказал Толик и снова зевнул. – Ча-ча-ча!..

– Не надо его… это… резать, Толик! – не стесняясь своих человеческих чувств, попросил я. Вспомнились Жоркины отец и мать – вежливые носатые греки с выпученными влажными глазами. – Мне… это… я… того… не люблю я эту Белу…

Он сказал тогда:

– Ты – копия Печорин! Любовь, горы, анаша… Ты, Петр, – человек необычный. Но борись с этим самым «эта»… Девчонки – они чистую речь любят, чтоб она лилась. А не можешь говорить – молчи, дыши, но блистай взором…

– Я могу говорить!

– Кто же спорит? Но «этта-валетта» – не катит! Борись, а я посплю тут у вас. У вас тут… это… прохладно… Мух… это… нет…

– Матушка пижму в сенях развесила. Они, мухи-то, боятся пижмы… – начал было объяснять я без «это», но Толик уже спал с печальным лицом. Я взял его гитару и пошел на крылечко мозолить пальцы.

Благоухало лето.

Собаки лезли в тень своих будок, а выходя из них, с тупым недоумением нюхали пустые миски – стояла жара, кому есть дело до собак? Дымилась черемуха. Квохтали наседки. Кружил распятый в поднебесье коршун. Где-то родные мои земляне крутили патефон. В логу, на запруде, из которой по вечерам брали воду на поливку капусты, мылся и фыркал Жора Хара. Сверкающий велосипед «ЗиЧ»[19] с фарой, похожей на лимонку, и с ручным тормозом, похожим на рычаг, которого не хватало Архимеду, лежал на травяном тканье берега. Желтая китайская рубашка укрывала от жары ведущее колесо, как теперь желтая тень Китая укрывает ведущие мировые державы.

«Давай, давай…это… – думал я, глядя на Жору и его велосипед… – Мойся… это…» – и яростно брал семиструнный аккорд.

– Мизинец, мизинец! – слышал я из открытого окна сонный голос Толи. – Мизинец включай!

Все лето и всю зиму он жил у нас. Уходил, когда захочет, и приходил. Я начал играть по струнам, по всему грифу, а не аккордами, превзойдя в этом учителя. Толя был на седьмом небе. Но что же подвигло его спуститься ниже горизонта?

16

Нам, русским, нужно величие в наших чувствах. Нам неинтересно, когда нет драйва. Из

глубины поношенной памяти, из тундры коварно-денежных отношений выплывает образ отечески мудрого, справедливого, смелого, как Кудеяр, героя соври… соврю… современности.

И вот однажды поутру по мирному нашему Китаевску пошел пал веселья: чего нам война, когда орсовский магазин ограбили! Хе-хе! Редкий человек, кроме участкового и бригадамильца Жоры Хары, возмущался проделками шантрапы. Люди загадочно улыбались, подмигивали один другому, другой третьему с пониманием: мол, и у нас, как у людей. А Юра Медынцев все время подмигивал мне. Так одобрительно, будто это я без спросу взял в магазине ящик водки, семь кило чайной колбасы, полмешка питерского беломора и все восемнадцать цыбиков китайского чаю – подчистую.

– Хорошо, да, людям? – говорил он. – Пей чай и чайной же колбаской заедай с опаской. Хлеб – на фиг! Вкусно! Да, Петь?

– Чо ты… это… ко мне… это… цепляешься-то? А? По сусалам… это… захотел, что ли?

– Я-то причем? К вам же дядь Миша-уческов с Жорой-грекой пошли, не к нам же!

– Бежим!

Дома участковый с Жорой беседовали с моей мамой. Оказалось, грабители приставили к спине мирно дремлющего сторожа дяди Анания гвоздодер и приказали ему:

– Хэндэ хох!

Дядя Ананий был дважды ранен и контужен на фронтах. Он не хотел умирать и выполнил команду. Но обиделся.

Он сидел за нашим обеденным столом и горячо объяснял каждому, кто входил, с кержацким «щ» вместо «ч»:

– Я що? Я думал – сплю! Во, глянь: трясет по сю пору, щомер их изломай! И это мне, фронтовику, они по-немецкому командывают!

– Похмелись – трясти не будет! – строжился старшина участковый. – Похмелись! В тюрьме не дадут!

– Що? Кака така тюрьма?! – махорка сыпалась на его трясущиеся коленки под застиранными брюками. – Я думал – сплю! Я инвалид войны!

– У вас, значит, ничо не пропало? – спрашивал маму участковый.

– Ничо… – отвечала мама. – Чо у нас брать-то?

Участковый поглядел на печь, на черную тарелку радиодинамика, на свой протокол:

– Ну… облигации там… Проверь!

– Ой, Миша! Да кому они нужны-то эти самые объе…

– …гации! – ловко вставил дядя Ананий. Никто, кроме меня, не оценил его ловкости и не засмеялся.

Я смеялся и не знал, что Толик Богданов был среди грабителей, что готовился в дальнейшие

бега и что по-деловому прихватил с собой мое стеганое одеяло с пододеяльником в полоску.

… То, что человек может переживать мнимое пережитое острее, чем настоящее, – загадка. Память догоняет, как истязающий кнут. Если повезет, конечно. Тогда и осознаешь свои грехи.

Я так и не смог обидеться на Толика. За что было обижаться? Я – в отца, а тот последнюю рубаху, бывало, отдаст. Разве плохо я научился играть на гитаре? А расплатился алым стеганым одеялом. Много позже, когда профессия перестала кормить, гитара помогала мне добывать хлеб насущный. Толя подвигнул меня заняться речью, и я увлекся, стал литератором и ученым. На что обижаться, если счастливо пожил среди настоящих людей?

Эти люди из моего детства ломали камень вручную. Они рвали его аммоналом, они мерзли в балках, землянках, вагончиках – они строили завод. Им позже всучили ваучеры: теперь вы акционеры. Первостроитель, а ныне акционер, дед Клюкин плакал от радости – обломилось и ему, как от куска медовых сот! А уж сколько он горя видел – про то, как говорили в старину, знают лишь его грудь да подоплека. Дряхлые, уже схоронившие жен, сядут они с земляком Ананием да со старым козаком Гринько выпивать пшеничную – дед Ананий-то все деду Клюкину подливает:

– Пей, Исидорыч: ты больше горя видел! А щас, вишь, наша берет!

И Гриц каже:

– Та пий, куме! На тім свити не підносят рабу Біжэму горшки, гей, гей!..

– Мы – не рабы!

– Рабы – не мы! – грозится в небо пальцем Исидорыч.

А козак Гриц розмовляе:

– Раби сього світу будуть рабами й на тім світі…

– Эх, пить будем, гулять будем, а смерть придет – помирать будем! – орет Исидорыч, пучит глаза и – в загашник за четком. – Была-не была: рупь добыла, овес продаст – ишо рупь даст! – шинкует он присловья, как октябрьскую капусту.

А птички кругом поют. А козак Гриц на черные глаза уже слезу пустил от умиления чувств. И, тех птичек небесных перебивая, мовит:

– Гей! У неньке – файно[20] було, мій діду каже! У в день похорону витягли човен на берег… Оперли на підпори, а наоколо поставили, каже, ідоли в формі людын. На човен поставят лавку, застелют килимами, грецьким шовком і виложат шовковими подушками… А вгорі над нею зробили намет, со робила баба, що доглядала всіх тих приготовань, вона ж забивае дівчину; іі звуть, каже, «ангелом смірти». Небіжчика одягнут, як найбогатше: в шовкову свиту з золотими удзиками, на голову соболеву шапку з золотым вірхом – і посадят в кameті на лаві, підперши подушками! Коло нього поклали, каже мій діду, напиток, овочі й пахучі рослини та зброю його; розтяли собаку й кусиі іі положили теж коло нього; теж зробили з двома кіньми, поганявши іх перед ним, з двома коровами, півнем і куркою… Хо!

Да позевнет этак Гриц с потягом, да и слезу утрет:

– Ни-и-и, козаче… Туточки, кажу, тіж файно! Гей!

Дважды раскулаченный Исидорыч рад уважению от властей и соседей. Хряпнет тюбетейкой, как у Максима Горького, оземь, штанину завернет, чтоб «не заело», молодецки скакнет на велосипед – и в магазин за еще одной.

Он дожил почти до ста лет. Он вставил ваучер в рамку. Он повесил ту рамку за петельку на стенку, среди почетных грамот исоусированных фотопортретов. Позже, когда все лохи обменяли «чубики» на слезу зеленого змия, умный дед Клюкин оставался верующим в именной капитал. Он умер с улыбкой в обнимку с ваучером. И никакой ему не надо уже шелковой свитки с собольими шапками.

Жора Хара, как и предсказывал Толик Богданов, стал ментом. Окончил заочно свердловский юрфак. Вышел в ментовские генералы. Сам жулик, он загубил много невинных душ, пока понял, что сам жулик. Его греческий родственник с Кавказа заправляет теперь всей хлебной торговлей в крае…

За минувшее после расстрела Верховного Совета десятилетие с карты России сметено одиннадцать тысяч сел и двести девяносто маленьких, как наш Китаевск, городков! Это называется, их как Фома куваржонкой[21] смахнул. Еще тринадцать тысяч деревень – малых речушек, впадающих в русское море, – лишь числятся живыми. Вычеркнуть их из реестров живых населенных пунктов не могут потому, что там кто-то остался прописан… Но главное – эти «мертвые души» голосуют. И голосуют они за смерть своих родных – тех, кто жив и дышит.

Так жили мы, Божий дети, в счастье неведения.

В это же время «центровые» дети жили как иностранцы в колониальной туземной сторонке. В итоге в *этой стране* иностранцами оказались дети рабочих бараков…

17

«Мало земель в свете, где Природа столь милостива к людям, как в России, изобильной ея дарами. В садах и огородах множество вкусных плодов и ягод: груш, яблок, слив, дынь, арбузов, огурцов, вишни, малины, клубники, смородины, самые леса и луга служат вместо огородов. Неизмеримые равнины покрыты хлебом: пшеницею, рожью, ячменем, овсом, горохом, гречею, просом. Изобилие рождает дешевизну: четверть пшеницы стоит обыкновенно не более двух алтын…» *(Н. М. Карамзин).*

Нынче же оглядись и увидишь: Россия окончательно превратилась в колонию содомической Москвы.

А в прошлом двадцатом веке в сельском городке Китаевске хорошо жилось тем, кто ни на какие коврижки не променяет степного, чистого воздуха, бесчисленных синих озер и цветущих под окнами домов розовых мальв да бордовых георгинов – на городские собачьи скверы.

Зимой на стеклах окон расцветали букетами снега и льды, очень полезные в похмелье, когда упадешь в них то одной щекой, то второй.

Зимой сельские горожане шли на подледную рыбалку, а летом – выезжали в степь на шашлыки или, как любил произнести кавказский грека Хара, «на щашлыки» – с ударением на «ы». Красноглазый Грека – Иван Георгиевич Хара – был одним из главных воротил в торговле житом. Он метил в депутаты, то есть хотел стать всенародно избранным людьми городка Китаевска и выражать интересы своих будущих доверителей словами и телом. Тело его смотрелось как пыльный мешок с житом. Русская журналистка Наташа Хмыз, которую он

«танцевал», звала Греку глупым пингвином с ударением на первую «и». Ему нравились птицы пингвины. А с русскими он окончательно не разобрался, считая русских уходящим народом, но тайно обижался на то, что Наташа зовет его «чуркой».

Ведь изволь Грека – и она будет по утрам наводить палубный глянец на его вставную челюсть. Захочет Грека – и она прекратит чувствовать свой змейский язык потому, что этот язык у нее вырвут прямо изо рта, где он привык перекатывать пустые слова. Для утверждения веры в себя Грека иногда делал глазки некоторым смешливым Наташиным подругам-девкам, намекая, что он не прочь инвестировать свою кредитную карточку в любовь новой избранницы. Девки закладывали Греку Наташе. И когда они вместе смеялись над ним на Наташиной кухне, то Грека легко прикидывался безъязыким дураком – он тоже смеялся с ними, как не имеющий души.

Звали его Иваном Георгиевичем. Он был в том возрасте, когда удача сходить по большому становится истинным счастьем для живого существа. Даже русский поэт-юноша Пушкин вскользь, но со знанием дела, писал об этом. Иван Георгиевич знал Пушкина выборочно: «Татьяна, я с кроват нэ встану…», например.

Он плохонько говорил по-русски, но хорошо понимал – так удобней. Еще лучше понимал он внеземной язык цифр, поскольку они были арабскими и одинаковыми для всех калькуляторов земного шара. Он вырос в причерноморской греческой колонии, где говорили на смешенье языков, и нужды ему не было. Русским, похоже, нравилось, если какой то ни будь иноземец-очаровашка начинает гугукать, как преступник, который валяет дурака на дознании. Для их удовольствия грека называл самолет паровозом, а вместо «она» говорил «он». И наоборот. Это не составляло труда.

– Почему я «он»-то? – смеялась Наташа. – Я – она!

– Кито? – озирался набоб с притворным страхом и напролом льстил: – Нэ-эт! Ти – он, ти чальвэк с болщой букви!

Тогда королева жалела бедного богача и поглаживала розовой ладонью его пыльные от седины волосы.

– Твоя седина не от мук. Она от муки… – сказала королева однажды. – У тебя волосы в муке…

Как Хемингуэй, она записывала каждую ловкую фразу на столовой бумажной салфетке.

Русские, вероятно, принимали иноземцев за человекообразных. Раньше вот арапчат заводили. Они любили показывать диковину друзьям. И допоказывались до чеченских зинданов, где их самих никому не показывают.

А Наталья упражнялась в тестах:

– Ваня, давай сделаем с тобой интервью на радио, а? Вот ты, например, решил удрать в какую-нибудь страну, например, тюльпанов, Ваня. В Голландию. Вынул ты, Ваня, авторучку, пришел в посольство, заполнил анкеты, а тебе говорят: «Извините, но вы не голландец «Ван»! Это наши ван – луковицы! И ван-тюльпаны – тоже наши. Мы сами их нюхать будем! А вы домой: кыщ-кыщ! кущат сладкий киш-миш…» Как ты, Вано, сюда к нам-то попал?

– На паровозы; прыехала… Я – гражданынка Расыи…

– Ой, Ваня-а-а! Да ты у меня как Ленин!

– Нэт, мнэ нэ лэнь! Но зачэм на забор бэли краска пысать: «Аддай сухары, Грэка!»

– На забор писать нехорошо. Но опять же: какие у нас в Китаевске заборы? Так себе… Заборишки… Тын да прясло… Просто такие вот господа, как ты, скупили все газеты и не дают русским людям высказаться. Вот они и пишут на заборах. Пока из них чучела не набили… Ты, Ваня, пиндос?

– Нэт, нэт! – пугался Грека. – Пиндосы – это балаклавские грэки… Я – кавказьец…

– «Кавказьец» – это порода собак, – резала эротическая богиня. – Кстати, ваш Михаил Саакашвили – брат-близнец Димы Рогозина.

– Всэ люди – сестры!

– Да? А где твой сестра Миша Чкония? Не знаешь? Я тебе скажу эксклюзивно: она, твоя сестра Миша, душегубец, мотает срок за похищение двух граждан, которые почему-то оказались покойниками. Почему ты-то, Ваня, на воле?

– Э-эй, Наташа! Ти – шовынист!

Да, все народы на земле, к огорчению Греки, делились на нации. Но и продавались все их чиновники, к его горькому удовольствию, хоть и не все чиновники – мерзавцы. Исключения же лишь подтверждают правило. Всем «надо жить» – у каждого на шее семья и начальник пирамиды. Грека классически хорошо шел вверх на одних рефлексах. Он не знал, что первое правило колонизаторов – уничтожать капитализм аборигенов в зародыше, но действовал, как дипломированный выпускник Гарварда.

– Ваня, а в греческом парламенте русские депутаты есть? – спрашивала всегда готовая смеяться Наташа.

– Ест… Ви Грэции все ест… – грамотно, по-абдуловски цитировал Грека. Впрочем, в нужной компании он рассказывал о своих еврейских корнях и корешках и о дальних родственниках, проживающих в Израиле.

Наташа смеялась до слез.

– Куда тебе в евреи, Ваня? Те-то по-русски стрекочут, как пулеметики! А ты – простой сачок!

– Сачок – это чем бабушку ловят?

Наташа была, что называется, женщина без комплексов, душа компаний. Чуть удлиненный нос, за который ее еще в детстве прозвали Флюгером, делал ее неотразимой. Грека страстно мычал, глядя на этот нос. Глаза его обволакивались влажным туманом чувств. Наташа могла поскандалить, много курила и пила, она пела, как птица, и танцевала, как балерина. Казалось, она не заботилась ни о себе, ни о своей репутации, ни о благорасположении Греки. Однако тот был хоть и староват, вороват и тороват, но, похоже, привязался к Наташе. Она запала в его память, как амфора, точенная на древнем гончарном круге, как метафора Теодоракиса, как первая кровь из носу. А на Восьмое марта он перебрал водки и, одержимый пьяной яростью, чуть было не разбил этой «амфоре» лицо. Сам же потом едва не повесился в ее крошечной ванной, оказавшись бессильным перед змейским языком своей дорогой блондинки. После того Наташа выгнала его вон.

Грека в костюме от Бриони третью ночь жил в своей «тойоте» под окнами возлюбленной,

чтобы показать ей, как он страдает и как он раскаивается. Под днищем авто стала привычно приночевывать пеструшка-гулена.

Словом, деньги – в достатке, страсти – в остатке.

18

… Предпринимательство – понятие лукавое.

Если дельцов поровну развести по общим камерам, то одна камера будет дружно кричать, «то бизнесу нужна мощная правовая база и новые законы, а другая – неустанно утверждать, что законов и так слишком много. Хороший прокурор и тем, и другим добавит.

Грека знал простую истину: дешевый хлеб дорого стоит.

Как бы ни вертелись русские под жерновами перестройки, а хлебный бизнес в России будет по-прежнему приносить его хозяевам миллионы долларов. Хлебный кус в руках и хлебный вкус во рту сильней кнута, потому и в случае революционных перемен просто вырастут цены на хлеб. А пока большой ошибкой местных властей было ограничивать указами вывоз зерна или рушить местные бюджеты, сдерживая рост цен на ковригу хлеба для электората. Губернатор – не Христос, семью хлебами всем ртов не заткнет. Голодные люди станут вырывать у жующих хлеб вместе с их скорбутными[22] зубами. Глупо и ограничивать вывоз жита за пределы краев – регионы уже начали завозить дешевое зерно из Казахстана. В двухстах километрах – ближайшая граница с этим, неведомо откуда явившимся, ханством.

Отборная казахская пшеница с распаханных славянами целинных земель – самая дешевая в России. Но зато платить за нее приходится живой валютой и без всяких отсрочек. При этом некоторые поставщики казахстанской пшеницы в Москву покупают ее на границе с Казахстаном по цене выше тамошней среднерыночной – около девяноста долларов за тонну. Казаху даже верблюда навьючивать не надо. Грамотный Казах очухался после голощекинского Великого Джута, научился коммерции. Взял китайский калькулятор, загрузил его, загрузил «Камаз», сел – и потащил добро из дому. Туда – бабай, обратно – бай. А граница-то нового ханства с лоскутной Россией – вот она, под Омском. Где эмиссары Колчака? Нет Верховного Правителя Колчака. И уже сейчас по северу ханства разъезжают эмиссары Греки и предлагают Казаху цену выше, чем та, что готова заплатить тамошняя Продкорпорация.

Седой Грека отуманенно смотрит во тьме в ее сторону, и гранитно-алмазное слово «граница» в русском звучании чарует его. Русский народ хорошо продается. Он все еще ютится в утопающих в грязи серых деревнях и поселках, в убогих халупках, пропивает все: свою землю, свою семью, своих детей, свои последние портки. Не существует в мире более продажного народа, чем русские. Они многократно продали своих Богов, царя, потом всех этих ленинов, сталинов, Хрущевых, брежневых, Горбачевых, ельциных, которым клялись в верности. Они пропили своих героев и мучеников. Они продают своих детей на запчасти, их дочери и жены продают себя на улицах всех городов мира. Разве греки делают так? Русские разворовали всю страну. Воруют все – от президента России до тупейшего из портупейших милиционеров. Воруют горожане и горожанки, горничные и слуги, генералы и офицеры, солдаты и матросы, рабочие и крестьяне, партийные функционеры и депутаты Думы, русская легкая интеллигенция и творческие работники. Мало того что воруют – генералы и офицеры еще умудряются продавать ворованное своим врагам: раньше афганцам, а теперь чеченцам, даже несмотря на то что за ворованное они получают фальшивые доллары, анашу или самопальную водку. Воруют и продают врагу оружие и боеприпасы, аэродромы, секреты, армейское имущество, минометы, пулеметы и автоматы, танки, системы наведения, все лучшее из

арсеналов. Этим оружием их потом и убивают. Они, русские, – неандертальцы. Они пожирают жизненное пространство своих детей.

Грека спокоен. Он знает, что единственная опасность для него – демон демонополизации. Для нищих – она Ангел. Но Ангел уже не снизойдет. Свершилось: «Росхлебопродукт» под видом передачи прав собственности скупил элеваторы по всей России и может, если что, диктовать цены на муку. Никто не заставит юных мукомолов продавать муку, полученную из дешевого зерна, по ценам ниже рыночных. И растут, как бурьян на пустыре, множатся, как окурки у фабричной бани, итальянские мини-пекарни и уличные пирожковые центры. И растут состояния косцов бурьяна, который душит хлебные злаки.

За возможность «крутиться» на зерновом рынке следует солидный «откат» чиновникам в структуры, подконтрольные министру. «… Бедные, бедные крестьяне! Вы, наверное, стали совсем некрасивыми…» Знающие люди рассказывают, что на счетах сельского министра в западных банках работают до девяноста миллионов зелени. Вешать бы надо таких министров на горьких осинах, зажаривать бы в кляре в ласточкиных гнездах. А что перед ним Грека? Маленький, влюбленный, старый комсомольский жульман…

У хлебного бизнеса нет границ. Особенно, если твой друг – директор фирмы «Икс-Алт», а отец друга – мэр города Китаевска, где первые мельницы стояли уже двести лет назад. «Икс-Алт» – самый крупный здесь поставщик хлеба. Случилось однажды по весне, что руководителей мелькомбинатов вызвали в мэрию и в добровольно-принудительном порядке попросили брать зерно только у «Икс-Алта» и только от ста восьмидесяти «уе» за тонну[23]. Плевать, что у других поставщиков зерно такого же калибра стоило на десять «уе» дешевле. За «уе» не отвечаем. А кто откажет мэрии – брось «уе» в Греку.

После того случая фирму стали называть сурово и на немецкий манер – «Хальт».

А у «Хальта» есть оправдание: зерно мелькомбинатам фирма дает в кредит на пару-тройку недель и по ценам, закрепленным в долларах. От «невозврата» же поставщики застрахованы тем, что за ними стоит китаевский мэр и лично мэрский сын – Прохор Шулепов. Откуда деньги в хлебном бизнесе? Из банков. В Китаевске «нахлебников» кредитуют два банка, те, что связаны с мэрией: «Банк Z» и «АББА».

Откуда деньги в этих банках? Из бюджета города. То есть из кармана горемычных китаевцев. Жалкие эти китаевцы и стараются на зиму побольше капусты нашинковать да грибов по банкам разместить немеряно. Поскольку банки у них и мэрии разные, то и их капуста – тоже не родня.

Значит, любой обвал на хлебном рынке неизбежно приведет к кризису банков, которые его кредитуют. А банки эти кредитуют их – чем? Правильно, деньгами городского бюджета, которыми им высочайше позволено управлять. И всё пока идет в гору: прибыль при таком росте цен – сказочная.

– А обвались-ка неурожай! – говаривал в баньке за бадейкой ячменного пива Прохор Шулепов, сын мэра, голубоглазый гигант, нос которого светился на лице маленьким аленьким бурачком. – При ограниченной покупательной способности населения это приведет к массовому голоду, – он был дипломированный экономист. – Представляете, урожай сократился вдвое! Насколько повысятся цены на хлеб? Вдвое? Если бы! Цены вырастут раз этак в семь-восемь, а то и того лучше. Для ВВП. Посчитали? А преставившихся от голода лохов считать будет апостол Петр…

Девки в бане аж визжали от восторга, а гуттаперчивые их тела покрывались пупырышками озноба.

Прохор всю жизнь был трусом и, как все обретшие власть трусы, он хотел выглядеть человеком без нервов. Он был жадным трусом. Рассказывают, что бывший его друг, одинокий инвалид, попросил его купить надувную женщину к своему дню рождения. Прохор купил, но сначала поинтересовался ею сам. Надул школьного товарища. Считай, что изнасиловал и ту, и другого. Инвалид едва не убил его из гранатомета. Постоял за честь женщины. Где теперь тот ветеран двух войн – знает лишь Мать-сыра-земля.

Но Греке-то что до сих сплетен? Грека знает, что доходы его, грекиной, фирмы-поставщика, которой мирволит мэрия, достигают тридцати и больше баксов с тонны. Что там, выше – этого Греке считать не позволяют пробелы в начальном образовании. Калькулятор зашкаливает. Но Грека скажет другое. Он скажет главное, за чей счет делается этот бизнес. Спроси его на дыбе – и он скажет, что за счет американской гуманитарной помощи и будущего поколения русских. Американский хлеб фуражный, с картофельным грибком, почти без клейковины, зато в кредит и за копейки. Фуражный хлеб в малых дозах нужен хлебопеку. И если смешать его правильно с едовым – казахстанским, с алтайским или краснодарским, пальчики оближешь. Но кто же будет мешать правильно! Грека? Грека не будет этого делать. Он будет делать деньги. Будущее поколение русских тоже некачественное, но если смешать его с ребятами с гор…

Грека взбодрился. Дыба ему тоже не грозит: главный прокурор города ходит с ним в баню, а он – племянник мэра Шулепова.

Но рынок не может расти бесконечно… Где-то зреет обвал. И поедут «крыши», и банки девальвируют рублишко. Вот тут у Греки верхнее чутье. И он знает, что нужно «дэлат».

А пока он выбросил за окно окурок и отбросил мысли о своих милых манипуляциях, за которые в добрых западных странах сажают на нары, баланду и липкий черный хлеб, который подбросишь к потолку камеры, а он там и остается – прилип, как Грека к Наташе.

«Вот так вам, шкуркам! – наливается он силой и спокойствием, затем подмигивает темным окнам Наташиной квартиры, где спит она сама, обняв ангельского облика дочку. Он чувствует себя львом – главой прайда. – Кому вы нужны, кроме меня! Пойду, схожу…»

Грека вышагивает из апартаментов в неглубокую лужу, успевает начерпать в туфлю черной воды с раскисшим в ней его же собственным окурком. Однако ничто не смущает его львиного величия. Грека слышит, как в крови его возгорается. Это возгорается светлое чувство Наташиной спины. Он достает из багажника розы в бутонах, пересекает территорию дворика и входит с этими розами в подъезд засыпного двухэтажного дома, отстроенного пленными немцами на века.

Настойчивые звонки разбудили Наташу.

– Кто? – спрашивает она из-за запертой двери. – Кто здесь?

– Твоя жиголо – здэсь. Фыгар-ро – там! – шутит Грека, давая понять, что все происшедшее восьмого марта уже не должно огорчать голубков Наташу и Ваню. – Ти адынь? У тэбья нэ всье дома?

– Адынь, адынь, погоди… – отвечает она и уходит, чтобы вернуться.

Вернулась, открыла дверь – и в Греку полетели его сумки, его сумочки, подсумки, нессесеры,

бумаги и запасные записные книжки.

– Чего тебе надобно, старче? Корыта вашего в глаза не видела, брала его уже треснутым, вернула в целости и сохранности…

Она сказала это, запахнула халат и поглядела Греке прямо в глаза. Халат запахнула, но одно, лучшее в мире колено, она оставила нагим и продолжила:

– Не щурься, как на именинах… Я подам на тебя в суд за умозрительное изнасилование. Знаешь, что такое conceptual rape? Вот поезжай в свою гостиницу и готовь бабки. Да, это грустно, но нам заповедано веселиться…

Грека знал: Наташа, когда захочет, бывает холодна так, что в зажигалке сгущается газ, когда она держит ее в руках. Сейчас от ее ночного холода у Греки заныла искусственная челюсть…

– Нэ буд такым жестокым… – сказал он. И походя соврал: – Я отложил поездку в село Копылиха – ми едэм на Канары…

Она, как золотая рыбка, ничего не ответила. Лишь небрежно вложила запасную искусственную челюсть Греки в его свободную от букета руку, хвостиком халата махнула – и захлопнула за собой металлическую дверь.

Грека захлопнул рот, сглотнул. Он пошел обратно через двор, освистанный автомобильной сигнализацией. Он тихо плакал без ожидаемой ласки. Но нет ничего омерзительней плачущего от жалости к самому себе мародера и растлителя…

Своей каменной неприступностью Наташа навела Греку на неожиданную мысль. Он подумал, что когда-нибудь торговать русским хлебом и владеть русской собственностью будут эти русские бабы. Они будут решать – какую кому долю выделить, а не наоборот. Это право русских на их отеческой земле… Греке возомнилось, что все русские сговорились и своим стоическим безмолвием хитро приближают приход русской власти.

И она придет, если всем этим наташкам не помочь бесследно вымереть через пару десятков лет. Вместе со своей зыбкой – русским лесом – они должны уйти в черные и безводные пустыни небытия…

«Поезжай же ты, наконец, в свою гостиницу…» – давно и настойчиво сигналил его толстый кишечник. Смятенный Грека не посмел ослушаться, потому что уже вовсю пускал шептунов и нежданчиков.

Влекомый смутными потоками желаний, он поехал в гостиницу. В мощные лучи фар попала пеструха, отбившаяся от насеста, и, подскакивая в конвульсивных антраша с батманами, она бежала до самого выезда на бетонку…

Грека остановил езду и вышел из салона. Он решил сделать экзотический жест, поймать курицу, привезти ее живьем, прямо с «ко-ко-ко» в гостиничный ресторан и бросить поварятам на кухне с тем, чтобы сотворили сациви.

– Джип… джип… – начал он по-грузински разводить политесы с курицей, строить ей куры. Та стояла, обиженно нахохлившись в световой дорожке от фар. – Кути-кути-кути… – перешел Грека на ласковый местный. И тут с воплем «Отдай сухари!» его чем-то крепко приласкали по затылку. Показалось Греке, что ярко вспыхнули и погасли фары – это погасло его изуродованное сознание. Вот поди, подумай: где ждет твою умную голову кирпич-пережог?

19

– А ты что, стал таким набожным? – Мы с Юрой встречаемся взглядами в зеркальце заднего обзора. – Ты, старый циник?

– Похоже, что так.

Юра лишь пожал плечами.

– В святые метишь, керя?

– В царские опричники, керя.

– Нет, это напрасно. Оставайся на месте. Батюшкой станешь, а, возможно, и митрополитом. Мы, нищие, тебе поможем. А что? Я – царь, ты – патриарх! Алешка, едрена мать, ты кем хочешь быть?

– Здержинским! – не скрывает Алеша.

– Неплохо. Неплохо, и прямо по Маяковскому.

– Не знаю никакого Твояковского.

– Все равно заметано. Заявления пока не пиши. А что, Петюхан? Клобукоуважаемое священство очень даже неплохо живет. «… Радуйся, кукурузо, пище презельная и пресладкая-а-а…» Кстати, вспомнил старинный анекдот. Один богатый помещик пригласил в свою фазенду губернатора. Посреди церкви, как у вас принято, разостлали ковер и поставили кресло для вип-персоны. А местный батюшка во время самого богослужения разволновался, впал в умиление чувств: «Мир всем! – говорит и прибавляет почтительно: – И Вашему Высокопревосходительству!» Смешно?

– С огнем шутишь, псих, – сказал я, удерживаясь от смеха. – Главное, не бесплатно шутишь.

– В ад его! – говорит Алеша. – Пиши, дядя Петя, мне, Здержинскому, заявление!

– Не надо меня в ад. Бес попутал разок. Пойми, наконец, керя, что твоя голова нужна Родине! А ты: кукуру-у-узо! Едем в бункер.

Я посмотрел на часы – самое начало девятого утра.

– Включи-ка, керя, радио. Шалоумова послушаем на ходу. Как он тебе?

– О, да! Хорош! Твой будущий клиент…

Ведущий Шалоумов: «… Да полно-те, люди ли мы? Роскомстат объявил, что только в этом, две тысячи втором, году за восемь месяцев россиян стало меньше еще на пятьсот четыре тысячи человек. За полный год „минус“ вырастет до семисот, восьмисот тысяч. Представьте: каждый год в стране становится на одну губернию меньше! Их у нас всего восемьдесят девять, господа. И долго ли такое государство просуществует? А в это время в России, назло врагам, каждый день вымирает по две деревни… Что нужней государству: дети или покойники? Сегодня я беседую с майором Валерием Клячиным, представляющим наш так называемый убойный отдел. Скажите, Валерий, много ли у нас в Китаевске криминальных смертей?

Офицер Клячин: — Хм… Бывает, знаете ли, всякое… Вот в августе сего года в Зачумышском

районе… Сидит в надувной лодке рыбак, знаете ли, и вяло рыбачит в зарослях. Кругом камыш, вода. Глядь! А он в камышах, знаете… того… колышется…

Шалоумов: – Сом?

Офицер Клячин: — Да не-э-э, какой там сом?! Сома надо брать у Пижмихинского дебаркадера! А это – мужик, знаете! Труп! Мужик нас по мобильнику вызывает: так, мол, и так, примите, знаете ли, меры!

Шалоумов: – Я думаю, наши радиослушатели не совсем поняли, кто вас вызывает: мужик, или рыбак?

Офицер Клячин (шутит): – Догадайтесь с трех раз! Шучу. Мы приезжаем. С берега подобраться было, знаете, невозможно – непроходимый бурелом. Добрались вертолетом, еле нашли. Скелет только вытаскивали часа три! Намаялись, знаете ли, хлопцы…

Шалоумов: – Скелет?

Офицер Клячин: — Дак почему там и клев-то был – на ять! Кипела рыба! Объела она его, рыба-то, до самых до мослов! Скелет – не скелет, а уже и не человек, знаете ли. Все это добро оказалося бесхозным. Личность установить, знаете ли, никак не удается. Мы и объявления давали по телевизору, и фрагменты одежонки, знаете, показывали – пас! – тихо, как на сопках Маньч… Мандж… Понятно, да? А наши судмедэксперты решили сделать из бесхозного скелета наглядное учебное пособие. Что они получают, эти ребята, за свою нервную работу? А тут… такое, знаете, дело… Вот неделю они эти кости варили, очищали, полировали! То-о-о-лько, знаете, изготовили – и вот она приходит, гражданка с маникюром. Опознает в умершем своего родственника. По одежде, знаете ли. Оказалось, покойник числился клиентом психиатрической больницы. И на одежде у него имелась казенная метка! Так пришлось «пособие» разбирать и хоронить как нормального покойника, знаете ли. Во случай, да?

Шалоумов; — Делаем вывод, что лучше иметь метку на одежде, чем черную метку в почтовом ящике, или не иметь ее вовсе. Я вас правильно понял, Валерий?

Офицер Клячин: – Не совсем… После Чечни все здесь кажется, знаете ли, слегка смешным… И это печально…

Шалоумов: — Да-да! Но вот сегодня в ночь на воскресенье убили старшего лейтенанта Рыбина. Я знал его. Это был чудесный парень, который тоже, как и вы, прошел Чечню и остался жив. Сегодня воскресенье… Вдумайтесь в смысл этого слова, господа! Воскреснет ли старший лейтенант Слава Рыбин, улыбку которого долго не забыть ни его сослуживцам, ни тем темным личностям, которых у нас принято называть криминальными? Время пошло. Мне думается, что – нет, Слава не воскреснет. Слава в детстве считался умственно отсталым. Общественное мнение полагает, что в правоохранительных органах преобладают таковые. Не мне судить. Но одни из них – романтики, как Слава Рыбин. Другие – берут реванш за свое убогое детство: «А-а, умники, вот я вам ужо!» Что же есть психиатрическая норма? Вот Слава. Слава был добрым рыцарем, несмотря на то что сирота. Может быть, что и данная ему в детском доме фамилия Рыбин означает – ничей: ни папин, ни мамин, ни зверушкин, ни норушкин, а – Рыбин. Рыба – в воде, вода – темна. Тут и вспомнишь русские сказки про доброго Иванушку-дурачка, то есть умственно отсталого, по определению официальной психиатрической науки…

Офицер Клячин: – Что это вы меня сбиваете? Почему это он был умственно отсталый? У нас, знаете ли, в обществе, знаете ли, и поглупее есть! И у вас, как говорится! В детстве – да! – считался! Вы что, не знаете, знаете ли, что такое была есть совковая психиатрия? Потом паря

нагнал и даже, извиняюсь, перегнал некоторых! Такой был говорун!

Шалоумов: – По факту смерти – да, бесспорно обогнал! Но не оттого, что он, как говорят, не брал, не «крышевал»! Ему не страшна была служба собственной безопасности! А «не брать» – это, признайтесь, редкостное, это ненормальное явление нравственности в рядах сотрудников муниципальной милиции.

Офицер Клячин: – Почему? Ай, да ну вас, знаете ли! А Рябиков-покойничек – брал? Нет. А Сухожлин-покойничек? Брал? Нет… А… Этот-то, как же его… Покойничек тоже… По кличке Последний из удэгэ… Почему же вы так?..

Шалоумов: — Как да почему! А вы не трогайте покойничков. Оставьте мертвым – мертвое, живым – живое, а героям – вечная слава. Да вы посмотрите только: на ваших еще живых сержантах – весь золотой запас какой-нибудь России наразвес! И навынос! И с косичками, как пацаны, ходят ваши военнослужащие!.. А вы в почемучки играете!

Офицер Клячин: – Ой, не судите… – …и того… как же? Они кавказскую войну прошли! Да! Не судите и без судимостей, знаете, помрете!

Шалоумов: – Это так. Все, знаете ли, там будем. Или на помойке, как ваш старлей. Давайте обратимся к обстоятельствам гибели старшего лейтенанта уголовного розыска Вячеслава Рыбина. Итак, неделей раньше он потерял в неравном бою два передних и один коренной зуб. В связи с печальным уходом с театра государственной службы лейтенанта эти потери можно расценивать как неудавшееся покушение… Какова ваша версия убийства?

Офицер Клячин: — Ну, ну, ну, ну! Какой, знаете, театр?! Вы еще скажите: чеченский след! Никакого покушения не было. Чего же вы хотите? Время такое в городе! Лет пять-семь назад поступало в месяц около сорока мертвяков. А нынче в два раза больше за неделю! Озверели православные! Крушат друг дружку почем зря да в грехах каются! К примеру, за последнюю неделю сентября, например, поступило на семьдесят семь и семь десятых процента покойника больше, чем на тот же период две тысячи второго года. Внешние факторы смерти разные: на первом месте стоит удушение, на втором месте – травмы, нанесенные тупыми предметами, а третье, предпоследнее место, делят колото-резаные раны и отравления. «Огнестрел» пока отстает. В связи с наплывом криминальных смертей судмедэксперты дежурят по двое. И все равно не успевают. Особенно ночью. Начинается самая работа. Так и старший лейтенант Рыбин обходил ночью вверенный ему участок. Он увидел, что некий мистер Икс…

Шалоумов: – Какие вы ужасы рассказываете! Мистер… кто?

Офицер Клячин: – … Мистер бомж! Можно предположить, что этот мистер бомж, роясь в мусорном баке…

Шалоумов: — Но ведь мусорный бак – не сберегательный банк, хотя слова и однокоренные. Но чем же все же была вызвана острая реакция лейтенанта на естественное поведение этого нынешнего бомжа – типичного представителя экстремальной профессии и, насколько мне стало известно, бывшего учителя физкультуры?..

Офицер Клячин: — Вот! Таковым было отношение старшего лейтенанта Рыбина к несению службы. Вот представьте сами себя на его месте: вы идете по участку в районе улицы имени Серостана Царапина, пятнадцать дробь двенадцать. И вы ясно, как в телевизоре, видите себе, что некто без постоянного места жительства роется в мусорном баке. И складывает он добычу не куда-нибудь в пакет, а за пазуху. Вы крутите ручку настройки – и у вас возникает убийственно правильная мысль: не-спро-ста! Верно?

Шалоумов (удивленно): – М-м-м… Мне не совсем понятна ваша логика…

Офицер Клячин: — А-а, логика вам! Мы логику проходили, не волнуйтесь! А вот Рыбину, знаете, некогда было мычать: м-м-м! Он не мычал! Он кинул свое натренированное на тренировках тело на подавление сопротивления бомжа! Теперь уже неживой бомж – бывший учитель физкультуры, как вы очень верно заметили, оказал ему прямо, знаете, таки… фашистское сопротивление! Об этом можно судить по количеству фонарей и ушибов на фэйсе и торсе Славы Рыбина! Но некто под названием «третья сила», этот некто третий убил их двоих вместе из огнестрела! Кто он, этот фантомас наших дней? Над его разработкой сегодня трудятся лучшие умы нашего районного отдела милиции. Заведено уголовное дело! Ведется следствие! И, будьте уверены, мы изобличим и покараем этого козла! У нас это дело – но пасаран! Впредь никому неповадно будет подымать свою волосатую руку с пистолетом Токарева на сотрудника нашего подразделения! Запомните! Нас, знаете, не мочат – мы не мочим, а замочат – спуску не дадим! Это я *вам* говорю!

Шалоумов: – Вы мне-то уж, пожалуйста, не грозите!

Офицер: – А я вам и не грожусь – я предупреждаю через вас наших потенциальных убийц! Пусть они знают: всех отловим – и мало не покажется! А прокурор – добавит! Добавит, я прямо, знаете, вам скажу! Слово офицера – добавит! Догонит, знаете ли, – и еще наддаст!

Шалоумов: – Несомненно – наддаст! Но мы с вами отвлеклись от главного: как и почему был убит лейтенант Рыбин? Что за бумаги были зажаты в его кулаке?

Офицер: – А вот это вот самое – коммерческая тайна… следствия! Но скажу, что написана была сущая пустяковина, ничегошка: «Дядя Петя, не забудь…» Какой дядя Петя! Что не забудь?..

Шалоумов: – …это и многое другое предстоит выяснить следствию. Так?

Офицер: – Так точно!

Шалоумов: — Однако из достоверных источников нам стало известно, что Слава Рыбин самостоятельно изучал английский язык. А в записке было написано почему-то английскими буквами следующее:

«Wowa – kukla-marionetka v *lapax KAGANATA. Kozel-provokator vedychiy baranov na ritualnoe zaklanie. Neyzeli do six por tie yasno? Ili u Roccii deystvitelno odni PRIDYRKI kak on sam nedavno skazal? Slygi SATANI v CMI podigrivayt emy, ostavlay narody nadezdy. Ona umret poslednei. Voin-Rusich, vocctan! Osvobodi Podinu ot pabstya. ZA VERY, TSARYA I OTEHESTVO! VINTOVKA delaet ictoriy…»*

А уже далее по-русски, следующее:

«Дяде Пете».

Что это за дядя Петя? Прокомментируйте.

Офицер: — Что?! Вы ответите за разглашение нашей служебной информации! Где вы это взяли?!

Шалоумов: – Мы не выдаем своих информаторов. Вам же спасибо за интересную, содержательную беседу. Резюмируя сказанное, стоило бы риторически воскликнуть: когда в стране прекратится бардак? Останавливает понимание того обстоятельства, что в бардаке пора

менять бандершу на хозяйку. Итак, многоуважаемые радиослушатели, наше время в эфире истекло. События развиваются столь стремительно, что вскоре может настать момент, когда «уже не будет времени»[24]. В следующем, вечернем уже, выпуске нашего радио-шоу «Китай за углом» мы расскажем о нападении на предпринимателя Ивана Хару… Послушайте анонс…»

Дикая какофония шляхетского композитора Людославского. На контрасте – невинный голос хорошего мальчика из буржуазной семьи:

«… В кромешной темноте пострадал и коммерсант Иван Хара. Поздно ночью, возвращаясь в гостиницу из командировки, он решил заехать в достославный район красных фонарей и взять там в любимые подруги девушку, чтобы ее „оттанцевать“…»

Звучит шансон.

Начальник командира офицера Клячина слушал эту радиопередачу на даче. Он сразу позвонил начальнику командира и с усталой обреченностью выговорил:

– Что у вас за кадры! Он что, мля, гонит, этот Клячин?! Я ему за такой гнилой базар кипу на хунты порву! Ишь, ты, петух на параше закукарекал!

– Да вы что, трщ полковник, Клячина не знаете? Хороший служака, отличный пацан! Две контузии – чего вы хотите, тосики-босики? Да бросьте в того «эф-однёрку», трщ…

– Как разговариваешь?! Ты кто: военнослужащий или бык картонный? – начальник уже не сдерживал бешенства. – Да ты… у меня… в горы! К кунакам!

– Так точно, трщ полковник!

Полковник подумал, что не стоит все же продолжать тему: на языке шпаны говорила добрая половина рядовых, сержантов и офицеров милиции города Китаевска. И он продолжил, стараясь говорить бесстрастно:

– Он, этот Клячин – что, с этим Рыбиным за одной партой в спецшколе для контуженных сидел?! А если портрет услышит этот его бред? У тебя в кабинете портрет висит? Висит! А у нас так: сегодня он здесь прокукарекал, а через день – по центральным СМИ! Убрать и задвинуть этого майора за Можай, да так, чтобы рот открывал только перед гусями и курями! – бесстрастно не получалось.

– Так у него же, у Клячина, сеструха, трщ полковник, она же самого Прошки Шулепова сполюбовница, трщ полковник! Вы что, не знали?

– Ах, так! И досье мне на этого журналиста Шалапутина!

– Шалоумов-в-ва!

– Досье! Только: «так точно» и «слушаюсь»!

– Слушаюсь! Так точно! – ответил начальник командира и принял распоряжение к исполнению.

Так и не появился в отдаленном приграничном райцентре Копылиха новый начальник милиции майор Клячин.

Ни сейчас, ни позже, а пока:

– Вот так, керя: Славку-то убили! – посматривает на меня в зеркальце Юра.

– Уже и на помойку выбросили; – подтверждаю я, думая: «Вот тебе, Славка, и граната на шее… А тот, второй, думается мне, Чимба…»

Нарочитая грубость – давняя защита от печали и нежности. Видно, возраст наш надо нам с керей исчислять не хронологически, а, исходя из логики жизни, – логически. Только потом, как в рапиде, к зачерствелому стыду своему, вспоминаю, что Слава остался там, в деревенском осажденном погребе. А на помойку его выкинули, чтобы показать живым истинное, по их усмотрению, место российского милиционера: рядом с бандитским паханом и на свалке. Интересная суть самосуда!

– Д-а! – печально улыбается Юра, неотрывно глядя на меня все в то же зеркало. – Работа у него была такая… Государственного человека Славку и – на помойку.

– Нация первична – государство вторично. Особенно, когда рядом на помойке…

– Это уж как водится! Только ты путаешь понятия: народ и нация…

– Аксиомы у каждого свои, – говорю я. – Одни идут за них на праведный бой, другие идут изображать бой на театральной сцене. Или на съезде нищих, что тоже впечатляет.

– Разве я против боя? С чего ты взял? Это тебя нынче толковать, как Писание, надо. Но вот то, что с твоей работкой с голодухи не вымрешь, – это точно! Воронья у тебя работенка. Помоек хватает!

– Точно! – снова соглашаюсь я. – А у тебя шакалья!

– Ничего подобного, керя. Все попрошайничают. Пендосы, кстати, по самую репину в долгах у интернационала. А мне же лично импонирует практика Муссолини. Великий дуче, в общем-то, строил государство на артельных, корпоративных принципах. Или назовем их коллективистскими. Италия была нищей. Она до сих пор небогата. И до сих пор, керя, старшее поколение нищей Италии те времена воспринимает положительно. Кроме, разумеется, войны. А у нас в России – великие традиции побирушничества! А какой опыт! А какие благоприятные исторические условия! «… Нищие, а особенно юродивые, считались святыми людьми, заступниками перед Богом за наши грехи…» – почти дословно цитирует он из первой части доклада, который я для него напишу за пятьсот баксов.

– Память у тебя, как у юного попугая жако, – говорю я и тереблю спящего на заднем сиденье ребенка: – Алеша, приехали! Пойдем пить чай с халвой!

– Вас послушаешь – водки захочется! – отвечает Алеша. – С халявой!

– Вот он – шпи-он! Я тебе рот зашью, маленький бич, если еще раз услышу про водку хоть полслова!

– Вот… – пискнул ехидный Алеша, – …ка…

– Вот приедем, попьем чаю. Потом мы с дядей Юрой уедем, а ты будешь дома читать умную книгу до тех пор, пока я не вернусь. Понятно?

– Та я ж з пэрэляку, дядько Петро! Я видел во сне такую чушь: кошку, похожую на сову!

– Сова – она и есть летучая кошка! – успокоил его Юра. – Никакая это не чушь! А знаешь, к чему такой сон?

– Нет. К чему?

– Лифт у Петюхана-то, как всегда, не работает! Попрем на пятый этаж своим ходом. А будь у нас крылья!

– Да! – соглашается Алеша. – Крылатые нищие – светлое будущее России!

– Ого! – восхитился Медынцев. – Это же девиз съезда! Гениальный ребенок! Нет, Петюхан, он точно – твой сын. Алешка, продай девиз!

– Дарю, – скромно отозвалось предложение на спрос. – У нас просто: царь сказал, народ исполнил.

20

После развода со старомодной своей мечтательницей о миллионах мне негде было жить. С нашей общей жилплощади она меня выписала за время моих скитаний. А нынешнюю однокомнатную квартиру отдал мне под жилье Юра Медынцев, когда купил себе новую на свои нищенские сбережения. Ее он и называл бункером. Шестой год уж пошел с тех пор. В свои наезды в Китаевск я живу здесь и пишу никому не нужные романы. Здесь, похоже, мне и придется доживать свои дни. Юра забрал отсюда только писанный маслом портрет своего папчика – дяди Сери. Папа Серя был писан с фотографии в форме майора артиллерии.

На портрете – подпись в отместку:

Мой папа самых честных правил.
Учиться он меня заставил.
Я не на шутку занемог.
И сбег из дома под шумок.

Под портретом подпись:

Сын артиллериста.

По хозяйской привычке Юрий Сергеевич Медынцев – Царь нищих – сразу проскочил на кухню готовить чай, вразумлять Алешу своим мужским примером и читать ему вслух свой мой доклад.

– Ты будешь мне задавать вопросы, Алехан! Потому что устами младенца вопрошает истина… А ты, паря, – сказал он мне походя, – иди, налей горячей воды в ванну и начинай парить свои бедные бледные ноги! Чувствую я, что ты простужен: такую уж ты ахинею несешь…

– Какая такая вода, Юра? Во-первых, при моем облитерирующем атеросклерозе парить ноги нельзя. А во-вторых, ты, дядя Юра, как вчера из детдома… Тебе фамилия Чубайс знакома? Тоже из ваших, из бедных. И артист поистине народный. Вторую неделю кукую, как зигзица: сколько лет воры у лохов будут тепло красть?

– Алехан! Кто остроумней: я или Петюхан?

– Дядя Петро поостроумней будет!

– Когда он еще будет, а я – уже! Посмотрим! – пообещал Царь нищих. – Здесь ты глубоко заблуждаешься, паря! Я – злободневней. Ты еще мал и ты не можешь самостоятельно отличить идиота от неидиота.

Я с ногами уселся в кресло времен хрущевской оттепели и включил записи на автоответчике.

Неизвестный: «Здравствуйте, Петр Николаевич! Меня зовут Олегом. Ваш телефон я узнал через свою знакомую моей жены, журналистку Наташу Хмыз! Она школьная подруга моей жены. С ее слов я понял, что вы хорошо знаете внутрицерковную жизнь. Потому-то я и обращаюсь к вам за консультацией», – как по писаному заговорил дьяконовский бас.

– Началось… – буркнул Медынцев. Вот не зря они с Наташей Хмыз были супругами. Одна сатана: хлеба не давай, дай поболтать. – Ему в большом духовном оркестре геликоном работать, а он! Где у тебя хлеб, керя, где масло? Где икра, наконец? – И он снова удалился на кухню.

Олег: «… Зарплата псаломщика невелика. По сравнению с доходами настоятеля, естественно. И меньше минимальной зарплаты, признанной государством. Оговорюсь, это в городских храмах. В сельских платят, наверное, столько, сколько могут. А у нас семья православная, имеем четверых детей…»

Царь (из кухни): – К нам его, к нам, в Лигу нищих! Пусть работает инвалидом кавказской войны, как настоящий мужчина! – донеслось с кухни.

Я прибавил громкости.

Олег: «… И дело вовсе не в зависти, что кто-то имеет много, а то, что детям не хватает на нормальное пропитание! Они, дети-то, конечно, понимают… – мне показалось, что незнакомец Олег глухо застонал, однако он кашлянул, извинился, сославшись на простуду, и продолжил: – …детки-то и не просят, они понимают! А я, бывает, от этого их понимания готов выкопать себе в лесу могилку, лечь в нее заживо и не вставать, прости ты меня, Господи! Петр… э-э… Николаевич… я хотел у вас узнать, сколько часов в день работает псаломщик и сколько получает за требы. Я понимаю, что у каждой работы есть свои особенности: так, если псаломщику положено столько-то часов, то больше, как ни хоти, не получишь. Мне кажется, что жить на зарплату псаломщика, певчего, пономаря просто физически невозможно! В нашем храме из-за этого периодически меняются пономари – надо кормить семью и детей, но на оклад это сделать невозможно. А на подработку не всегда хватает времени. Насколько мне известно, во многих храмах Первопрестольной вообще нет пономарей „на окладе“, но очень много… м-м… добровольцев. Как вы, например. За счет этого удается „закрыть“ все службы. Правда ли это? И как вы зарабатываете? Не могу ли я быть полезен? Как жить в небольших городах – просто не знаю. Разумеется, насчет организаций „профсоюзов“ и прочих либеральных, мягко говоря, „причуд“ в церквях, я согласен с возражениями. Мне кажется, что должность является честью для православного христианина, и ради денег вряд ли кто там работает. Но жить-то как? Работа должна кормить. Дорогой Петр… э-э… Николаевич, по моему скромному разумению, у вас уникальный опыт чтеца. Так посоветуйте мне что-нибудь, Христа ради! Мой телефон…»

– Вот-вот! Христа ради! А я что говорю? – актерствовал Царь, проходя с чайником в ванную. – Церковь нынче бедна! А в былые-то, керя, времена, при императрице Елизавете, насельники самой Лавры жили не тужили! Каждому монаху, керя, ежедневно отпускались – заметь: бутылка хорошего кагору, штоф пенного вина, по кунгану меда, пива и квасу… – орал он оттуда. – Некий святой отец носил шелковые башмаки и чулки, на башмаках бриллиантовые пряжки в десять тысяч тех, те-е-ех еще рублей. Разве не так, керя? Гардероб с шелковыми и

бархатными рясами занимал у него целую комнату, такую, как та, в которой ты сидишь! О нем говаривали: «Гедеон-то, Гедеон, а вот нажил миллион».

– Ты начитался дурных неотроцкистских пьес, жалкий актеришка… – говорил и я. Говорил громко, зная, что Алеша внимательно, как прилежный ученик, вслушивается во все наши разговоры. – Ты, может быть, и царь, Юрка, но священство выше царства.

– Ничего подобного! Это сам Поселянин про Гедеона писал, человек многоуважаемый!

– Вот потому вас, актеришек, и хоронили за церковной оградой, как самоубийц и нехристей! Слышите звон, да не знаете, где он! А это звон колокольный! По ком он звонит, колокол-то, а, керя?

– Да уж ладно тебе, демагог с досоветским стажем, тебе видней! Я же не принципиально, я так…

– Всякий труд, Юрка, достоин пропитания! А люди – они не святые, и потому всяк ответит за свое!..

– Да шучу я! Ты, Петюхан, становишься занудой! Хорошие деньги портят твой веселый и дружелюбный нрав, щен!

Следующий звонок был от Наташи Хмыз.

Наташа: «Здравствуй, Петенька, здравствуй, миленький, здравствуй, умница, здравствуй, понимальщик души моея!..»

Юра: – Эк, как она тебя цветочками обсаживает! А ведь ты еще живой!

Наташа: «… Здравствуй, суровый мститель за всех униженных и оскорбленных Святая Руси, здравствуй, мой единственный личный и национальный герой! Горе, о арахисовая халва моих дней, горе у меня! В Греции приспущен государственный флаг и объявлен траур: сегодня ночью в диком степном граде Китаевске, где по улицам ходит медведь на липовой ноге и с кобурой со Стечкиным под левой подмышкой, едва не был убит кирпичиной еще дореволюционного обжига предприниматель Иван Георгиевич Хара…»

Юра: Периодами говорит!

Наташа: «Ты, Петька, удивишься, но мне его жаль. Он лежит в военном госпитале и трудно, и болезненно думает, что его охраняет вся русская армия. Как ты думаешь: сходить мне к нему? Может…»

Юра: – Эх, как она, Наташка, тебе перлов-то наваляла – хоть в ломбард тащи!

Я: – Это она чтоб ты ревновал.

Юра: – Я и ревную. Суй ноги! – подставил мне к ногам тазик с парящей водой сам Царь. – Я туда вару из чайника налил! Не слушай врачей! Парь их, керя, они устали, а ты еще нужен нам, будущим покойникам!

Я: – Ты смерти моей хочешь… – понял я и погрузил ноги в тазик.

Наталья относилась к женщинам, от которых мнительным господам следовало бы держаться подальше. В ранней ее юности, в первый месяц после ее выпускного бала, я посвящал ей стихи:

… Тобою ночью куплен с потрохами,
я на заре проснулся с петухами…

Но тому прозрению было добрых два десятка лет. Тогда Наталья нюхала мясистый воздух возле шашлычных, а нынче у ней сумочка от Louis Vuitton и брошь от Cartier. И беднее стать она бы уже не захотела. Закупать меня нынешнего в племенное стадо Наталье не было нужды, но дружбой со мной она, похоже, дорожила. Что ей в том?

«С тобой мне весело пожить и издохнуть в пасмурной атмосфере хлебного бизнеса…» – сказала она как-то.

Я отвечал, что нечего ей было выходить замуж за богатого и красивого Юрку Медынцева, что напрасно сотворили они этот досадный брак, что издыхать в неволе не собираюсь, и посоветовал ей исповедаться. Она нацепила золотой крестик и сочла, что этого ей достаточно, чтобы угодить Господу Богу, словно он командир подразделения, который взялся осматривать: у всех ли правильно пришиты подворотнички и вычищены сапоги.

Наташа: «… Может, он, Грека-то, перед… хм… этим… самым, где ты работаешь… отпишет мне лимончик? Погуляем в тиши. А вечером увидимся на съезде нищих, если, конечно, Грека мне ничего не отпишет из того, что украл. Я буду там с маэстро Шалоумовым. Не ревнуй. Он давно хочет с тобой познакомиться. Он говорит, что там, на этом съезде, будет зачитан Медынцевым очень интересный доклад. До скорой и нежной встречи, похоронная команда!»

– Слышал? Уже идет добрая молва о твоем моем докладе! Ах ты Натайска из насево Китайска! – одобрительно сказал Царь-Государь о своей бывшей жене. – Приходи, Натайска, сяй пить… Ходи-ходи… Ка-лясе-о-о…

Соскучился, видать, бедный, по огням рампы.

Далее позвонил батюшка Глеб:

О. Глеб: – Господи, помилуй! Господи, благослови! Здравствуй, Петр Николаевич! Тут, Петр Николаевич, снова казус, выручай: я – на разрыв! Такой праздник нынче, литургию надо отслужить, потом исповедовать одному человек сто, не меньше! Ты знаешь, что есть такие усердные, кто каждый день готов предстоять на исповеди по два раза! А потом у меня – двое крестин! Расчеты с клирошанами! Мне хоть разорвись, Петя. А произошло, Божьим попущением, следующее… Ох, грехи наши тяжкие! Господи, помилуй! Слушай. Как-то в морг привезли убитого парнишку лет пятнадцати. Пришли родные – плачут, божатся, грешные, что это их сын-студент. По плавкам, говорят, его опознали. В морге им Дима-судмед и вся медбратия объясняют, что возраст не совпадает: тот юноша, а этот, судя по всему, отрок! А те все плачутся: наш он, и плавки, дескать, наши: вот же они! Вот тут узор, вот тут штопка! Так и увезли тело, похоронили на родине – в Копылихинском районе! Ты над ним Канон читал – помнишь? Копылихинский район, село Кавдыбиха! Ты и снарядил его в последний путь. Да вот боюсь, не последним он оказался!

Я: — Не томите, батюшка! Раскопался, что ли?

О. Глеб: – Терпения наберись, чадо! Через неделю, милый Петя, началось: явилась еще одна родственница. У нее пропал сын, пятнадцати лет отроду. Ушел, говорит, на озеро купаться и не вернулся. Женщину с грехом пополам, елейными уговорами умаслили, отправили домой. А еще через неделю прибежали те, первые родственники! На колени пали перед Димой-то, судмедом! Ой, прощеньица просим! Оказалось, что их убитый студент пришел домой ровно на сороковой день после своей мнимой смерти. Как раз к поминкам! С порога говорит: «Здравствуйте вам!»

Сел к столу и давай уписывать кутью! Старушки так и попадали под стол! Господи, помилуй!

Мне показалось, что батюшка едва сдержал смех, он долго сопел, стонал и охал.

– Он, оказывается, пошел пива попить, там встретил своих студентов и уехал с ними в экспедицию аж на Селигер. Что теперь? Дома у студента – паника! Родственники примчались в бюро судебной медицины и просят аннулировать справку о смерти. «Убитого» отчислили из академии, в ЗАГСе аннулировали его паспорт и начисто вычеркнули из списка живых. А его девушка успела выйти замуж. Нравы! Что делать? Ладно, уж так все Господь устроил! Им самое главное понять: что делать с могилой, где другой человек… А нам с тобой – снова да ладом… Стар я сделался! Голова, Петя, не выдерживает! Они мне зачем-то звонят, просят, чтобы я приехал: молитва, мол, ваша получилась безадресная, до востребования! Прости Ты их, Господи! А у меня, ты знаешь, ни минуты свободной. Сам захворал, кабанчикам корму наварить надо! Это что же творится-то, отцы небесные, Матушка-заступница! Слушай дальше…

Я не заметил, как заснул в тепле этого своего вороньего гайна.

Утро во?рона, ночь во?рона, век во?рона …

21

… В простудной хвори я уплывал на легком челночке, да вдоль береговой линии жизни, да в обратную сторону. К мерцанию углей угасающего костра…

Струилась, пестрела гольянами перед глазами речонка моего детства.

Она не журчала, а просто текла, потом пропадала за колючей изгородью склада взрывчатки, называемом «аммоналкой». Речонка исчезала за колючей проволокой, пропадала и никуда уже не шла среди отлогой супеси склонов. Она укрывалась в запретной зоне до нового половодья. Названия у нее не было и уже не будет. Ее звали «наша речка» – и все.

Я приставал к берегу. С деревянных мостков, по которым не разойтись двоим, как с капитанского мостика, я смотрел на пологий скат берега.

А с вершины холма смотрел на меня пустой дом еще живого блаженного Спири. Он казался мне бородатым великаном. При этом он по-детски не выговаривал «эр». В его тяжелую ладонь вошла бы моя голова с ушами вместе. Лицо его было розовым и неоглядным, как цветущее поле гречи. Лицо блаженного было таким розовым и неоглядным потому, что стлалось широко, далеко, переходило в лысину и лишь у самой спириной потылицы, как гречишное поле, обрывалось. При этом оно окаймлялось зеленой, как мох, опушкой седины. Синие студеные озерца-близнецы – это Спирины глаза. Таков был богатырский мир его лица. Дом блаженного и колодец с журавлем стояли за речкой, на отшибе поселка. Одинокая береза, которая изогнулась стволом, как латунный подсвечник, в его ограде.

– Бабушка, он кто: колдун? – спросил Петя как-то перед своими страшными снами, которые шли возрастной полосой.

– Э-эх ты! Читака-писака! – огорчилась бабушка. – Колду-у-ун! Старец Спиридон – сын богатых родителей! Все, что ему оставили батюшка с матушкой, он роздал бедным! И жизнию своей голубиной старец Спиридон так угодил Господу Богу, что Господь открыл ему будущие времена и каждое сердце человеческо!

– Бабушка, а зачем тогда родители наживали?

– Не все нажито праведно, Петя… Большое богатство – грех…

Потом, когда Спиря был арестован и бесшумно умер в хрущевской неволе, этот подсвечник-береза упал и вывернул из склона сочную черноземную карчу. В карче свили гнезда бесстрашные змеи.

Нежить. Осенние мухи. Мразь. Оттаявшие помойки. Вот чем стала для России «хрущевская оттепель».

А при Спириной жизни дом стоял пуст, потому что сам-то Спиря вековал в рубленом флигельке. В его оконце вечерами шаял свет лампады. Там же, в бане, блаженный принимал честных хожалых, набожных старух с опрятными внучатами. Внучата прятали лица – они боялись, что Спиря опознает их. Что накажет тех, кто дразнится, когда через поселок, потом через лес и город он трусит двенадцать верст к единственной уже церкви нашего героического города. Так и мерял землю тяжелым посохом.

Поселковые дети, как облако гнуса, вились около и вопили:

– Спи-ря спи-рил, бул-ку сты-рил! Пошли на ул-ку – отнимем булку!

– Динь-дон! Спири-дон! Стибрил хлеба десять тонн!

Спиря никогда не стырил ни булки, ни тысяч тонн хлеба, как Грека. Его хозяйство – бабочек на клеверах да подстрешных ласточек – даже хрущевские финагенты не описывали. Люди сами несли ему еду, отрывая от себя. К нему, как я нынче понимаю, шли на послушание тихие опрятные юноши. Иногда он бил кого-нибудь из них своей богатырской палкой. Зато чуть позже, когда борец с культом личности бывшего семинариста объявил в розыск последнего попа, Спиря истлел на зоне…

– … Спири-духа, Спи-ри-ду-ха! Две нога – че-ты-ре у-ха!

А он не останавливался, чтобы выбрать хворостину из кустов. Он бормотал, не сбавляя ходу:

– Что вы, что вы, что вы, что вы… Что за чада, что за вдовы… Ап-ап-ап-ап! Лазогнать всех этих баб… Ап-ап-ап! Будут есть из бесьих лап… Слезки – кап-кап-кап… А не будут есть из лап – беси цап-цап-цап… Что вы, что вы, что вы, что вы! Мы давно на все готовы… Нам уж очень уж невмочь… Вы готовы нам помочь?.. Мы готовы, дети-вдовы, всех спасем мы вас, бедовых: Лаз-два-тли – огонь! Пли!.. – и кидал в нас сухой дротик.

– Ай-й-й! Ой-й-й! – верещали радостные неумытые дети и рассыпались испуганными воробьятами за придорожные кусты. Но Спирину скороговорку пользовали, как считалку:

– Ап-ап-ап-ап! Слезки кап-кап-кап! Лаз-два-тли – огонь! Пли!

Говорили, что он пришел *с войны* контуженый. Сам же Спиря говорил, что пришел *на войну*. Так он сказал и мне, когда я с родной своей бабушкой Марьей принес ему пахты с молокозавода. С нами же и двоюродный мой брат Юраша в кубанке и с деревянной саблей. Он важничал и воротил от Спири лицо: боялся, что блаженный унюхает запах табачного дыма.

– Золотокудлый Петька… Злато зло, зло, зло… На, Петька, на! – протянул он выпростанную кринку. – На! Клугом война… Богу молись, кашей делись…

Я был мал, да умен: упрятал рыльце в бабкину суконную юбку – рыльце в пушку.

– А ты – голова… голова… – говорил розовый Спиря бледному, лишайному Юраше.

– Это точно! – растрогался Юраша, которого редко хвалили за плохую учебу. – А они все: дурак, дурак!

– Смотли, Петька! Кто похвалит, тот и повалит!

Это потом, потом… Вверх по реке, против течения.

А тогда бабушка смотрела на Спирю и вся лучилась, благоговела, утирала платочком слезу, теребила в мочках ушей златы серьги эпохи царизма. Она спросила Спирю:

– Скажи мне, родименький, рибильтирвают мово Николая Павловича посмертно или же так навечно оставят врагом народу? Скажи, Спирюшка, какой же он враг-то был, какого народу?

– Иди, влаг, в балак… Так иди, так… так… Шаг – влаг, шаг – влаг… Тик-так, тик так… Гнал блак – влаг… Бел флаг – влаг… Ел мел – влаг… Был смел – влаг… Как так?.. Шаг… Шаг… Влево – шаг… Вплаво – шаг… Так? Лаз-два-тли! Огонь! Пли!

– Понятно… – уливалась слезами бабушка Мария и все оглаживала мою белую макушку. – Стихи! Да Бог-то милосерд: он все видит! Неужто, Спиря, попустит Бог торжество антихристово-то этих? А, Спирюшка, родименькой? Может, нам землю-то вернут?

Спиря не ответил, а присел передо мной на корточки, облучил меня синими глазами, взял мою руку ребенка и поцеловал ее. Потом поднял глаза к небу и сказал:

– Благослови душе моя Господа и вся внутленняя моя… имя свято Его…

Он перекрестил мой лоб, говоря:

– Иди, иди с Богом… Я помолюсь за тебя…

Я ничего не понял из этих слов, но доброта его глаз выжгла во мне что-то гадкое, вещавшее мне страшные сны. Тогда я заплакал от неосознанного стыда и ясной любви к непонятному горнему миру. Мои шестилетние слезы излились. Они не приходили ко мне около десяти лет и зим.

… А с прошествием этого срока, на исходе июньской ночи, на этом же ветхом мостике я обнял девушку Зойку. Зойка была жаркой и жадной. На ней было чистое синее платье с веселыми цветочками по полю. На платье – белый отложной воротничок под нежное горло.

Запели в той затуманенной дали первые песни. Возбрехали собаки той дальней яви. Вожди торопились обещать по радио продолжение великих свершений. Облака сбивались в небесные армады. Земля жарко плодила зелень.

А мы – я и Зойка – шли в обнимку коленцами переулков. Этой проходочкой мы заявили дядям и тетям всего окрестного мира о союзе своих чистых сердец. Но осенью пришел со службы пограничник Леня и взял ее себе в жены. Тогда я и ушел в сарай к Лизе Кёних. Там, на деревянном топчане, она меня и пожалела. А потом я сильно плакал в золотом лесу. Я обнимал березку, и чуткие листья падали на мою слабую голову лоха.

Заплакал я и сегодня во сне, когда вернулся из одиночного плаванья по речке былья. Да плач ли это был? Донные слезы лишь щипали глаза, но пропадали, как та речка, неведомо где.

Мне явилась живая мама.

– Плачешь, что ли, Петя?

– Плачу, мама…

– Отчего так, милый ты мой?

– Людей, мама, жалко…

– Ах, ты, мой ангел! Это, Петя, слава Богу, болезнь уходит…

Она накинула салоп, встала на колени и начала молиться там, во сне.

А я проснулся и обнаружил, что укрыт болгарским пледом, еще сто лет назад, в двадцатом веке, прожженным сигаретой Наташи. Светало поздно, спал я совсем недолго.

… Еще одна тыловая сентябрьская, которым несть числа от начала времен, ночь прошла, пересчитывая звезды над униженной русской землей. Звезды были все по местам. До них еще не добрался либеральный молодняк и не присвоил их и не переименовал в честь своих бесчестных же подружек. Врата Небес бесшумно раскрывались и пропускали на Страшный суд сотни бесплотных отлетающих душ, которыми убывала страна великанов.

Это была ночь незадолго до начала мэрских выборов.

Мой бывший однокашник, инвалид по части совести, мэр Димка Шулепов баллотировался на второй срок.

22

Это был страшный для жителей города месяц. Их, оглоушенных, атаковали зло и беспощадно. В газетах писали, что чартерными рейсами в Китаевск прибывают два батальона столичных политразбойников, которые намерены творить нашему земляку, нашему коренному Шулепову всякие гадости. Они будут вбрасывать подложные бюллетени, облыжные обвинения, устраивать голосование по двум, а то и по пяти паспортам. Они успели переиначить его фамилию на «Шулеров». Тут же они, эти пиарщики, превращались в три сотни переодетых в штатское военных без документов, которые якобы уже рассасывались по территории города. Они выдают себя за представителей ЦИК. Листовки в поддержку Димки печатали стотысячными тиражами, по всему городку были расставлены огромные рекламные щиты: Шулепов – с незаконнорожденными детьми, Шулепов – со студентами, Шулепов – с мудрым, но слегка обиженным лицом.

Выражение этого лица говорило обывателю: «Вот они – мы, товарищи! Отечества отцы, которых вы должны принять за образцы!», с рекламных щитов, глядючи вам в частные глаза своими честными очами, нагло попрошайничал Димка.

Вы начинаете вглядываться, а он уже бьет на жалость: «Устал я от отеческих хлопот. Делаешь для вас, делаешь! Себе во всем отказываешь, а вы, вахлаки, вы, неблагодарные черти, снова толкаете меня на борьбу с моим ничтожным конкурентом Аристархом Бедриным! А чем он лучше?»

Ископаемый наш обыватель пожалеет пожилого мошенника. Много еще нас, русских идиотов. И много еще загадок кроется в истории происхождения двуногих на Земле! Но многие же,

глядя на его личину, видя перед собой беса, еще больше укрепляются в православной нашей вере.

Телефонный шнур тянулся на кухню, откуда доносится приглушенный говор. Я навострил слух и выделил голос Юры:

– Ду-ду-ду-ду-ду… В экономике нужна именно христианская нравственность… ду-ду-ду… когда на первый план выходят такие христианские добродетели, как жертвенная любовь к ближнему, терпение, смирение… ду-ду-ду… Да, с этой точки зрения наш реальный советский социализм был противоречив. Мы, профессиональные нищие Сибири, попытаемся обосновать иную точку зрения. Ее суть в том, что экономические законы – это никакие не законы природы, как нас уверяли, а порождения нравственности… ду-ду-ду… стоимость есть функция нравственности… ду-ду…

Потом неразборчиво заболботал чужой чей-то голос. И снова Юра:

– … А вот этот ваш постулат – низкого качества… Это из моральных норм общества «гомо-экономикус», людей, для которых главное – грести к себе… бу-бу-бу…

Я вышел на кухню. Оказалось, Юра перед зеркалом отрабатывает будущее интервью и отражает нападки мнимых оппонентов. Алеши не было видно.

– Где Алеша?

– Алехан ушел в город по делам. Так было мне сказано!

– Он звонил кому-то?..

– Да, кому-то звонил…

«Все матушку свою ищет…» – чувствуя в сердце сладко, опасно сосущую боль, подумал я. – Вот и оставь на тебя ребенка, жулик…

– А не царское это дело, керя, с детьми нянькаться! Вот свет вот нам отключили, а мне нужен компьютер…

«А, может быть, Алеша звонил Анне…» В каком-то тревожном наитии я двинулся к письменному столу, где стоял компьютер и где в папках лежали мои рабочие бумаги и черновики писем. Но тут постучали в дверь:

– Соседи! Свечечки лишней не отыщется? Гляжу со двора – огоньки у вас…

– В Кремль иди! Иди в Кремль, дедушка-соседушка! – ответил Медынцев. – Там, в Музее революции, этих наших личных свечечек – воз и маленькая тележка!

– Ну, дак, что же… Извините! Смотрю: огоньки! Думаю, может, воры!

– Воры там же, в Кремле же! Здесь – лохи! Туда иди! С Богом, родной! Флаг тебе в руки!

– Что вы такое говорите! Демократы, мать вашу тетю Пашу… – Было слышно, как сосед удалялся в своих шлепанцах. – Нелюди…

Потом крик:

– Хрена вам в сумку, чтоб сухари не мялись, козлы буржуазные! – и шлеп-шлеп-шлеп! – вниз по маршу.

– О! Правильно! – похвалил мой керя и похвастал: – Мой будущий кадр – протестный электорат!..

– Подавись этим неологизмом, вождь косноязычных! – ответил я. – Нет такого слова: «электорат»..

– Слова нет, а человек есть! – школа дяди Саши Шуйцына.

– Надоел ты мне со своими шуточками, – сказал я. Сказанное было истинной правдой. – Не напрасно мой отец говорил: проходя мимо революционера – бросьте в него камень! Шут ты гороховый.

– Вот как! А чего ж ты в девяносто третьем полез на баррикады?

– В девяносто третьем, Ваше Величество, мы, контрреволюционеры, пытались не допустить очередной революции… И еще запомни, керя: я не игрок – я боец. Возможно, бывший боец.

– И на съезд к нам, боец, не пойдешь? Иди к нам, у нас интересней: у вас – черные клобуки, а у нас – голые попки!

После деревенской тишины и спокойных раздумий мне было тяжело фехтовать с собственной тенью. Я знал Юру и понимал, что в этом словесном недержании – огромная усталость и пьянящее перевозбуждение. Я сказал:

– Недосуг мне по вашим шабашкам околачиваться. Дал бы ты мне сказать там пару слов о революциях. Ни одна революция не принесла в клювике никаких благ населению, она их этим клювиком – по темечку.

– Ты, керя, фарисей, – зевнул Юра. – Ты опасный гражданин. Ты не получишь слова, контра.

Еще недавно казалось мне, что я на всю отпущенную мне жизнь отвык от ироничности, как отвыкают хиппи от своих рямков. Она считалась признаком живости ума и отражением светского лоска. Я знал цену этой ловушки для вертлявых обезьян. И чувствовал, что меня прибило к узкому, как ущелье, сочному, как оазис, одиночеству. Возможно, что и не навсегда. Но только в компании старых товарищей я понимал, что – увы! – очень разными путями идем мы к своему зеро. Так случилось, что жизнь моя состояла из правильных и неправильных поступков, а жизнь Юры Медынцева – из ролей положительных и отрицательных героев. В одной моей пьесе он жадно сыграл сразу три роли. И все – достоверно. Может быть, он сделал единственно верный поступок – выбрал театр. Что же выбрал я? Мне казалось, что мое одиночество становилось как черное сгущенное молоко от черной коровы, потерявшейся в черной беззвездной степи. Возможно, я преувеличиваю, но, повторяю, мнимое мы переживаем острее, нежели настоящее…

Однажды в Сербии я читал Евангелие вместо псалтири над убитым священником. Некому было. И в какой-то момент мне показалось, что все происходящее уже было со мной, Словно расщепленное молнией дерево, корнями я жил в родимой земле, а обожженный ствол уже не принадлежал прежней жизни. Я не знал, где я: здесь или там, во мнимом. Я, помню, тряс головой как оглохший, как контуженый, я пытался стряхнуть с себя этот провал в сознании, как хищную рысь, что вскочила мне на спину. Он втянул меня, как омут. Потом перекрестился, прочел Иисусову молитву – наваждение прошло. Я вновь открыл Евангелие на «Отче наш», по

девятой песне Канона и продолжил чтение. Но вопрос, где я был в помрачении ума, остался.

Когда начинает тянуть *туда,* я молюсь снова и снова…

23

Во времена оны было заведено «христианам, живущим во граде или веси, о тогда проставляющемся больном, яко да молятся Богу о нем». И когда больной совсем отходил, то, если он жил близ церкви, ударяли в колокол. Сейчас звонят по телефону.

Это я к тому, что прилично зарабатывал, когда на домашней молитве по благословению духовного отца совершал поминовение тех, кого нельзя поминать на церковном богослужении. В церковной молитве – един путь, по которому ради несмущения друг друга должны идти и все молящиеся. В домашней молитве большая широта пути, но направление остается то же, что и в церковной молитве. Православные – не только монахи, но и миряне – всегда остаются послушниками Святой Церкви. Они избегают молитвенного самоволия. Молился об умерших язычниках преподобный Макарий Египетский. Синаксар субботы Мясопустной извещает о том, что и святитель Григорий Двоеслов молился о языческом императоре Траяне. Он даже получил весть, что молитва его угодна Господу. Преподобный Феодор Студит не допускал открытого поминовения на литургии усопших иконоборцев, но говорил так: «…разве только каждый в душе своей молится за таких и творит за них милостыню». Сколько их, несчастных нехристей, уходило в вечность сейчас! На герб либерала я бы поместил козла в цилиндре, держащего в копытцах косу смерти. И – надпись по кругу:

«Либерализм – это глупость, переходящая в государственную измену, и предательство, граничащее с глупостью».

Почему? Да потому, что сказано: думай о смерти, дурень. Я бы добавил: думай про осину, иуда. Ибо сказано: три достойные вещи есть у человека: достойно жить, достойно стариться и достойно умереть.

Приходилось мне келейно молиться и за множество самоубийц. Не у каждого из ближних было желание потрудиться ради любимых собратий, усердие к молитве, смирение и послушание Святой Церкви. Люди давали мне деньги и говорили нечто вроде: «Молись, брат… Он был хорошим человеком, но сломала его жизнь…»

Я честно молился.

«Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего: аще возможно есть, помилуй. Неизследимы судьбы Твои. Не постави мне в грех молитвы моей, но да будет святая воля Твоя,.. – говорил я. – … Ныне он совершенно в воле Твоей, Который может и душу и тело ввергнуть в пещь огненную, Который и смиряет и высит, мертвит и живит, низводит во ад и возводит. При этом Ты столь милосерд, всемогущ и любвеобилен, что благие качества всех земнородных пред Твоею высочайшею благостью – ничто…»

Я знал, что преподобный Федор Студит советует творить милостыню и за еретиков, а Оптинские старцы заповедуют то же делать и за самоубийц. Подумать, так все люди – самоубийцы. Не был ли и я, например, подвержен суициду, когда ходил на свои войны? Как сказать? Пожалуй, все же не был. Я считал, что иду защищать Отечество – это мой долг. Но Вася Фимин? Он надел трофейную полковничью папаху. Мы же говорили ему: «Вася, сними ты эту папаху! Снайпер выберет тебя!» Вася смеялся: пуля – дура. Убила дура Васю. Хоть в школьный букварь вместо «мама мыла раму» пиши: убила дура Васю.

И тут по самой теме позвонил батюшка Глеб. Говорит:

– Господи, помилуй! Господи, благослови! Здравствуй, Петр Николаевич! В районе одиннадцати я к тебе заеду. Едем, Петр Николаевич, на улицу Маркса, в «кузбассовский» буржуйский дом отпевать мальчишку… От «ляпки»[25] опять парень… того… Боюсь, не последний. Вот и думай: убийство это или самоубийство?

– Думайте, батюшка. А мое дело – телячье. Мы герои соструда…

– Дак, вот! – сказал батюшка без внимания к моей болтовне. – Я думаю, что иначе как убийством это не назовешь!

– Ну, так, стало быть, едем…

– А с другой-то стороны, вроде как сам он. Ему ж иглу-то не дядя Филя с мыловарни вставлял. А, Петря?

– На Ваше усмотрение, батюшка. Вам видней.

– А-а!.. – сказал неопределенно батюшка, и в моей трубке прозвучали сигналы отбоя.

Он сказал «а». Мне оставалось сказать «бэ»: собраться, настроиться и ждать. Так я и поступил. Уезжая, Юра сказал:

– Садись за доклад, никаких тяпок-ляпок, керя!

– Сидеть за доклад будешь ты, керя! – отшутился я, но, затворив за ним дверь, сел все же за компьютер, когда вдруг вспомнил, что электричества все еще нет. А ведь пошутил я не в бровь, а в глаз. Стал искать в дорогу транзистор, но поймал себя на мысли, что ищу в ящиках стола транзистор, а думаю про то, где искать Алешу.

А через полчаса позвонил батюшка Глеб:

– Звонил я, грешный, благочинному: не благословляет. Ну и, соответственно…

– Простите, батюшка: свету нету, а в дверь стучат! Но я понял вас!

Подошел к двери.

– Кто? – как тугодум, спросил я.

– Отойдите, а то пальнет! – послышался голос Натальи. – Он контуженный на голову. На ум тоже шалый…

И коррозированный табачищем женский бас в скрипичном ключе:

– Открывай, свои!

За дверьми захихикали статисты. Я отпер засовы.

Это явилась Наталья с огромным пластиковым пакетом, который она прижимала к груди так, будто не в свой бывший дом входила, а выходила из роддома. Лицо ее светилось счастьем и довольством, почти таким же, как лицо мэра Димки Шулепова на ее пакете. Мэр Димка Шулепов средненько учился с нами в одной школе. Потом ушел в Высшую партийную, где уже

тогда учили на жуликов, и сыграл свою личную партию на слабой теоретической, но мощной материальной базе.

Под его торсом – рекламный слоган: «На страже интересов края».

«Лучше бы ты ушел со стражи под стражу…» – тоскливо подумал я. За спиной Наталии в полутьме виднелся мужчина с непокрытой головой, помоложе меня на добрый десяток лет.

– За каждой великой женщиной стоит великий мужчина – так гласит древняя мудрость! – как искусный конферансье, возгласила румяная Наталья. – Угадай с трех раз: кто он?

– Это журналист Шалоумов – звезда китаевского радиоэфира! – сказал я и угадал.

Едва Шалоумов вошел в прихожую, как вспыхнул свет.

– Ура! – воскликнула Наталья, закрывая глаза ладонями. – Это – знак.

Однако мужчина, в отличие от нее, всматривался в меня так, что будь у него в глазнице монокль, то непременно выпал бы и повис на шнурке – так широко распахнулись его блестящие глаза.

– Петя?! – не то спросил, не то нетвердо решил он и, бросив пальто на пол, широко распахнул руки. – Шацких! Петя! Керя!

– Ха-а-а! Коська?! – мы обнялись, постояли так, помотали буйными некогда головами. – Я думал: ты не вышел с Рочдельской…[26]

– Я же сказала: свои! – делала вид, что не удивилась, Наталья.

– Вышел я, вышел, вывернулся! – продолжал потрясенный нечаянной встречей Коська. – Мы с Мишкой-казаком ушли еще из мэрии в три ночи. Военные уходили – и мы за ними. Все было ясно – по Ленинскому двигались танки…

– Похоже, мы пришли на маскарад! – утомленно иронизировала Наталья. – Но маски, на всякий случай, оставили в раздевалке.

– Помолчи, Натаха! Остановись, а? – сказал я. – Ты, Натаха, почему без звонка?

– Таков приказ командования! – ответила она, уже со значением. – Царь приказал. Это он. Анпиратор, – указала она пальцем в потолок, – прислал нас к тебе, чтобы ты дал вместо него, Анпиратора, интервью. А доклада, велит, *не нада!* Предваряю твои недоуменные вопросы царским аргументом: по радио не видно того, кто говорит. Он, благодетель наш, назначил тебя своим секретарем по идеологии. И документик вот прислал, видишь? А чего это ты, князь, боишься? Интервью – не пункция! Это совсем не больно!

– Выбрось этот липовый документ и этот пакет с этой мэрской Димкиной рожей вон в тот мусоропровод!

– Еще чего. Там продукты.

– Продукты оставь.

Наташа послушно прошмыгнула на кухню.

– Какой-то змей подписался моим ником в двадцать один час с копейками! – через мгновение говорила она кому-то по телефону. – А я вышла с форума тремя часами раньше. Ты не заметил сдвоенного копыта?..

А мы с Коськой Евдокимовым стояли, соприкасаясь лбами.

– А ты чего это Шалоумовым стал, а, керя? И как тебя к нам, керя, занесло? – приглушенно спрашивал я.

– Так точно, керя. Я теперь, керя, не Евдокимов, а Псевдокимов, а точнее – Шалоумов… – тихо же отвечал он. – Взял звучный псевдоним, так спокойней… А вот тебя по твоей «кере» я бы и вслепую узнал!..

– До слепоты мы еще, Коська, не дожили. Объясни: ты ведь сознательно идешь на подлог, как журналист?

– Ты имеешь в виду интервью с Псевдомедынцевым? Так я состою в членах Лиги! Царский приказ, брат ты мой, не обсуждается! Царь сказал – народ исполнил!

Я засмеялся: редко приходится услышать необычную поговорку дважды за одно предзимнее долгое утро. И мы занялись изготовлением журналистской «ляпки». Народ ждет царя-батюшку? Но надо помочь кере.

24

Интервью, в котором я, обложившись шпаргалками, дублировал Медынцева, в эфире прозвучало так:

Шалоумов (после позывных): – Сегодня в ДК «Котельщики» прошло первое заседание недавно созданной Сибирской лиги нищих и юродивых. На заседании обсуждались вопросы структурирования и управления Лиги, программные тезисы, а также идеология Сибирского царства нищих и юродивых. Перед собравшимися выступили эксперты-академики ПАНИ, помощник министра иностранных дел республики Папапуа-а-Лихсото Мгнамгнатьфу Мгномгно Мнгнамгнамгну-мгну-тьфу младший, далее – руководитель Центра этнополитических проблем при краевом Союзе журналистов Мигель Хуанович Корепанов-Суховской, послы и представители корпораций нищих из бывших республик СССР. Представители США, Великобритании, Франции, Германии, Китая, Японии и других – не приехали. До мэрских выборов – неделя. Но уже завтра в некоем параллельном мире, в тридевятом царстве, предстоит избрать Царя-Самодержца Сибирского царства нищих. Блестяще звучит, на мой взгляд, простите, на мой слух! И сегодня мы даем в эфире беседу вашего покорного слуги Владислава ШАЛОУМОВА с основным и единственным претендентом на высочайшее звание Юрием МЕДЫНЦЕВЫМ. Пока он – координатор Всесибирской лиги нищих и юродивых, членов которой пока еще не развешивают на фонарных столбах и бесплодных деревьях, как делали это в средневековой старой доброй Англии. Сегодня мы нарушаем нашу традицию прямого эфира и даем беседу в записи. Итак, мой первый вопрос к Юрию Медынцеву. Скажите нам, Юрий Сергеевич, в чем суть создания столь необычной, я сказал бы даже, экзотической общественной организации?

Я-Медынцев: – Я призываю российские народы ко всенародному юродствованию. Я объявляю всех нищих своими подданными. И мы победим без всяких кропопускательных революций. Теперь вам понятна суть создания Лиги нищих и юродивых, которая впоследствии станет партией?

Шалоумов: — Не совсем. Вы говорите в стиле Леви-Жиринского. Ну, положим, призываете… Мне вот лично все эти призывы глубоко… э-э… чужды. Особо остановимся на теме «коллективного юродства». Я не понимаю: а о чем, собственно, речь? Юродивый в старой Руси олицетворял собой как бы подлинную общественность и народную идентичность. Юродство не сводилось к одному из чинов святости, но являлось важным для христианства архетипом, восходящим непосредственно ко Христу. Что, все ваши подданные – православные христиане?

Я-Медынцев: – Они станут ими, как только осознают себя и страну нищими, христарадниками. Пора пришла. «Глас юрода – глас Божий», – так говорилось в старину. Обращаю внимание всех, имеющих уши, что юродство – это обостренный опытом «блаженных» всенародный окольный путь! Это «печалование о мире».

Шалоумов: — Итак, давайте по порядку, Юрий. Вы создаете некую социальную систему? Партию? Государство в государстве? Каковы предпосылки к созданию Лиги? Что это такое? Вместо гражданского общества – нище-паразитарный неосоциум? Я прошу, объясните.

Я-Медынцев: – Леви-Жиринский – сын юриста. А я – сын Родины, как бы патетически это ни звучало в наши дни. Теперь о предпосылках. Откройте глаза, сходите на улицу, поговорите с людьми – они вам сообщат все предпосылки. Только имейте терпение. Но я начну с общеизвестного: право и нравственность являются двумя краеугольными камнями любого общества. На двух этих краеугольных, повторяю, камнях и зиждется устойчивость любой социальной системы. Наш режим отмел эти понятия, как подсолнечную лузгу от деревенской завалинки. И девяносто процентов населения оказались *ни-щи-ми де-факто*. С моей точки зрения, либералы, которые терзают все эти годы Россию, являются ее палачами в буквальном смысле слова…

Шалоумов: – Э… м-м… э-э! Оставим в покое политику, Юрий Сергеевич. У нас не политический клуб, имейте это в виду. Хорошо? Вы же не хотите, чтобы нашу передачу закрыли, как и глаза на все происходящее в городе?

Я-Медынцев: – Да нет вопросов! Мы, нищий народ, являемся, по-вашему, экзотикой. Вот и понятие «бомж» стало определять тип веселого, чудного неудачника. Скоро всех русских будут называть не россиянами, а бомжами! Во всем мире! Национальность? Бомж! Так кто же сделал человека, которому эта земля принадлежит по праву первородства, лицом без определенного места жительства? А в нынешней России только официально признанных нищими аборигенов – шестнадцать миллионов. Как вам эта цифирь? И эти люди, повторяю: лю-ди! – уже никогда не социализируются. Плюс бомжи, бездомные дети, проститутки. Есть сегодня где-либо новая партия, члены которой насчитывали бы шестнадцать миллионов? Нет.

Шалоумов: — Простите, простите! А дети – они что: тоже могут быть членами вашей… э-э… корпорации?

Я-Медынцев: — Дети – члены нашего народа. Сегодня утром один маленький нищий принц из неведомого, сказочного, может быть, мифического государства Казахстан предложил нам девиз: *«Крылатые нищие – светлое будущее России!»* Как он точен, этот бродячий футуролог! В стране, увязшей в непролазном нищенстве: займы у ростовщиков, обслуживание внешнего долга, стабфонд, больше напоминающий воровской «общак», и итак далее – в такой стране быть нищим – значит быть как все. Мы, образованные люди, первыми честно признали себя условно нищими и оформили это юридически в движение. Скулить от жалости к себе и жевать общечеловеческие… э-э-э… сопли нам недосуг. В ближнем будущем – мы самая массовая, поистине народная партия России. Только общенародная партия может вывести традиционное общество из тупика. Это маневр. Вы меня понимаете? И другие поймут. Второе «если»: если

вертикаль власти не будет мощным хребтом государства, а ждать этого наивно, то фрагментация ускорится, и вслед за развалом государства начнется распад жизненных установок каждого человека. Что будет происходить в этом случае, даже трудно представить. При дальнейшем распаде начнется формирование групп людей, которые будут пробовать жить самостоятельно, без финансовой подпитки извне, без регламентированных условий труда и отдыха, без оглядки на конституционные нормы и так далее.

Шалоумов: — Вы мало отличаетесь от тех самоуверенных персон, которые уверенно декларируют, а народ, уверенно деградируя, слушает. Насколько реальны ваши политические прогнозы, если по-пионерски честно?

Я-Медынцев: — По-пионерски честно – это вполне возможный вариант развития событий, и о нем надо думать уже сейчас. Русские люди всегда были свободными людьми, а не рабами. А выход из рабства один – большая и азартная народная игра! Да, нас в нее втянули. Да, полтора десятилетия мы имеем дело с «наперсточниками» от власти. Но мы уходим из-под ее контроля в область *социального юродства.* Занятие, я вам скажу, очень и очень продуктивное. Более того, оно веселое! Только мы, коллективно юродствующие, видим в мировой «пустоте» некую духовную цель всеобщей жизни.

Шалоумов: — Ой-ёй-ёй! Круто! То есть вы предлагаете всем прикинуться дурнями и дурашками?! В том числе и властям предержащим?!

Я-Медынцев: — Православный человек избегает называть дураком кого бы то ни было. Я – человек верующий, я верю, что есть земная юдоль, а есть небесная, есть Небесный Судия, Он справедлив и неподкупен. Юродивый и дурак – понятия далеко не родственные, господин Недоумов… простите, Шалопаев… простите, Шало… путин, да?

Шалоумов: — Шалоумов, господин Бездымцев… простите, Бездомцев? Простите, Безумцев!

Я-Медынцев: – Я – Медынцев. Вот видите? Мы с вами оба мгновенно прикинулись дураками. Юродивым тоже можно прикинуться, как большинство русского населения! Это вид саботажа, это акт массового гражданского неповиновения! Это весело, в конце-то концов! Прикинулись же некоторые коммунисты либеральными демократами – прошло! Так сыграем с ними в подкидного дурака: кто кого? А для начала пусть ответят народу на один-единственный вопрос: *кому должны все до одного государства мира?* А мы уж с этим кредитором поговорим.

Шалоумов: — Хорошо, адресуем этот вопрос всем, кто слушает нашу программу. Надеюсь, что мы немного развлекли наших радиослушателей. Итак, просмотрев программные документы Лиги, я понял, что с финансами в Лиге всё в ажуре. Ваша общая казна, так называемый «общак», – два миллиарда долларов. Еще я понял, что в перспективе вы отмените внутри Лига хождение государственных денег и перейдете на внутрисистемные деньги. Помните ли вы, что случилось в Камбодже, когда полпотовцы решили отменить деньги, отменить товарно-денежные отношения?

Я-Медынцев: – Камбодже – камбоджино. Как живут они – лях или турок, сакс или гот, негроид или японец – мне плевать на них с простреленного дирижабля времен Антанты! Мы – всего-навсего общественное движение и к властям предержащим не имеем никакого отношения. Не в нашей власти отмена денег или их реформа. Но садится же рубль на одном гектаре с долларом! Им не тесно. Найдется место и для наших денежных знаков. Давным-давно Сильвио Гезель сформулировал идею «естественного экономического порядка». Этот порядок обеспечивал такое обращение денег, при котором они становятся государственной услугой. За пользование этой услугой люди отчисляют государству плату. И никаких процентов тем, у кого

больше денег, чем им нужно! Иначе говоря, для того чтобы вернуть деньги в оборот, люди должны были бы платить небольшую сумму за изъятие денег из циркуляции. Эта плата идет на пользу не отдельным индивидуумам, а всем членам общества. Для того чтобы сделать эту мысль более понятной, можно сравнить деньги с железнодорожным вагоном, который, как и деньги, всего лишь облегчает товарообмен.

Шалоумов: — Какое-то виртуальное государство получается!

Я-Медынцев: — Получается, вы считаете?

Шалоумов: – Я имел в виду труды Торо. Он говорил: «Если человек свободен в своих мыслях, привязанностях и воображении, и то, чего нет, никогда надолго не предстает ему как то, что есть, ему не страшны неразумные правители и реформаторы. Правительство имеет лишь те права на меня, какие я за ним признаю».

Я-Медынцев: – Вы с Торо близки к истине. Еще в советские годы я изобрел для себя такую идеологию: я – суверенное государство из одного человека. Прочему бы нам это государство не расширить? Объявляю свободный вход. Нам, нищим, чтобы взять власть, не требуется осуществлять классический кризис-менеджмент. Он создан богачами. А в понимании кризис-менеджера, которым в данном случае являюсь я, кризисом нужно только умело управлять.

Шалоумов: — То есть как описано у Марио Пьюзо: крестный отец выручал людей из неприятностей, созданных его же действиями?

Я-Медынцев: — Верно, хотя и правильно. А еще проще, создание управляемого кризиса дано в фильме Чарли, надеюсь, Чаплина-Джоплина «Малыш». Там сынишка бьет чужие окна, а папа ходит следом и вставляет. И неплохо зарабатывает! Корпорация! И вам, господин Шалоумов, я предлагаю, пока не поздно, вступить в нее. Повеселимся! Нам нужны умные люди.

Шалоумов: – Одна-а-ако! Но я не нищ!

Я-Медынцев: — И каков же ваш счет в банке, позвольте уж вас спросить?

Шалоумов: — Какой уж там счет!

Я-Медынцев: – Значит, вы – наш, вы – условно нищий без «уе»!

Шалоумов: — У меня все есть, мне всего хватает, благодарю. Наше время в эфире, к сожалению, истекает праведной кровью. Завтра слушайте мой репортаж с этого фантастического съезда нищих, который, судя по интернетовским форумам, вызвал огромный интерес общественности всей страны к происходящему в нашем славном Китаевске. Коллективно вступить в Лигу изъявляют свою добрую волю многочисленные общественные организации страны.

Я-Медынцев: – Это еще цветочки, компот из ягод – впереди!

Шалоумов: – Ну, что ж! Мне остается поблагодарить нашего гостя – будущего, надеемся, Его Высочество Государя Всех Нищих… Юрия Первого. Ну, что же! Еще в 1930 году Святитель Феофан Полтавский предрекал: *«В России будет восстановлена монархия, самодержавная власть. Господь предызбрал будущего царя. Это будет человек пламенной веры, гениального ума и железной воли. Он, прежде всего, наведет порядок в Церкви Православной, удалив всех неистинных, еретичествующих и теплохладных архиереев. И многие, очень многие, за малыми исключениями почти все, будут устранены, а новые, истинные, непоколебимые*

архиереи станут на их место… Произойдет то, чего никто не ожидает. Россия воскреснет из мертвых, и весь мир удивится. Православие в ней возродится и восторжествует. Но того Православия, что прежде было, уже не будет. Самим Богом будет поставлен сильный царь на престоле». Скажу еще, что всем, кто желает ознакомиться со структурой Лиги глубже, я рекомендую звонить по телефону сорок-сорок семь-девять. Завершая беседу, хочется сказать, что инстинкт жизни, умноженный на пока достаточную образованность людей и коллективную врожденную солидарность, может породить совершенно неожиданные формы существования. Если предположить, что точка «невозврата» уже пройдена и процесс распада естественно ускоряется, то социологам, психологам, политологам и многим другим пролетариям гуманитарного спецназа надо уже сейчас чесать репу и прорабатывать версии, инверсии и, следовательно, контрверсии такого ожидаемого будущего. Да здравствует дарованная нам либерастами свобода слова! Ее не расклевать соглашателям, конформистам, дуракам, голосами которых полнится священный эфир. И почему-то мне вспомнились сегодня красивые слова умного дяди Ницше. Он сказал так: *«Я отдал бы все счастье Запада за манер русских быть печальными»…* До новых встреч на эфирной свалке, господа!»

Вот так мы с Коськой поработали. Он сказал мне восхищенно:

– Ну, ты силен, керя! Тебя надо беречь, как девичью честь! Вот артист так артист! Ты что, готовился?! Это ж моя лучшая передача! Хит сезона!

Я рассказал ему, что пьесы для Медынцева пишу с младых ногтей.

25

… Первая была написана прямо на заснеженной улице Кубовой, когда после уроков мы ватагой вышли из четвертого класса нашей деревянной школы. Я нес домой две пятерки и завернутый в промасленную бумагу калач за три копейки для сестры Анютки. Медынец нес два кола, исправленных на четверки и единственные в классе карандаши двадцати четырех цветов на три радуги с половиной. По улице прошел роторный бульдозер, наделал по обочинам эвересты снега, за ним нескончаемой чередой шли из карьера груженные бутовым камнем МАЗы. Казалось, их не переждешь, чтоб попасть на ту сторону улицы. Тогда я снял ранец, раскрутил его за лямки и с вершины сугроба перекинул через поток машин. Разве Медынец отстанет? Он тоже раскрутил и тоже кинул свой тяжелый портфель с двумя отделениями и привязанной к ручке сумкой со «второй обувью». Портфель шмякнулся в кузов ревущего самосвала и-и-и поехал в светлые коммунистические дали. Ну, и Медынцу бы дома задали таску, если б я не придумал сценарий возвращения. Не стану его пересказывать, чтобы не портить нравы, тем более, что портфель через неделю вернулся. При разгрузке сломались все двадцать четыре карандаша, однако кости Медынца остались целы, а главное – под шумок он избавился от ненавистного дневника. Мы обложили его паклей на стройке, сделали костерок из карандашных обломков и подожгли дневник. Колы горели на диво! Этот костер не забыть нипочем.

Позже Юра сыграл в двух моих пьесах, написанных под него, и в одной фильме.

Затем Шалоумов-Псевдокимов рассказал мне, что той осенью убежал в глухой район Ростовщины. Но взяли его зимой на берегу казачьего Деркула, куда зазвали его порыбачить местные большевики. Едва зашли в балок да налили под уху, как начался маскарад: вломились «маски», потребовали предъявить документы и вещи для досмотра. Тут же подсунули в его рюкзак несимпатичный пистолет и равномерные патроны.

– Большевики, керя, знали меня под кличкой Лунь. А провалила меня племянница одного из

болов по фамилии Панарин. У нее дроля в ментуре. Я с ней общался как с любой другой барышней, ничего особенного о себе не рассказывал. Раз поцеловал сдуру. Видно, Панарин ей похвастал мной: это, мол, важная птица! Она – своему дроле, свой дроля – начальству. А вывезли меня тепловозом через мостик на Украину. Очки разбили и прямо в грязных сапогах – прессовать…

– Кто – в грязных сапогах?

– Все… – усмехнулся он. – Туда лучше не попадать. В карцере крысе был рад, хлеб ей от пайки отщипывал. Заварку сухую есть научился – она не ела. Зато, керя, думать никто не мешал по десять-пятнадцать суток. Три года под следствием – хоть роман пиши…

Он говорил, что когда ехал сюда, на Алтай, хотелось изменить внешность. Но недостаточно изменить внешность, чтобы тебя не узнавали те, кто для этого призван на службу чувством долга, или романтикой сыскных будней, или стремлением к тайной власти над людьми. Лысину покрой театральным клеем и нахлобучь на нее красивый парик – это красиво. Сбрей усы, которые почти десятилетиями ублажали дамские взоры. Цвет глаз измени оптическими линзами. Купи дорогую трость с кинжалом в рукояти, чини этим кинжалом карандаши. Запоминается, как говорил Штирлиц, уводит от твоей сути внимание людей. Оно и без того рассеяно, разодрано, развеяно в прах зрелищем сноса Отечества. Заведи две-три привычки, необычных в глазах новых приятелей. Пей, например, пиво только вместе с кефиром или молоком. Эта отвратительная привычка запоминается. Публично кури марихуану, а водки не пей. Вместо марихуаны забивай в косяк чуточку нюхательного табаку «золотая рыбка». Или под видом кокаина втягивай в ноздрю измельченный стрептоцид. Да, сие противно естеству по вкусу и по цвету, но помни: тюремная пища и тюремный воздух куда как отвратительней. Засветись пару раз на панели с девушками нелегкого поведения. И ты прослывешь благонадежным, то есть безопасным для власти. Главное, изменить мелкие привычки, а это нелегко. Это полностью невозможно, *следовательно,* гаси их крупным мазком, экзотикой – прослыви неприятным чудаком, рыцарем без страха и укропа. И последнее. Забудь, что миром правит Маммона. Откажись от тоски по тем, кого считал друзьями, вождями и героями. Не рассуждай о грешных и праведных. Это поправит смятение души, которое заставляет уединяться от людей, чтобы уйти в свои неземные раздумья.

– Нам с тобой, керя, этих раздумий хватает, – сказал он в завершение рассказа. – И тут я тебе завидую: ты писатель… тебя-то Молдавия перестала разыскивать как военного преступника?

– Не хочу помнить, Коська. Перегорел я что-то. Так и есть – перегорел…

А вечером наше с ним интервью со сладострастным вниманием слушали опричные люди в местном отделении ФСБ. И кто знает, на чьей стороне выступили бы сегодня два матерых чекиста, очарованные в молодости светом служения Родине, а потом молча осознавшие, что служить надо народу, ибо он и есть – Родина. Однако обратного пути не было. Коготок увяз – все рыльце в пушку.

Народ же этот, как в долгую неласковую зиму или как щепка в мутный водосток, втекал в нищету. И молчал, обиженный сизарями, наивный бронзовый лох Маяковский, изрекший:

Лишь лежа в такую вот
гололедь,
Зубами
вместе
пролязгав,

Поймешь:
нельзя на людей
жалеть
Ни одеяла,
ни ласки!

Был, впрочем, в Китаевске местночтимый поэт-шелапут, который цинично восклицал:

Если нету в доме денег,
привяжите к заду веник,
черно с белым не берите,
«да» и «нет» – не говорите,
и не пейте, не курите,
Да смотрите, ой, смотрите:
денежками не сорите!
Ну а, впрочем, как хотите:
насорите – подметите…

Вы думаете, что по-человечески голосит пила, когда расчленяет дерево? Это голосит не пила – дерево, даже если оно уже лишено корней.

26

… Субботними зимними вечерами, когда за окнами расцветала морозная сирень, в горняцком «шанхае» назначался аврал. Те, у кого полы были некрашеными, скоблили их ржавыми тесаками до тех пор, пока не начнут источать древесного запаха. У нас полы были крашеными. Тогда суббота еще не была возведена в русскую жизнь в талмудическом ее значении, но синие, каленые красно-белым морозом зимние вечера субботы казались слаще сахара. И у нас после аванса и получки, дважды в месяц, собирались взрослые люди, чтобы играть. Они играли, смешно сказать, в лото или в известные всем головоломки, а поскольку таковых оказалось немного, то в компанию старались заполучить новенького, который не знает, как сделать, например, пятиконечную звезду из пяти спичек? А нужно надломить каждую пополам, плеснуть воды на зеркало и на его глади состыковать влажные основания углов. Или загадка: человека посадили в тюремную камеру, и ел он только хлеб сухой. Когда его освободили, то из камеры вынесли мешок рыбьих костей. Откуда кости? Оказывается, несчастный варнак ел хлеб-то с ухой. Или произносилась такая заковыка: когда на поле он пришел, поля кипели соловьями. Вопрос: кто пришел? Оказывается, пришел Наполеон, а поляки – те и пели соловьями. Ухохочешься над нашим салоном. Однажды в крещенский вечер собрались: тетя Аня с гармошкой-полухромкой, юная продавщица из чайной Ляля Наумкина с кавалером ордена Боевого Красного Знамени Сигутенкой, начальник снабжения Роман Захарович Штурман с не работающей никем женой Мусей, супруги Медынцевы и кое-кто из вездесущей публики, как дедушка Клюкин. Сидит как ни в чем не бывало и крутит отменные цигарки с махрой. Позже всех прибился на огонек и один из соискателей руки двоюродной моей сестры-сиротки Маши, бухгалтер Володя. Прихожей у нас не было. Дверь открывалась прямо в обиталище дома. Потому все замерли и стали смотреть на Володю и Машу. Его волосы были гладко зачесаны со лба к затылку и скреплены на том плацдарме гребенкой. Острие носа, как нож, целилось в горло моей бедной румяной сестры – Володя был горбат, бледнолиц и конопат. Длинные пиджачные руки его по локоть были взяты в поручи черных сатиновых нарукавников и заканчивались узкими пальцами.

– Здравствуйте, дорогие товарищи! – сказал этот конопатый воробушек.

– Здраствуй, здраствуй, морда красна… – прогудел кавалер Сигутенко.

– Ой, не гуди под самым ухом, а! – поморщилась Ляля. Она показывала свою власть над орденоносцем. – Ты бы лучше бы Пушкина бы почитал!

– Пушкина читать – ума не надо…

– Здравствуйте, Мария Васильевна… – продолжал соискатель.

– Здра-а-а-вствуйте! – улыбнулась нарядная сиротка, глядя на него, как и на всех иных, с добром и лаской.

– Вам! – он протянул Маше грампластинку в пакете с надписью «Апрелевский завод». – Это – «Чардаш» Монти!

Маша молвила:

– Монти? Чардаш? Вот это да-а-а!

«Ей бы, сиротке, главно, в люди выбиться, а тут целый бухгалтер…», «Да еще и, главно, не запойный! В «москвичке»[27], в костюмчике…», «В галошах, главно!», «…Ест, главно, немного…» – ехидно говорили о Володе мама с товарками, когда лепили пельмени. Красивой Маше было едва ли не шестнадцать лет, она училась играть на скрипке, потому что училась в китаевском музпедтехникуме. Отец ее умер от тяжелой контузии в новосибирском эвакогоспитале, а маму – тетю Аграфену – убило молнией, когда она шла с покоса и держала косу-литовку на плече. «Коса молонью-то и притянула…» – объяснял знающий дед Клюкин. А Маша стала жить у нас и притянула бухгалтера. Молоньи поблескивали в его рыжих, похожих на клопиков, глазах, когда он нет-нет да и глянет на нее с огненным вожделением.

– Сегодня я покажу вам живую кровь! – пообещал он Маше.

– Не на-а-а-до, – взмолилась Маша. – Я боюсь крови…

– Это совсем не то, что вы думаете!.. – Володя ловко скинул галоши, став еще приземистей.

– Нет, сначала пельмешки – потом кровь! Сперва пельмешки с уску… суксу… тьфу ты! – остановилась около мама с блюдом пельменей на руках. Это блюдо из мейсенского фарфора принесли с собой Медынцевы.

– С уксусом! – подсказал Володя и бесшумной тенью проскользнул к столу и выставил невесть откуда чарующей красоты темно-зеленую с золотыми позументами на черном бутылку советского шампанского. Все так и обмерли.

– Сухое? – в наступившей тишине спросил дядя Серя Медынцев.

– Сухое! – потер ладони, как муха лапки, Володя. Казалось мне, что с лапок на скатерть сыплется жемчужная, перламутровая пыльца, так все было сказочно и блестяще.

– Подделка… – ревниво сказал дядя Серя, взял снаряд в свои артиллерийские руки и поднес к лампе Ильича, зависшей над столом. – Театральная гаубица!

За столом уже сидели все гласные и негласные члены компании. И все они, привыкшие к вечерним играм, следили за артиллерийскими руками, словно ожидали нового аттракциона. Я сидел у печки и делал вид, что учу уроки. «Настоящий праздник! – думал я. – Впервые за

восемь с лешим лет жизни!»

– Настоящее. Брют! – возразил Володя.

– Врют, говоришь? Согласен! Врют! – сказал дядя Серя. – Так себе – разок резануть по утряне! – Но продолжал изучение. – «Московский завод… шипучих и шампанских вин…»

Тетя Ира курила, она оглядывала собрание с ободряющей улыбкой: смотрите на меня – и не переживайте. Но не замедлила сказать мужу:

– Поставь на место…

– Кого, тебя? Сейчас! – уточнил дядя Серя, но поставил сосуд с приговором: – Действительно, сухое!

Все перевели дыханье и зашумели.

– Это женщинам, женщинам! – щебетала тетя Аня, мать Светы. – Насыпайте, раз уж сухое!

– Кто откроет шампанскую? – звучал текучий голос тети Ляли с жеманными порожками. – Артиллеристы или полковая разведка? Штурман, рулите!

– И – эх! – выдохнула из грудных мехов тетя Аня и развела малиновые мехи полухромки.

– …полным-полна моя коро-о-обушка! Есть…

– Есть! – козырнул мой батя. – Есть пехота! И не хуже! – он выставил из-под стола водку за двадцать один двадцать. Водка встала рядом с шампанским, как утлый бухгалтер Володя рядом с красавицей Машей.

– Есть пельмени – они на столе! – сказала мама, одетая, как конфетка, в нарядное крепжоржетовое платье. Темно-вишневое поле и по нему малюсенькие букетики нерусских цветов.

Но утлый бухгалтер Володя ловко вывернулся из-за стола и, едва видимый, как паж за царской трапезой, раздал всем по конфете «кара-кум», говоря:

– Тебе, кума, кара-кума… тебе, кум, кара-кум… Тебе, Петр Николаевич… – он выдал мне грецкий орех. – Скоро в армию пойдешь! Завидую! Я очень хотел быть офицером, но в детстве мама не уследила, и я упал в подпол. В сумме, как видите, горбень… – И дальше так быстро, что не услыхал моего тихого «спасибо».

– Э-э! Когда Петручио с моим Юрханом вырастут, армии уже не будет как таковой! – сказал дядя Серя. И он угадал. То, что мы именуем сейчас армией, по сути таковой не является.

– А это – Маше! – он извлек из одежд плитку шоколада «Гвардейский» с оранжево-черным муаром на обертке.

– Ой!.. – сказала тихо наша бесприданница, заневестилась, заалела до слез. – Но мне еще рано замуж!..

– Да, к сожалению… – так же тихо сказал горбун, и зеницы его расширились, вспыхнули, как у колдуна Басаврюка. – Но я буду вас ждать… Вы – королева. У королевы должен быть горбун.

– Ха-ха-ха! – отметил печальную шутку кавалер Сигутенко. – А я вам песенку спою-у-у, как шут влюбился в королеву-у-у… – и пояснил: – Вертинский Саша!

Потом – шум голосов, звон стаканов и стопок, шевеление губ, движения рук над столом, улыбки дам с набитыми ртами и не набитыми еще лицами, чего, впрочем, в присутствии моего отца не случалось. Одна застольная игра переходила в игру на гармони, потом – в фанты, потом – головоломки.

– Володя, Володя! – жестами требуя от гостей тишины, взывала мама. – Вы обещали показать живую кровь!

– Ни сера хебе! – выпучил глаза дед Клюкин и просыпал махорку. – С ума стронешься!

– Не откажусь! – кивнул Володя, отлепив взор от Маши. Мне-то, грешному, казалось, что его клопики-глаза уже пьют Машину живую кровь. – Но пусть вначале то же самое – живую кровь – покажет кто-нибудь из почтенной публики! Прошу! Приз – шампанское!

– Ой! – сказала Маша, спрятав лицо за плиткой шоколада.

Ляля тоже зарделась, захихикала, пошепталась с тетей Аней. Та сказала «ща-а-ас прям» и поджала губы.

– Живую кровь? – с прищуром глядя на бухгалтера, переспросил дядя Серя. – Ты не видел, керя, живой крови? А если святым кулаком да по окаянной шее?! – Он стал закатывать левый рукав рубахи. Я видел дядю Серю в бане, и мне показалось, что из его рукава сейчас начнут сыпаться дробью шрамы, пулевые отметины, веснушки и родинки.

Володя, однако, не дрогнул, а сказал:

– По горбу, будьте любезны! Это не заразно!

– Но это же фокус, Серя! Рано ты развоевался! Я хотела еще бутылочку достать – теперь баста! – нахмурилась моя мама. – Все трофейные блюда перебьете, а я – отвечай!

– Я им перебью… – спокойно пригрозил отец.

– В том и фокус… – засмеялся дядя Серя. И все засмеялись. – Кто первый? – и рубанул себя столовым ножиком по предплечью руки. Все перестали смеяться. Но крови не было.

– Ох-х! – сказала Маша и снова спряталась за гвардейский подарок.

– Эх-х! – сказала тетя Ира, послюнила языком палец и потерла им белую отметину на руке мужа.

– Кто тут ножи точит, Ивановна? – спросил дядя Серя у моей мамы. – Гони в шею!.. Но шампанское будет моим!

– Ш-ш-ш… – шумно втянул носом печное тепло бухгалтер. – Штурман, рулите! Вы же хотите шампанское для мамуси Муси? – и выдохнул, как оперный тенор.

– Кто не гискует, тот не пьет шампанского! – ответил начснаб. Он возбужденно теребил шерсть, которая торчала из него по всем видимым полоскам тела. – Я не гискую, но гискну! – он царапнул указательным пальцем старый бритвенный порез на подбородке, но короста отпала тихо и бескровно, как осенний лист. – Дикость! – сказал он, глядя на свой белый

палец. – Зачем?

– Фу т-ты! – передернула плечами тетя Аня и нажала на пуговки гармони. – Маша, деточка, родная, сыграй на скрипке!

– Сто-о-оп! – остановил самодеятельность кавалер Сигутенко. – Живая кровь… живая кровь… Это в переносном смысле, да, Володя?

– М-м-м… – помычал Володя, обживающийся в центре внимания. – Не сказать, что в переносном. Нет, нужно показать свою настоящую живую кровь.

– Свою? Дак, может, Васю Чахотку позвать? – сказал дед Клюкин.

– Ой! – сказала Маша. – Лучше уж Тому-трахому!

Повисла туго натянутая пауза. Как тент. Как бинт.

Как кант. Как Ницше.

– Сдаетесь? – великодушно спросил горбун. – И шампанское пьем вместе!

– Сдаемся-а-а! – радостно, как победители, воскликнули компанейцы.

– Кто это сдаетесь? Мы – сдаетесь? – вяло вскинулся дядя Серя, которого никто не боялся. – Интеллиго на ляжках! Щас вот этим саксонским блюдом – да по башке!

Володя обнажил наручные часы «Победа».

– Засекаю минуту! Время пошло!

– Новый год, что ли, туды-т твою в растопырку! Куранты будем бить! – совсем смирился дядя Серя и почти что задремал.

Он едва не угадал. По истечении минуты бухгалтер строго посмотрел на лампочку Ильича, встал на табуретку, на которой сидел. Он сложил ладони чашей.

– Ё-ка-лэ-мэ-нэ! – изумленно сказала Маша, прекратив кормить меня вкусным волшебным шоколадом. – Что это он делает?

– Во, желтый дом! – проснулся дядя Серя. – Заучимшись! Обсчитамшись! Ты бы, керя, на стенку лез, а не на стол!

– Понял, когда пронял! – догадался дедушко Клюкин. – Он будет со стула диклумбировать стихи! Потом мужики почнут его бить – вот она те и жива кров! – и хряпнул стопочку при отвлеченном внимании компанейцев. – У нас все по графику!..

Володя же стал тянуть чашу рук к лампочке так, словно хотел бережно снять ее, наливную, и унести дорогим грушевым плодом в музей человеческого счастья. Все замерли. Руки Володи уже малиново вспыхнули живой кровью на просвет, когда дядя Серя рявкнул:

– Огонь!

Табуретка качнулась под Володей, он стал балансировать, как вспугнутый паучок на невидимой нити, и не вдруг рухнул всем телом в ушастые пельмени, как в тот подпол. Под ним

морозно хряснул трофейный фарфор.

– Ах! – воскликнула Маша, вскочила и кинулась к своему поклоннику, который лежал на столе, как рождественский гусь, и не колыхался. Из его клювика в уксус пельменей обильно шла живая кровь. – Помогите! Он неживой! – быстро, как во сне, говорила сестра и щепотями тонких пальцев тянула соискателя за вздыбленную спинку пиджака.

– Номер был смертельный! – сказал дядя Серя. – Называется «Гуттаперчивый счетовод»!

– Тьфу на тебя! – сказала супруга. – Помогай давай!

– Кговь, товагищи! Кговь! Муся – кговь! – завопил месье Штурм и рванул на улицу рвать.

– Он мне блюдо расхреначил – раз, пельменям карачун – два, а я ему и помогай! – удивился дядя Серя, но подергал бухгалтера за брючину: – Рота, подъем! Засекаю время! Время пошло! – и он торжествующе обнажил левое запястье с английскими часами.

– Какая под ём рота? – продолжал язвить дедушко Клюкин. – Под им батальён пилименей!

– Интересно, а кто заорал «пожар!»? Кто напугал балансирующего человека? – укорила тетя Ира, активно участвующая в стаскивании Володи со стола.

– Я сказал «огонь», а не «горим»! Не надо тут это ваше мулине!

Женщины водрузили Володю на ноги, подняли с пола гребенку и все вставляли ее в его оскорбленные волосы.

Володя стоял как на суде. На пиджаке, на лице его смешались уксус, кровь, слезы, выражение вины и мольба о прощении. Он плакал и говорил:

– Я старался, Маша… Я старался…

– Вот и… обс… обстарался… – заканчивал вечернее выступление дедушко Клюкин. Он достал кисет и пошел курить на крылечко. – Шампанство до добра не доведет! Вона мы браги, бывать, с Мишкой наварим, аж подошва к полу липнет. А прилип – уже с ног не свалишься… Что ваши моряки…

А Володя плакал:

– Ты никогда уже не полюбишь меня, Маша…

– Полюблю! – обещала Маша. – Не плачь, маленький! Игрушечка ты моя заводная!

– Как же маленький! Игрушечка-то у него, поди-ка… – сказал дядя Серя и так ему стало весело от своих фантазий, что когда тетя Ира била его по губам, он смеялся еще пуще.

– От те и дым по деревне! – сказала тетя Аня. – Горько, ли чо ли?

– Погоди, Анька, горчить-то! – сказал батя. – Давай, душка, по нашей по белоголовочке! Ну их!

– Кто Маша? Кто я? Я – игрушечка? Нет, нет! – рыдал Володя. – Нет, я не верю своему счастью! Его не должно у меня быть! Ма-а-а!…ша-а-а!.. Ты… ты… в тебе… в одной тебе живая человеческая кровь.

– Утереть жениху сопли! – скомандовал кавалер Сигутенко. – Умыть! Увести с моих глаз! Наливай!

Женщины заново накрыли стол, завели патефон, и веселье вспыхнуло, как уголья пожарища, на которое подуло ветром.

«… Сколько же лет тогда было *моим?* Помоложе были меня нынешнего. Почему звучит во мне, как птичье пенье поутру, это бедное на хлеб, но роскошное детство? Их уже нет, а я готов мстить за них, посмертно обобранных в дедах, отцах и детях. Почему? Почему мстить – это «не по-христиански», скажите вы мне, заброшенные могилы? Царство же вам Небесное, мои вечно взрослые добрые люди… Может быть, не они это, а я умер, и это мою обвалившуюся могилку занесло снегами… Может быть, в жизни важно одно – быть добрыми и строгими к детям в любой нужде. Где вы, родные и понятные мне суфлеры? Куда унесло от вас мою льдину? Зачем оставили вы меня одного на сцене и не приходите в зал? Вот я и сам уже иду к вам, распевая акафисты. Кто я здесь? Затем ли я родился от честных родителей, чтобы терпеть насилие над своими святынями? Зачем я, обессилевший уже, пыжусь в этой нечистой комедии о нищих? Затем, что хочу дышать по-своему и отказываюсь повиноваться требованиям квазигосударства, не хочу иметь с ним ничего общего. Посмотрим же, кто сильнее. Постоим еще мы с Коськой…»

Снова я чувствовал ту послемятежную, смертельную усталость, как эпилептик чувствует приближение ауры.

«Или уйти?.. У меня есть путь… Возьму Алешу – и навсегда в деревню. Прокормимся, с голоду не сгинем!»

Но только где он, Алеша? Я подошел к компьютеру, открыл почту. Ничего, кроме шального письма:

«Глас: всем

Просто прошу о помощи братья. Я сам к сожелению так вот получилось живу в сша, так тут русских просто ненавидят, меня оклеветал американец, так меня даже не выслушав бросили в тюрьму, позже я спросил, адвоката, что происходит, так он мне прямо сказал, мне не верят потому-что я русский, каждый русский у них это выходит бандит и его можно запросто обозвать факин рашин и бросить в камеру, вы представляете ребята, что здесь твориться и вернуться на родину не могу потерял гражданство и не пускают на родину. Вот так и мучаемся мы русские, надо всем собираться в кулак. Люди здесь злобные, продукты все на химии, ребята не дай Бог если янки придут в Россию!!!»

Орфография и пунктуация сохранены. Это не Гендын, это не в его стиле.

«Ваши янки уже здесь! – мысленно ответил я господину под ником «глас». – Ошибок понаделал, но слово «Бог» написал с заглавной буквы! Может, зачтется!..»

И тут затренькал телефонный зуммер… уммер… уммер… уммер…

27

Трехэтажный особняк с полуподвалом в деревянном нашем Китаевске считался высоким еще лет пятьдесят назад. На темном, марксиански красном кирпиче стояло клеймо горнаульского заводчика Балдакова, которого в первые же дни революции чекисты утопили в отхожем месте, а черемуху в палисаднике вырубили пулями из пулеметов. Их преемники, примерно раз в двадцать лет меняющие аббревиатуру, прочно обосновались с той поры в этом доме, глаза

которого были целомудренно зарешечены и зашторены. Все у них было другое. Даже аромат черемухи стал газом.

Случалось, что одно из окон китаевского отделения ФСБ слабо светилось ночами. Это работал член демократического союза писателей полковник Вельсапаров – мужчина с широкими в запястьях костьми рук и выпуклой полусферой лба. Внешне он был ярок. Но яркость эта опасно ослепляла людей. Она была оборотной стороной известной невзрачности сотрудников спецслужб. Тут у художника пошли бы в ход стронциановая желтая, каковой была кожа лица, и розово-красный краплак, чтобы передать цвет губ, и синяя лазурь на бритые щеки. Спектральные краски, возможно, даже бы и не понадобились. Он был метисом – смесью таджички-мамы и папы-афганца. К тому же чуточку косил на правый глаз, оттого что в детстве много читал, лежа на боку. И что бы ни говорил умствующий обыватель, а Григорий Климов ничего зря не брал в расчет, потому что многое в его «Князе мира сего» оказалось правдой.

С тридцать восьмого года в НКВД существовала инструкция за № 00134/13. Неспроста в ее номере дважды проставлено число тринадцать. Здесь были перечислены основные признаки дегенерации, с которыми дорога в «органы» и сниться не моги. Но времена менялись. Вельсапаров с его кишлачной внешностью был очень кстати на центрально-азиатском направлении.

Началось с того, что когда ему было восемь лет, семье пришлось уйти от гибели из Афганистана в Союз. Он привык к долгим отлучкам отца. Назывались они командировками. Однажды отец уехал и не вернулся. Лишь через много лет Курбан узнал о том, как и почему отец исчез навсегда.

Курбан поступил в педагогический институт. Он учился на учителя трудно – по ночам разгружал вагоны на угольном складе. К тому времени знал все тюркские наречия и фарси. По-русски говорил как хороший литератор. У него была врожденная способность болтать на чужом языке. В армии его направили в окружную разведшколу: стрельба, рукопашный бой, минное дело, радио. Позже и «гаврилку» – так он называл галстук – носить научился. Через год переводил оригинал Шекспира на русский язык. Он отучился в спецшколе, а тут и срок службы кончился.

Курбан уехал в Таджикистан и преподавал в горном кишлаке физику. Там женился на учительнице же, родились дети. И только навыки разведшколы начали забываться, как нарочным его вызвали в органы. Он бы не пошел на спецкурсы для «закордона», но ему рассказали о гибели отца-разведчика. Он чтил память об отце. Хотелось отомстить.

Для семьи и односельчан была придумана легенда, а его привезли в одну из центрально-азиатских столиц. Куратором Курбана стал полковник Эрастов. Он же и опекал шпиона Курбана в течение всей карьеры. Вместе были на войне в Афгане.

Возьмись художник живописать Эрастова, он извел бы много красок, а что в итоге? Лицо на портрете могло получиться похожим на июньское марево: пар – не пар, дым – не дым, вода – не вода, а туман в распадке. Лицо это, впрочем, имело все свойства воды: оно могло быть ледяным, текучим и газообразным. Эрастов был на шесть лет старше Курбана. В девяносто четвертом его с почетом изгнали из органов госбезопасности, сватали в милицию. Но уж он-то знал, какой подарок мечтает получить милиционер-чебурашка в день своего рождения. Не чеченскую бурку. Не девушку, в чем мама родила. Милиционер хочет, чтобы на какое-то время о его существовании забыло Главное управление собственной безопасности. Милиция – это бандиты в золотых погонах. Может, и были времена, когда под милицейской шинелькой часто и чисто билось идейное сердце. Он считал эти «органы» требухой. И вполне доволен был своим

местом в службе безопасности одного из крупных финансистов края. В кругах звали его Пал Палычем. Потом – Палычем. Потом – Палачом.

Новый президент вернул Эрастова на государственную службу генералом. Эрастов вернул Вельсапарова, о котором был слух, что тот погиб в высоких кавказских горах, но в высоких чинах. Легенда гласила, что погиб он, выручая сына, который воевал в составе батальона специального назначения 12-й мотострелковой дивизии Минобороны России. Это горная группировка. Старожилы госбезопасности не припомнят случая, чтобы в органы возвращали после отставки и пребывания в небытии. Но вот друзья вместе, как и прежде. Эрастов поставил ему стол в своем кабинете.

– Как раньше… – сказал он. – Пока ремонт не закончится…

Только раньше они беззаветно служили иному богу.

Но, может быть, он оставил свой стол в кабинете Вельсапарова, поскольку табличку со своей фамилией с двери приказал снять и переправить на новое место.

Это он положил перед Курбаном Вельсапаровым кипу бумаг.

– Изучай. Вычисли мне его срочно.

Курбан вникал в распечатки крамольных текстов, оставленных Эрастовым.

«Так… «Интервью с анонимным мыслителем»… Беззаветный герой… – с тоскливой иронией думает о мыслителе.

Мысли, как тихо пущенные бильярдные шары от борта, откатывались от текста и, кажется, не касались одна другой. Где-то за окнами заведения, на древних улицах, заваленных обильными снегами, жили и вымирали беззаветные, безответные герои.

«А что такое «беззаветность»? Нет ли связи с Ветхим Заветом? Не атеистический ли это «пофигизм», что называется? Или «беззаветные» – это безбашенные?

Так он включился и пошел в арабский язык и нашел там, что беззаветно любить, быть беззаветно преданным, беззаветно верным – «самозабвенным» происходит от арабского – *«инка:р аз-зава:т* – «самозабвение», «отрицание себя», где арабское *«инка:р», «отрицание»,* заменено русским «без».

Он остался доволен разминкой. Вопреки возрасту, полковник все же умел еще собрать внимание, как солнечный свет в линзу. Он вчитывался в высказывания «анонимного мыслителя».

«… Главные враги России – на самом верху. Они не берут взяток – они топят наши космические станции в океане. Они не задерживают выдачу лицензий на открытие «малого и среднего бизнеса» – они продают нашему потенциальному противнику стратегические запасы оружейного плутония. Они проводят реформы, ведущие страну и народ к гибели…»

«Все это я где-то читал…» – Вельсапаров зевнул и смущенно оглянулся по сторонам.

«… Никаких надежд на это государство я не возлагаю. Но я обязан драться. Благо у меня ни жены, ни детей…»

Это Вельсапаров берет на карандаш. Он пишет: «Вдов? Холост? Детей не было? Погибли?» И читает ниже:

«… Я за строительство людьми Райской Империи на земле. Я против строительства ада, где уродуют ангелов. Детей я считаю ангелами. И не по возрастной планке, а по той небесной данности, присущей от рождения Божьим детям. Я не считаю, что время, подаренное мне от рождения до смерти, нужно тратить на потакание своим низменным инстинктам – это некрасиво. Я идеалист еще и потому, что верю в силу и свет человеческого разума – это красиво. И единственно верным устремлением людей разумных я считаю их устремление к самоорганизации в государство, способное защитить красивое в душе человека, но никак не наоборот…»

«… Поискать по дурдомам…» – пишет Вельсапаров и думает, что одиночку может защитить только счастливый случай. Такой случай – он как одноразовый шприц. Одиночка не в состоянии защищать себя сам постоянно. «… Поискать среди наших отставников…. Не зри внешняя моя, но воззри внутренняя моя…»[28].

Он поправляет колпак настольной лампы и со вниманием читает далее:

«… Вся история Европы – ложь, лукавство, войны, грабеж и геноцид с двойным аршином. Германия полностью ассимилировала западных славян в течение почти тысячи лет, лишила своей идентичности поляков, чехов и словенцев. О жертвах гитлеровского расизма умалчиваю как об очевидном факте истории. Англия несколько веков потрошила Индию и Африку, вывезя из них огромные богатства, уничтожив огромное количество мирного населения, исказив самобытное развитие сотен разных народов. Испания и Португалия осуществили зверский геноцид народов Южной Америки, вывезя из нее огромное количество золота. США уничтожили индейцев, оставили кровавый след во Вьетнаме, Корее, Ираке, Панаме, а теперь намыливаются…»

«… Намыливаются?.. – занес в память Вельсапаров. – Ненормативное выражение…»

«…и на остальные страны. Русские же колонизаторы вкладывали в развитие присоединенных народов собственные деньги, жизнь и здоровье…»

«Верно. И что?» А вот что:

«… Единственной государственной формой выживания, существования и развития русского народа является империя. Исторический имперский опыт показывает, что народы и государства тяготеют к тому или иному центру силы, а т. н. «независимых» или «неприсоединившихся» стран просто не бывает, отличаются только виды вхождения и нахождения в составе имперских геополитических структур».

Полковник Вельсапаров не возражал.

«Удовлетворительно… – подумал он об Анонимном Мыслителе, как профессор о студенте. – Это верно… Но временно спасает не империя, а интериимпериализм. Похоже, мидовцев вполне устраивает, если интериимпериалисты-амеры скоро устроят парад на Красной площади. А мы им милости просим, ступайте! Как некрасовский Влас, который ро?здал свое имение и сбирать на построение Храма Божьего пошел…»

Полковник продолжил чтение.

«… Сверхзадача идеалистов – построение Российской Империи Всеобщей Справедливости –

РИВС. Русское государство должно строиться как многонациональная империя с абсолютистским принципом единоначалия первого должностного лица. Такое лицо отвечает своим именем в истории и будущим своих потомков за развитие государства. Модель государственного устройства на принципе разделения и независимости властей подлежит демонтажу, все ветви власти должны работать согласованно на выбранную генеральную политическую линию…»

«Где же она?» – записывает для себя Вельсапаров.

«Мы решительно отказываемся от коммунистической фразеологии, чего не сумел сделать классический сталинизм, и оперируем имперской риторикой…»

«… Неосталинист?..» – делает он пометку.

«… Марксизм как средство для достижения цели не годится по целому ряду причин. Здесь и кадры, которые решают всё, здесь и порочность людей у власти, но главная причина – это бездуховность учения Маркса, отсутствие над идеей Покрова Господа Бога. Государства, в которых квартируют современные люди, опасны для их жизни. Пора уже не удивляться тому, что родители со чада послушным скопом идут к расстрельной яме…»

«… Со чада! Посмотреть среди православных прихожан… Проверить священников и мелких клириков…» – мелкой прописью пишет полковник.

«… Сегодня наш оборонительный рубеж здесь. Наша очередная задача – провалить выборы мэра Шулепова на третий срок. Три срока пусть отбывает на Крайнем Севере. У нас, в Китаевске, двести тысяч граждан электорального возраста…»

«Ага! В Китаевске…» – выбирает он леску.

«… Их называют «целыми группами населения», а «поллстеры» оценивают степень сопротивления тому, что появляется в разных «Новостях». Мы расскажем китаевцам, как была запущена в ход эта лживая практика и кто несет за нее ответственность. Лишь две тысячи из двухсот живут не голодая. Наша первоочередная задача – помочь остальным ста девяноста восьми тысячам провалить кандидата в губернаторы от левацких бесов, именующих себя правыми. Шулепов – мошенник, убийца, забулдыга, невежа и рвань. Сынишка его Прохор – растлитель малолетних…»

«… Личный враг мэра? Эмоции – с пересолом. Посмотреть судебные иски к Шулепову…» – словно бодрым утренним ветерком уже освежило Вельсапарова. Так возвращается сыскной азарт. Так мастер выходит на ковер против юниора, чтобы размяться.

«Что еще скажем, романтики, влюбленные?» – уже как к знакомцу обратился он к еще неведомой жертве. Жертва пискнула и бесстрашно продолжала:

«… Почтовые ящики, троллейбусы, заборы, газеты забиты такой откровенной чушью, что многих китаевских избирателей уже воротит от одной мысли о демократических выборах. У нас радио на каждой кухне. Мы же будем сеять, потом пожинать нужные слухи.

… Бить врага его же оружием… Олигархическое господство в России заканчивается…»

«… Широкий лексический диапазон… – пишет полковник Вельсапаров. – … Анониму иногда становится скучно писать шершавым языком плаката. Переходит на суржик. Литератор? Журналист? Платный штатный сепаратист?»

«…самоизоляция, автаркия. Но не возникнет ли у населения чувство отшельничества, загнанности в карцер, как при Советах? У большинства – отнюдь. Во-первых, хлебнули и нынче знают, с чем едят либеральную свободу. Во-вторых, свобода – это ситуация, когда ты зависишь от самого себя и только в малой мере – от внешних обстоятельств. То есть понятие свободы совпадает с понятием автаркии…»

Стремительно вошел Эрастов. Он выставил на стол бутылку лимонного цвета водки, маринованный алтайский папоротник-орляк, выкатил из охапки упругие, как теннисные мячи, лимоны, швырнул пачку сигарет, как новую колоду игральных карт. Вельсапаров взглянул раскосо, сквозь – он еще работал. Генерал кивнул на тексты и сказал, усаживаясь напротив за стол:

– Прекраснодушные мечтатели. Хорошие ребята. Живут в мире, не имеющем ничего общего с реальностью…

Он достал из столового ящичка штык-нож, разделочную доску и продолжил:

– Говоруны, не вы… Им бы лишь бы посудачить, они все куда-то строятся. Так что ты скажешь об этих бреднях?

– Недурно. Но нынче этих программ – воз и маленькие нарты, как говорят алеуты.

– Это – грамотный идеалист… – понюхал из горлышка, а уж потом разлил водку потомственный чекист генерал Эрастов. – В идеалистических категориях рассуждать логично крайне затруднительно. Эмоции! В этих же записках ничего нового как будто и нет, но – нюансы!.. Но – страсть! Но – стройность! Душевное, чувственное наполнение! Доступность для понимания обывателя, опять же! Кто это может быть в нашем Китаевске? Хохол какой-нибудь?..

– Почему хохол? – рассмеялся Вельсапаров. – По-твоему, свободолюбивые хохлы все до одного пассионарные идеалисты? Идеализация – это, насколько мне известно, представление чего-то лучшим, чем оно есть в действительности, приукрашивание действительности. Кто он, этот валет? – Курбан посмотрел на бумаги. – У тебя есть невскрытая колода?

– Эх, дружбан ты мой Курбан! Поразбежались настоящие-то комитетчики! Вот и расхлебывай теперь, мил-друг Эрастов-генерал! – ушел он от прямого ответа. – Девушка в сауне спрашивает у голого генерал-майора: «Сколько у тебя звезд на погонах, когда ты одет?» Тот: «Одна…» – говорит. «Ну-у! Это мало!» – говорит она. И бросается на плечи с тремя лейтенантскими звездами. По сути вопроса – логическая ошибка налицо… А по-своему, по-бабьи, может, она и права…

– Ты это в связи с чем?

– В связи со связями, – Эрастов поднял граненый полустакан. – Давай, Курбан, выпьем за нашу встречу… За то, что мы живы, что вместе… За то, чтоб силы не покинули нас в этой войне…

– Прозит! – возгласил Вельсапаров, выпил и закусил диковинным папоротником.

Эрастов не закусывал – он ел как холостяк: он жевал, глотал, давился и пускал слезу.

– Посмотри сюда, на фото… – управившись с салфеткой, Курбан кивнул на свой письменный стол. – Не узнаешь?

По старинке – под стеклом на столе – фото моложавого мужчины средних лет. Как боа, шею

его обвивает пятнистый шарф. В уголке рта прикушен пустой курительный мундштук. Левый глаз с прищуром, наподобие птоза, от мнимого табачного дыма. Он похож на какого-то артиста старого кино. И, видимо, знает об этом сходстве.

– Да, радиожурналист Шалоумов, ведущий радио-шоу «Китай за углом». Это псевдоним. Настоящее его имя – Константин Евдокимов. Он – классный журналист. Работал в окружной газете Сибирского военного округа. Потом в «Звезде». Возможно, ты помнишь его по Кандагару. Мы все встречались на широте Иерусалима и северной Африки, Курбан.

– Нет. Я его не помню. Но шоу по радио слушаю. Вот о будущей партии нищих накануне слушал.

– И как?

– Я счел идею здравой. Действительно, сделать массовую партию в России можно. И партия нищих, Пал Палыч, ориентирована не на инерционную идеологию, а на динамичную идею. Надо учитывать, что настоящие левые, настоящие правые, настоящие либералы, настоящие националисты вытеснены как раз туда, к маргиналам.

– Вот-вот! Именно так. Набирается критическая масса. И нюх у этого Медынцева – позавидовать можно. Но, согласись, что было ощущение, будто… э-э… Шалоумов разговаривает сам с собой?

– Да, Пал Палыч, ощущение театральности, постановочности было. Но ведь и собеседником его был известный актер. Возникает нечто вроде индукции. Будем считать, что все выдержано в стиле шоу!

– Навернемся к Афгану, Курбан. Ведь я почитывал его опусы уже тогда, в Афгане. И тогда же он навел меня на мысль, что проникновенные бредни журналистов представляют собой бесценный клад для любой иностранной разведки. Исключая, разумеется, дезу.

– Эти записки – такая болтовня, – сказал Курбан. – Все это можно прочесть на заборах из окна любого поезда дальнего следования. Садись, поезжай и читай. Написано конкретно и вполне по-русски. Я уж не говорю об Интернете, и прочая, и прочая…

– Да! Но почему-то они, вот эти вот записки, оказались у грека Хары, а на него было совершено покушение! Похож этот спекулянт на неосталиниста? Нет. Но его стукнули кирпичом по организму так, что пришлось делать трепанацию черепа. Добрые доктора не могут сказать того, куда он теперь годится. Говорить пока не может. Так не продвинуться ли нам ближе к третьему тосту в связи с этим, Курбан? Наливай, брат. Ты здесь хозяин.

– Почему ты думаешь, что это покушение? Пойди по моргам, посмотри по мордам – что, на них на всех покушались? Ну да, дали по черепу, «сунули перо под ребро»… – справедливо сомневался Курбан. – Рылом не показался, слово не так молвил – получи…

– Тогда скажи мне: что заставило Ивана Георгиевича Хару, во вскрытом кейсе которого и оказались эти бумаги, среди ночи выйти из машины у мусорных контейнеров? Мне известно, что героическим поведением он не отличался. Об этом говорит и тот факт, что штаны его оказались полны, и запах от него исходил сильней, чем от помойки. Там же и в ту же ночь лежал начиненный дробью номер три мусор Слава Рыбин. А третьим в нечистой компании оказался вор Чимба. Что, скажи, свело этих типов на ночной помойке?

Курбан слушал.

«Вся страна нынче – ночная попойка…»

Он понимал, что после череды терактов, а иначе говоря – диверсий, спецслужбы зазнобило. В каждом милицейском управлении, в каждой службе ФСБ работают комиссии администрации президента с доступом ко всем документам, агентурным делам и делам оперативной проверки. Спецслужбы в ответ изображают боевые, полные опасностей и полунощных бдений будни. Вот и Палач взялся за Анонимного Мыслителя. При этом делает вид, что нуждается в аналитике.

Эрастов грыз кончик галстука и откровенно вычитывал мысли в глазах коллеги. Лицо его при этом выражало жалостное сочувствие.

Это была ночь за полторы недели до начала мэрских выборов в Китаевске.

Еще одна ночь от начала времен пересчитывала звезды над степью. Звезд прибывало. Врата Небес бесшумно раскрывались и пропускали на Страшный Суд сотни отлетающих душ, которыми убывала страна великанов. Какая же может быть всем нам мера наказания за теплохладность? Надругательство над Россией – безмерно. И, наверное, наказание уже пришло.

28

– Умер, что ли?

– Нет-нет! – говорила Наташа. – Не умер он, а пришел в сознание и дышит на ладан в кислородную подушку. Ой, я боюсь ужасно! Пионеркой была – так греков не боялась! А тут прямо – ой! Нет, не «ой»: бр-р-р! Ты, Петя, мой депресс-компресс! Пошли со мной, Петюньчик! Пошли, родной, а? Он, мой Ваня-то-капиталист, меня зовет, зовет. Жа-а-алобно: «Ау-у-у!» Ну не могу же я дедку – отказать! Это же, Петюнчик, негуманно, согласись! Он ведь крещеный, он ведь православный! Да, он эллин, а может быть, он иудей, но сказано…

– Остановитесь, девушка. Вы вот с Юркой ёрничаете, а у меня Алешка пропал.

– Да, да, ты мой петушок в самом хорошем, изначальном смысле! Если бы только знал, Петя…

– Помолчи. У меня нет сил на аферы, – прервал я говорунью.

– Боюсь! Мне кажется, он весь синий!

– Это я уже синий.

– Нет, ты белый, Петя. Клоун.

– Белый клоун, говоришь? Мне, красавица, за двое суток побега в родной Горнаул надоели ваши с вашим бывшим мужем аферы! Зачем я вам, некрасивый и белый? Всё! Я убегаю в степь!

– Да? Вот прямо так вот, доктор? Ай да ну! Ай да филолог ты наш! И на кого ж вы меня спокинули: и Грека, и ты, и Царь Бомбил[29] Всея Вселенной – бывший властелин меня *одноя?* Думаете, баба с возу – очередь за кобылой! Нет, я, конечно, понимаю: ты сохнешь по своей Анютке! Грека тает в антоновом огне, как Снегурочка! Царь аккатоне – так тот просто жулик! А я? Кто мне поможет? Где ваше чувство долга? Господи! И это русская интеллигенция! О, три Ивана – Грозный, Бунин и Шмелев! О! Таким ли, господа, вы видели в своих грезах…

– Наташка, перестань, а? Ну кто, скажи, на тебе, на такой… на неугомонной, женится? Всё.

Устал… – сказал я и положил трубку.

Но трубка тут же ожила, подобно греку Харе. С ума сойти, что ли?

– Я одинока, – сказала она. – Разве вы не понимаете, что я – одинока?

– Так бы сразу и сказала… – сломался я. – Мы же не бессердечные…

– Приезжайте ко мне в бункер, Ю! Ну-у-у! Мой китайчонок! Ну-у-у! Але-оп!

«Первая – колом, вторая – соколом. Будет ли третья?»

– Какое я вам ю! Кто вам нужен? Юрий?

– Ой, вы артист! Ха-ха-ха! Ну вы артист! Ха-ха-ха! Это же надо такое исполнить! Ну перестаньте, ради Бога, Ю, мой китайчонок! Берите же такси, берите шампанское, приезжайте и берите меня, наконец!

– Я – не Ю! – только и нашел сказать я, выдернул телефонный шнур из розетки и пошел на кухню с намерением выпить залпом стакан лимонной водки.

За окнами падал влажный, нежный снег. Es Schnee – на двоюродном языке нашего президента. «Шне-э-э…» Так сказал бы шепелявый русский: «Шне-е-ег…» И я выпью за шепелявого русского непрезидента дядю Сашу Шуйцына, которому не на что вставить зубы. Я налил до краев тонкий стакан, я выпил бы, но зазывно пропел позывные «русский с китайцем братья навек» сотовый. Я забил бы на это братство, если бы не ждал Алешиного звонка.

– Наталья на проводе. Поехали, а, керя? Туда – и сразу обратно. Я отвезу тебя на пролетке, – смиренно заговорила она. – Имеющий уши да слышит меня, пропащую.

– Да ладно, Наталья. Заезжай, керя, по холодку. Лед растаял.

– Милый! – чирикнула она. – Я внукам своим буду рассказывать, какой ты великодушный и благородный! Лечу! Volare!

Рука моя пошла к лимонной водке, но я остановил ее, как факир танцующую кобру. Тяжело перекрестился тою же рукою, упал на колени и через разумное усилие воли, спеша стал творить молитву.

– Господи! Дай мне с душевным…

«…с душевым, с душевым… в душевой…» – хихикал во мне лукавый.

– …с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело…

«…и повсеместно, и паки, и паки… како… тако» – бубнил лукашка.

– …дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня…

«рога, рога… рога… наставь…»

– … Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой

и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне, Господи, забыть, что все ниспослано Тобой…»

«…ой-ой-ой!..»

– Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей…

«…кто – твоя? где семья! ты да я… я… я…»

– …семьи, никого не смущая и не огорчая, Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи волею и научи меня каяться, молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать, благодарить и любить всех. Аминь.

Раздвоенность исчезла из неустроенной души. Я сразу же – в крепость:

– Отрицаюсь тебе, сатана, гордыни твоей и служения тебе и сочетаюсь Тебе, Христе, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

И – на засов, на заплот.

Только сейчас я услышал долгие очереди дверного звонка. Я потрогал небритый подбородок и летящим шагом кинулся отпирать.

– Иду-у-у, Ната-аха-а-а!

«… В дверях стояли Анна и запах вечного снега. Она близоруко, внимательно, пристально смотрела на меня сквозь затуманенные очки, моя Анна. Минус девять справа, минус восемь – слева. Она надела их, она боялась, что это, может быть, не я, а кто-то чужой. Она надела для выезда в город свою лучшую одежду, но забыла про линзы.

– Ох, ты! Анна!

«Уж не сослепу ли ты венчалась со мной, занудой?»

– В Кронштадтском Сне стреляли… – начала она с порога. Но тут же кинулась ко мне, руками, как хмелем, обвила мою шею.

– Петр! – и это ее «Петр» звучало совсем иначе, нежели Наташино «Петюньчик». Наташа – ведьма, Анна – веденица. – Зачем ты ищешь смерти, зачем? – шепнула она.

– Жизни, Нюра! Я жизни ищу! – смеясь, шепнул я, обнял ее бережно и ногою толкнул дверь…»

… Все это мне привиделось.

В дверях стояли Наталья и запах духов, названия которых я не знал, да и знать не хотел.

«Зачем мне это все? Бежать…» – в который уже раз решился я и поглядел в ее глаза. Они смеялись, они прятали смущение.

– Здравствуй, Петя. Я хочу тебе сказать, что ведь одно время… Помоги снять пальто! Одно время Шалоумов жил у меня…

Я помогал ей снять пальто, но она бестолково рвала с шеи шарф, будто решилась на отчаянный

поступок.

– Здорово! Без прописки жил, да? Как домовой, да? Знакомо.

Она протиснулась мимо меня в прихожую, которая когда-то была частицей этого *ее* дома.

– Не прописки, а записки! Какие-то его записки оставались. Похоже, я по ошибке отдала их Греке вместе с остальной канцелярией. Где они теперь? Кейс-то его пропал – обыскалась! В гостиничном номере его нет, в больнице – тоже…

– Не ищи, – вежливо посоветовал я. – Успокойся. И записки эти тебя найдут, и тебя найдут.

– А Шалоумов как же?

– Соврешь что-нибудь, Натаха…

– Кому?

– Всем. Вот скажи-ка мне, Натаха, как бывалый человек: что нужно делать, когда пропадают дети? Заявлять куда-то?

– Согрей меня! Стаканчиком чайку! И я скажу тебе всё! Всё. Эй! Ты где?

– Уймись, Наташа. Ты распространяешь вокруг себя бытовой цинизм.

– Нет. Я сею вокруг себя милосердие. Греке нужна кровь, – она постукала пальцем по своему локтевому сгибу. – Четвертая группа. А у тебя в жилах, Пит, она самая и есть! Так отдай излишки эллину Ванюшке Греке.

– Ага, спешу, как эмчеэс! Похоже, мало твой экс-хахаль русской крови выпил? Подсыпь ему педигрипала в миску или налей собачьей растишки! Совсем тявкать-то перестал? Жаль псину, жаль кобеля…

– Жалко, выходит. Трепанацию черепа сделали. Поправили там что-то в компьютере… Может, я за него замуж собиралась! Может, он мне никакой ни экс!

Я нервически засмеялся, вообразив, что при вскрытии черепа Греки в нем обнаружили доллары. Доллары взяли, а крышку черепа задвинули на место. Вот так прибывает нищих в Юркиных рядах. И этот мой смех длился бы до полного изнеможения, если бы мне снова вдруг не вспомнилась Анна с золотистыми по пояс волосами. Она покрывает стол праздничной тяжелой скатертью, тяжелые кисти которой свисают до пола. Она молится за меня перед великодушными иконами.

«Мама! Дай мне еще что-нибудь святое!» – просит Ваня.

Вырастет внук солдата, правнук солдата Иван Шацких, и его заберут на войну под свинцовые пломбы проливать кровь за толстую мошну Ивана Греки, внука купца и сына купца. Что я могу сделать против этого? И вдруг понимаю ясно: нынешняя война – не прежние войны. В ней победителем может быть лишь Сам Бог и те, кто исповедует Его. Бог уже все победил. Он попускает теперь злу раскрыться до конца с тем, чтобы испытать верных и явить в полноте Свою Пасхальную силу.

С этой мыслью я покопался в себе – и стало не так невыносимо одиноко.

Ни за фунт муки я отдал Греке шестьсот граммов своей благородной крови. Люди в зеленых маскхалатах, за которыми скрывали клятву Гиппократа, хотели выдать мне за этот глупый жест триста рублей денег. Я нескромно попросил взамен голик да веник, а их-то в ведьмачьей лаборатории не нашлось.

Пришлось возвращаться домой на такси, и я увидел обезумевший предвыборный город при свете тусклого дня.

29

Горнаул почти тридцать лет был моим главным городом жизни. Но обиды на близких пережить труднее, чем на посторонних. Это им, близким, ты обязан всю жизнь доказывать, что ты не гадкий утенок, а вполне приличная птица-лебедь. Ты из шкуры выпрыгиваешь, стараясь сделать это, но в лучшем случае они говорят:

– Ничего себе! Хорош гусь!

И не дай Бог тратить душевные силы на то, чтобы опровергать изречение: никто не пророк в своем Отечестве.

В Комитете госбезопасности менялись кадры, уходили на повышение. Новые кадры искали «проверенных врагов Отечества», чтобы «принять к ним профилактические меры», понизить, унизить и тоже уйти на повышение в свою очередь. А как еще в мирной жизни звездочку на погон получить? Хоть оборонительная гражданская война, да нужна. Отчего не повоевать безоружных? Гаси их да в толстые своды законов носом тычь. По своду законов его, вражонка, носом повозили и – под своды старинных тюремных замков типа тобольской тюрьмы с гнутыми карцерами. Весело жить ребятам с красными корочками. Я уже преподавал в институте, но даже комнаты в общежитии мне не давали, хотя в этот самый Крайком приходили письма из Союза писателей СССР за подписью самого Г.Маркова с просьбами устроить крышу над головой талантливому – да! не ниже! – молодому писателю Петру Николаевичу Шацких.

Я даже шутку тогда придумал:

«Иду обочиной, крайком. Вхожу, обидчивый, в крайком. Мне говорят: „Да вы об ком? Вам надо ниже, вам в райком“. И необычным пареньком иду, набыченный, в райком. Мне говорят: „Да вы об чем? Не стыдно, керя, быть бичом!“ Но быть бичом – и бить бичом, как стать жмуром и пить с врачом».

Они всегда презирали тех, кто от них зависит. Благородный человек переживает за вверенные ему в управление живые души. А хам во власти – презирает. Они, эти души, для него – мертвые. А выручали меня стройотряды да шабашки. Лето злишься – зиму веселишься. Мы с поэтом Стасом Ревенког на чьем доме теперь мемориальная доска, сплавлялись по горным речкам на плоту, ходили по горам в поисках мумиё, добывали мускусное вещество кабарги. Сколько гитар утопили! За эти деньги нынче можно на острова Фиджи пешком сходить. Друзья с телевиденья всегда давали мне возможность заработать. Я писал песни для документального кино и телепередач. Летом ездил на «шабашки». И обидно стало мне, писателю и преподавателю, зимой в студенческих общагах предаваться разврату. Ведь и с первой своей женой, Надеждой Юрьевной, урожденной Тюленевой, мы жили в студенческом общежитии. Мои песни уже пелись по всей стране, а не только пятью хорошими ребятами с чуть охрипшими голосами. Им-то в сладость костры по лесам разводить и мужественными ножами вскрывать банки с женственной говяжьей тушенкой. А я туризм по жизни невзлюбил. Как завалят песняры ко мне в общежитие бродячим цирком – и ну зверски петь да по-простонародному плясать!

Может, оттого несчастная Надежда Юрьевна, очень милая и привлекательная, и привлекла кого-то чужедальнего, а потом и детей с ним народила.

Отсюда, из Горнаула, мы с Юрой уезжали в Москву, где выходила тогда моя первая книга прозы.

Было начало августа. Я ждал вызова из редакции. Живу себе в том общежитии. Живу временно, как положено. Тут-то в один из дней убийские мои друзья – Игорь Гендын с Сергеем Габышевым – и привезли ко мне обещанного «одного человека».

– Посмотри… – говорят, – кого мы, убийцы, тебе привезли: талантливого артиста! Не дают ему, большому кораблю, большого плавания! Фарватер топляком забит! А тебя в Москве знают – вот, керя, и помогай своим! Ты же наш друг-надежда! – И ставят на стол четверть с домашним вином.

Вижу – а это керя Юра Медынцев за ними: молодой, белокурый, как прежде, с незамысловато затеянным лицом. Тонкий, стройный, рукопожатие крепкое, глаза голубые, как лен, а в глазах-то – ого-го-го! – такие бесенятки приплясывают, что тебе вдруг становится весело от этого их перепляса.

– Это ты, что ли, Петюхан? Сколько лет, керя? – спрашивает. – Сколько зим?

– Да уж лет восемь как, – отвечаю. – Ты где, керя, был-то? Как из китайцев в убийцы попал?

– Учился на артиста, – смеется Юра. – На одни пятерки. Охота, думаешь, тут с вами, с троечниками, баклуши бить? Для того нас отцы с матерями моченой веревкой пороли да нежными коленками на горох ставили? Для того мы махорку из китайской «фанзы» до позеленения детских ангельских лиц курили?

– Не для того, – согласился я. – Тут что-то не так, керя! Где-то нас кто-то нас, керя, обскакал на вороных!

– На вороных-то – терпимо! На драных козах уже вон… вон… они… скачут!

Убийцы жалостно кивали головами в сторону единственного моего казенного окна. Они были хорошие драчливые ребята, в игру включались как с ходу в бой. Выпили вино. Постановили брать Москву.

– Москва – за углом! – согласились наши друзья-убийцы. Хорошо, сердечно плакали, прощаясь с нами, как навеки.

– Чего плачете?

А еврей Гарик Гендын объясняет:

– Русская водка – она чем хороша, мила и проникновенна? Выпьешь – и поплачешь. Водка пронимает за небольшие деньги! Всю жизнь можно пить здесь, смеяться и плакать. Отчего ты думаешь у алконавтов глаза красные? От горькой. А знаешь, писатель, отчего коллега Горький тюбетейку носил? Нет? Так знай: это была не тюбетейка, а кипа!

Сейчас он сам носит кипу и работает таксистом в Калифорнии. Любит прерии и пампасы – потому что забыть нашу степь не в его силах. А, может, леса боится.

Я еще расскажу об этом.

Нынче город очужел. Агитки залили его, как парша, как репьи шкуру шелудивого безъязыкого пса. Как турецкая косметика, как ланиты старой вокзальной шкылды. Город мигал поворотными огнями дорогих авто, как азиатский растлитель детей мигает красными глазами. По городу еще бегали пиармалярши с агитштукатурами. Казалось, дай им небо – они шустро, ловко залепят его несмываемыми, как позор, листовками. Бумажные лохмотья, заплаты плакатов, вся ветошь этой макулатуры шевелила культями на ветру. Она была совсем непохожа на те деньги, что на нее потрачены и которые уже пятый месяц не выплачивают горнякам в Китаевском карьере. Она привычно вопияла о ледяной нищете, но вопль этот глушили кощунственные улыбки кандидатов в устроители народного блага. Они считают нас слабоумными.

– Остановитесь, молодой человек, – попросил я водителя, вышел на тротуар и взял из рук молодого прощелыги порцию агитстряпни.

– За кого будем голосовать, батя? – с развязной, жесткой доброжелательностью религиозного сектанта поинтересовался он. – За Шулепова или за Аристарха?

– Еще слово, пес, – и зарежу! – объявил я вместо «благодарствуйте». Он, не стесняясь прохожих, довольно громко пустил ветра, но уходить постарался пружинистой походкой. В машине я стал читать:

«Патриоты Шалтая», тираж 300000 экз., дата выпуска…

План олигархов очевиден:

– выжать Шалтай;

Р.: – Он давно уже выжат, чего жать-то? Одни народные слезы!

– набить собственные карманы;

Р.: – А вы, господа хорошие, в свои карманы заглядывали? Они у вас не набиты?

– пустить с молотка ваше богатство;

Р.: – Наше богатство уже давно с молотка продано. Покажите, пожалуйста, где богатство моих земляков, селян? У нас ничего нет, в отличие от вас.

– сделать Шалтай отстойником для химических и ядерных отходов;

Р.: – А как насчет сжигания двигателей твердотопливных ракет на полигоне в г. Убийске без ведома жителей края? А разрушенные склады с сельхозядохимикатами в районах края?

– олигархам вы нужны лишь в одном качестве – как чернорабочие;

Р.: – У олигархов чернорабочие получают больше, чем чиновники администрации края! Возьмите данные официальной статистики по заработной плате в организациях края. Самая высокая заработная плата в представительствах и филиалах московских и других иногородних фирм или где хозяевами являются пресловутые московские, питерские, новосибирские «олигархи». Где логика, господа? Делайте выводы, земляки! Мы же не Иванушки-дураки, какими нас считает действующая власть и заезжие московские политтехнологи, предлагая нам

такой примитив».

– Нихт ферштеен! – сказал я вслух. – Кте у фас прафта-матка?

– Иностранец! – весело отозвался водитель. Ему было чуть за двадцать, жизнь еще казалась ему бесконечно интересной, похожей на киноленту про какую-нибудь ушастую «бригаду». И в зеркальце он смотрел на меня с дерзким интересом. С панели же смотрела глазами святых мучеников и светилась благотворными цветами автомобильная икона. – Хочешь город посмотреть? Девчонок там… это… герлы… надо? Йес? Ощущений хочешь, чмо? Или ты политтехнолог?

– Интерпол! – сказал я. И полез в нагрудный карман куртки.

– Верю, верю! – бойко заверил водитель. Он отнял одну руку от баранки, чтобы второй показать на огромный портрет Шулепова. – Арестуй его, шериф! Это серийный убийца!

Под портретом хорошо читалась подпись: *«Прочь, москвичи! Шалтай я разворую сам!»*

– Вот это – удачно! – радовался жизни мой чичероне, как футбольный болельщик при назначении пенальти в ворота врага. – Это сильный ход! Шулику давно надо было просто покаяться в грехах: люди у нас отходчивые, простили бы шкуру! А теперь все, момент упущен! Тебе как шерифу сообщаю: его мэрская банда прикрывает торговлю человеческой кровью и органами! Дыма без огня у нас не бывает, не знаю, как у вас там, в Кентукки!

– Мы в детстве тоже звали эту собаку Шуликом. А он оказался шулером… – сказал я, закуривая «Беломор». На водителя это произвело сильное впечатление: он едва не выехал на встречную. Его замутненный классовой борьбой взгляд посуровел.

– Кровопийца еще тот, корефан ваш, дитя полей и друг колхозных пашен! – сказал он, будто скрипнул тормозами. Тоже закурил. – На нем вещей штук на двадцать баксов, а он нам – о справедливости. И всю эту лабуду – с пламенным взором, с огнем правды в глазу! Вон, смотрите! Куда наши простые дети пропадают? Не знаете? А их на запчасти пускают. Кровь разливают по канистрам – и на нужды пузанов! Вон, вон, смотрите! – он сбросил газ. – Уже месяц вот эта шняга ходит по городу, а результат – по нолям…

Борт оранжево-солнечной, как мечта эскимоса, маршрутки, был похож на Доску Почета.

– Что это: городская стенгазета? Семейный альбом завгара? – спросил я.

– Какие нынче завгары? Это – фотографии детей! Это чьи-то дети! Они пропали без вести, как на войне.

«Алеша! – снова ударило меня в контуженую голову. – Алеша!» – И, наверное, я произнес это вслух, потому что водитель отозвался:

– Что?

– Жми на газ!

– То-то! – сказал он. – Этот номер не для слабонервных. Слабонервных – в туалет! – он оказался лютым сторонником Анпиратора, Царя нищих всея Вселенной Юрия Первого Медынцева. Он закатил страстный, почти актерский монолог на всю недолгую дорогу до моего бункера.

– Слышали, что Медынцев по радио говорил? Вот за кем идти надо! Вот кто победит на губернаторских выборах! Он так и говорил: мол, кучка каких-то обезьян правит огромным, как слон, народом! – заговорил он так, что между словами – иголки не просунешь. – Как же! Имперский народ! Пока лохи чешут репу над глобусом Кавказа, какой-нибудь Аликхеров качает сибирскую нефть, а какой-нибудь Елбукидзе приватизирует ихний, лоховый, меланжевый комбинат. Но когда лох кончает протирать штаны и отрывает близорукую морду от контурной карты своего сопливого пятиклассника, то он начинает протирать глаза: ма-а-атушки, карау-у-ул! Где, мол, мои чемоданы?! Отдавайте взад! А тут в телевизоре появляется рыбья голова какого-нибудь понимальщика и объясняет лоху, что ты, мол, дорогой, живешь в колонии общего режима. А чемодан вернем, когда откинешься, – он в Стабфонде! Тебя зорко стерегут с нефтяных вышек. Тогда лох кричит: «Не верю!» – и опять склоняется над контурной картой России и снова начинает чесать репу! А там уже вошь батальонами окапывается, и эти батальоны жалобно просят огня!

Люди у нас в Сибири остроумные. По данным бюро Левады, из десяти – девять остроумцев. Конечно, Левада – не Левитан, но что-то левое в их фамилиях проскальзывает и роднит этих художников. Водитель, похоже, плотно вошел в образ и стилистику Медынцева, как совсем недавно я, но мы уже подъехали к моему странноприимному дому.

– Я православный христианин, – сказал я вежливо. – Как Господь Бог рассудит, так и будет…

– А я кто, интересно? – он кивнул на икону. – Это что, по-твоему: портрет дедушки Мао – защитника угнетенных кулями с рисом китайских кули? Кем бы ни был человек, запомни, иностранец из Тамбова: имущему всегда прибавляется, а у неимущего отнимается. Драться надо, отнимать у имущих награбленное. Или ты не настоящий христианин, или ничего в своей вере не смыслишь…

– Да ты рули, керя, рули! – начал закипать я. Детство, проведенное в каменном карьере, никогда уже не даст мне сделаться лощеным джентльменом. Прочти я еще пятнадцать томов умных Сартров с Фукуямами, но карьер – мои мидасовы уши. – Ты, керя, знай свое дело. А по поводу христианства объясняю: любой христианин может всегда сказать, что он не вполне христианин. И это будет чистая правда. Полный христианин – это человек, верующий в Христа, без греха, без греховных помыслов и обладающий вселенской любовью к каждому человеку.

– Нет! – сказал он горячо. – Я таких богомолов, как ты, не люблю… Богоискательством надо заниматься в свободное от работы время. А пока работа наша – освобождение от ига. Особенно, когда на работе работаешь не по специальности! Я вот МИФИ кончаю – и что?

– Кончай эти провокационные разговоры! – терпеливо говорил я. – Не на то тебя учили!

– Смиренные! Перед чем – смиренные-то? Вспомни патриарха Гермогена! Пупсики, мль… Вот-вот… Отдыхают они от суеты мирской. Один дядя мне рассказывал, как на войне фашиста голыми руками задушил. Представь, что он сказал бы вдруг: «Ну, чего ты, многоуважаемый Ганс, ко мне прилип? Не видишь, я устал с тобой в этой грязи кататься, перекур!»

– Помолчи, парень. Я не богомол. Но и не червонец, чтобы всем нравиться, – вспомнил я классику. – А ты под обстрелом бывал, олух ты Царя Небесного?! Вот и заткнись, как девушка толстой немецкой сарделькой!

Так могут поссориться два русских человека. Когда я протягивал ему деньги, руки мои еще тряслись.

– Они не от жадности трясутся. Это тремор после контузии, – сказал я с примирительной

улыбкой. – Я пошел. Прости меня, сынок…

– Иди, батя. Бог простит. И ты меня прости! – отозвался он со всей сердечностью.

Так могут поладить два русских человека. Мы ищем правду, которая никуда от нас не пряталась. Когда Бог зовет к ней – никто не отвечает. Когда Он говорит – никто не слушает. Не можем мы любить эту правду так, чтобы прикосновение ко лжи стало для нас невыносимым, как прикосновение к падали, где бы мы с ней ни столкнулись. А есть ли она в нас-то самих, правда?

Впервые в жизни меня неудержимо повлекло на исповедь..

Лифт застрял между этажами. Когда я вошел в квартиру с острым желанием посетить санузел, то обнаружил в ней большую разруху. Когда же оказалось, что в компьютере пропал жесткий диск, то понял – был обыск. Интересно, кого они обыскивали: меня или Медынцева? Кто эти «они»? Положим, я не могу представлять никакого агентурного интереса для кого бы то ни было. И никакой опасной для режима информации на диске не могло быть. Но любой человек может серьезно пострадать в результате недоразумений, которые лишь кажутся недоразумениями. Он может долго и тщетно оправдываться после произвольной трактовки спецслужбами его оперативных данных. Или из-за того, что некий файл содержит неправильные данные, с которыми он, обыватель, не согласен. Но без обращения за помощью к очень дорогим адвокатам изменить бедолага ничего не может. Казенным дядям нужен крючок, они его ищут. Не молдаванская же разведка из Кишинева продолжает меня разыскивать за бои в Приднестровье. Кто знает? Клика сдает всех, кого попросят обиженные младшие братья. Говорят, замиренная Чечня требует у «питерских» выдать ей на суд какого-то русского сапера-контрактника. Они и выдадут. Не посмотрят, что сапер – профессия тихая и благородная: продадут ни за рубль двадцать. А может быть, прошедшая радиопередача расшевелила местных опричников? Или это охота на Коську? Или страху нагоняют?

Вот и поди узнай, где доведется исповедаться, керя.

Часть вторая. Ночи ворона

1

По сути, я делался занудой и внутренне одиноким дядькой. Не окончательно, но уже опасно одиноким. Бывают, выходит, случаи сумасшествия и от счастливой любви.

Уже четвертый день я живу в Китаевске. С болью сердечной вспоминаю лицо спящего сына. Сплю в обнимку с радиотелефоном, но Аня не звонит. Алешка не возвращается. К его поискам я пристегнул всех своих значительных знакомцев. Сам стою как на посту и все смотрю в окна.

Идет пора сиреневой зимы. Гнетуще метет сыпучие снега с юго-востока, со стороны Свято-Духова женского монастыря архиерейского подворья. Два с половиной века тому, как он был поставлен русскими поселенцами и казаками для защиты от набегов джунгарских каганов. Тогда деревянные церкви пришли на богатый Алтай вместе с преподобным Макарием. Гражданская война здесь закончилась позже, чем в России. Опытные уже богоборцы дружно накинулись на степные монастыри, миссионерские станы и часовни. А после войны с Германией в крае и вовсе-то осталось три храма: Покровский собор в Горнауле, Успенский собор в Убийске и Михаило-Архангельский храм в Бубенцовске. Каганы были здесь. Они никуда не уходили. Но храмы снова росли и сходились, как пальцы в щепоть, которая сильней кулака потому, что люди творят ею крестное знамение и ею же кладут малую копейку в

кружку для пожертвований. Вот и моя Аня со ящичком для сбора пожертвований все ездит, наверное, на лошадке по степным деревням.

… Однажды родитель водил меня в цирк на сцене. Мне долго снилась потом артистка неземной, по моим представлениям, красоты, блестящая, как змейка, в черной парче с чешуйчатыми блестками. Через голову она ловко снимала с себя кольца огромного удава. Кольцо за кольцом падали к ее ногам. Это зрелище слилось в моем сознании с образом моей Анны-храмостроительницы. Не я ли этот удав? Или отец Христодул, терзающий ее послушаниями? Я еще раз убедился, что ничего случайного в судьбе нет. Отстранившись от единственно уже родных, я понял, как мне мнилось, истинные причины своей внутренней смуты и ехидного письма к о.Христодулу: похоже, я спасовал перед стоящим делом. Не потянул. Зажил в слове, ушел из живой жизни. Наверное, силы мои ушли в бумажные слова, и слова подменили дело. Что во мне безвозвратно крушилось? Что?

«Я красиво замощу дворик перед храмом. Как в Яровом…» – ворковала Анна, ясная и понятная.

«Замостит, блаженная…» – верил я. Но говорил отчего-то:

– Да. А потом ты возьмешься за возведение сакрального центра русского мира. И там тоже дворик замостишь. Моими мощами…

Упрямство, раздражение, обида! На что? Ей было больно слышать это, но она знала обо мне что-то, чего не знал и, может быть, никогда не узнаю я сам. И терпеливо продолжала, прикрыв узкой розовой ладонью мой рот:

– Конечно, ты моряк красивый сам собою. Но – моряк. Ты видишь во мне только барышню.

– Наверное, барышня, – сказал я. – Такие уж, Нюра, у меня диоптрии. Я и не делаю из этого тайны. Но мне жаль тебя. Простуженную, с красивыми ногами, которые болят! Тобой попользуются, выжмут живые соки – и вышвырнут из того храма, который ты построишь. Ты взяла на себя непосильный труд…

– Тебе себя жаль, Петя. Радовался бы, что Бог дал тебе благочестивую жену.

– Слава Богу! Кто ж возразит? – соглашался я. – Да. Мне жаль и себя. Тоже. Муж и жена – плоть едина.

– «Благодарение блаженному Богу за то, что он сделал нужное – нетрудным, а трудное – ненужным».

Цитирует Григория Сковороду по памяти. А я уже говорил, что у нее на все был ответ. Она жила по простым писаным законам. Овца – что еще сказать. А сказать хочется. И однажды я сказал ей жалящее:

– Вот вычитал недавно, что некая Агнесса Бланбекер считалась святою в Вене во времена некоего Рудольфа Габсбургского. Однажды Христос явился к ней и приготовил на кухне рагу из молока и миндаля. Видение ей, болезной, было. Дальше – больше: ей явился совершенно голый монах, голый, как на призывной комиссии, и стал ее перстом-то манить: кс-кс-кс! Но это, как она объясняла, означало золочение церкви…

– Ой, Петенька-а-а, хорошо, что ты мне напомнил! Надо искать миндаль для теста! Скоро Пасха, а у меня по сусекам, Петенька, – колобком покати! – но, видно, смутившись своим невниманием, она сделала заинтересованную мину. – Инесса Блокбастер? Интересно… Но

чувственный натурализм чужд христианству. Ты мне еще про богохульные откровения бесноватой Анжелы из Фолиньо расскажи…

После разговоров, подобных этому, супружеская страсть моя остывала.

«Вот такими были они, советские общественницы, – они из орлят… Всё летать учатся!» – подавленно думал я, когда она ненадолго забегала домой и шумно отфыркивала воду под уличным рукомойником, распевая при этом тропари так громко, что воробьи от собачьей кормушки отрывались и волнительно подчирикивали».

«Она из орлят… Есть такие птички, – подумал я и даже записал себе в книжку, что делаю теперь нечасто: «Супружеская любовь – всего-то навсего домашняя певчая птичка. Серенькая пичужка, готовая петь в клетке. Птичка поет и не замечает, что умирает. А ведь она просто звала пару. Ты уморила птичку одиночеством в чужом доме, без воды, без пшена ярого – мне жаль птаху».

«А проще нельзя? – спросил я себя. И ответил: – А проще вороны каркают!» На том успокоился.

Сам ее, Аню, такую выискал, ища подобие правды во мраке, зная, что в человеческом сознании ежесекундно идет раздор между порядком и хаосом. Хаос предпочтительней – там никто ни за что не отвечает. И впервые после сказок детства я встретил столь высоко парящую над обыденностью человеческую душу, поселившуюся в живой, красивой, огненной оболочке. Я искал ее. Вот она, не родственная – родная моя Жар-птица, никакая не овца. Но не вмещается в мой формат. А ведь у меня нет людей ближе, чем они – Аня да Ваня. Сын наденет на плечи полотенце, как епитрахиль, возьмет кропило и ходит по дому священником.

«Мамочка, – говорит, – дай мне еще что-нибудь святое!»

А я, похоже, к этому не готов, потому что во многом, как оказалось, не верю своему счастью. Я еще достаточно силен, чтобы не ревновать. Но ревность – она рождается и умирает вместе с человеком. Вот меня и спровоцировали, разбудили самые темные, дремучие инстинкты. Мутная обида, как деревенский соседушко[30], давит меня и во сне. Но ведь обидеть можно только того человека, который ждет, чтобы его обидели. А я переживаю мнимое, как псих. Вижу мир таким, каким его представляю, а не таким, каков он на самом деле. Искаженное эхо прошлых контузий здесь ни при чем. Аня права. Действительно, бесы атакуют меня, маловера, по всему фронту души. И мало мне молиться о прибавлении ума – о спасении души бы молиться и дни, и ночи. Вот и отец Глеб разглядел во мне печаль. Он выслушал мою исповедь как-то дорогой и сказал:

– Эх, ты, мой родный Петя! Ты, милок, займись быстрее своей душой! Любовь – это ведь не «ты – для меня», а «я – для тебя»… Возьми, отличи-ка ты ее от самолюбия? Отличишь – и воздастся! Увидишь: бывают и счастливые брачные союзы, Петя! Упражняйся в вере, пока не будешь непрестанно ходить в страхе Божьем перед Живым Богом, пока дарованная тебе за духовные труды любовь не затмит весь мир! И только Христос будет освящать твой путь и говорить тебе, и благословлять тебя! А священник-то он – кто? Он тоже грешный человек, из глины сотворенный. И среди нас много лжепастырей, только совне облаченных в церковные ризы, наперсные кресты и драгоценные панагии, а изнутри растленных безверием. Но у каждого свой крест и свой ответ перед Господом, Петя. И давай, дитенок, нести свой крест со смирением и истинной верой…

Отец Глеб – это взор, сочетающий в себе тревогу и доброту, строгость и уважительность. Взор неизменно ясный. Легко смотреть в эти синие глаза, где нет дрожащей дымки полуденного

миража, которую принимают за струение прохладной воды на горизонте. Можно идти к этой воде из последних сил, но никогда не утолить ею жажды. Выражение глаз этого седого ребенка не живет отдельно от его слов:

– Никакая мистика никому ничего не объяснит, родный мой дитенок. Все просто: кто может веровать, тот верует. Другие, Петя, ищут объяснения. Еще раз говорю я, недостойный: займись своей душой, ибо, неровен час, ею займется лукашка!

– Эх, отец! Родной! Научи, а?

– «Говорите, «да – да» или «нет – нет», а все остальное от лукавого», – учил Христос.

Легко ли этак и чтоб – без грубостей? Вот кто сейчас позвонит? Позвонила беспамятная, тихая и благовоспитанная, ставосьмилетняя уже старушка Раиса Терентьевна Ромоданова, которую о.Глеб соборовал на Великопостной неделе прошлой весной. Я ему сослужил. Соборовалась она в полном сознании. Оклемалась. И увидела во мне какого-то своего родственника Сережу времен Российской Империи. Она стала спрашивать:

– Сереженька, а Леня умер? А Шура умерла? А Фрося умерла? – и так по всему Синодику.

Я красным, как мятежная гвоздика, маркером крупно записал на оберточной бумаге номер своего телефона, скотчем прилепил к старушкиному холодильнику: «Звоните!» – говорю. Вот она интересуется, бедная, с тех пор.

– А Семен умер? А Нифантий умер?

Вначале-то я говорил с ней, как с человеком вменяемым, но – увы! – когда ее любознательность стала меня доводить до дрожи в руках, я принял простое решение.

Уже с полгода я ей отвечаю, что все, слава Богу, живы и здоровы: Семен стал космонавтом и живет теперь на Луне в трехкомнатной квартире со всеми удобствами. Эра освоения космоса. Нифантий хворал. У него случилось воспаление легких, но с Божьей помощью оздоровел, и сейчас работает пионервожатым в Артеке. Фрося вышла замуж за лесника из Канады, собиралась к Раисе Терентьевне в гости, но у них случилось затмение Солнца. И самолеты перестали летать в заграницу.

– А кто, Сереженька, сейчас заграница: мы или они? – спрашивает милейшая Раиса Терентьевна. – Мы где, Сереженька, живем? Еду приносили – не сказали.

Еду ей носят внуки внуков – много ли ей надо? А квартира всем нужна, пусть с прозрачными, как границы, стенами.

– Семьдесят лет мы, Раиса Терентьевна, жили в стране под гнусным названием РСФСР.

– Семьдесят лет?! – удивляется она.

– Семьдесят лет с хвостиком. Теперь на нас еще более гнусная татуировка; ЭсЭнГэ. Живем, как жулики во фраках, на европейском пляже – стыдно тельняшку снять. Границ, Раиса Терентьевна, нынче как таковых нет. Они прозрачны. Скорее, призрачны. А живем мы нынче в ЭсЭнГэ – стране без границ, Раиса Терентьевна.

– Это что, Сережа? Мне других-то стыдно спросить, ангел вы мой…

– О-о! Это коло-о-ония, Раиса Терентьевна, боль-ша-а-ая зона.

– Неужели всех переселили?

– Да, да: в одну ночь Беловежской пущи. Солдаты, овчарки, чемодан – вокзал – ЭсЭнГэ. Вот так, Раиса Терентьевна. Вы спрашивайте, не стесняйтесь…

– Вы один со мной и разговариваете, Сережа! Вы воспитанный юноша. Пажеский корпус – это… Господи Иисусе! Слава тебе, Боже! А кто руководил эвакуацией, Сережа? Не Стол… пов, ли? – Видно, легкий шок от удивительного переселения освежил ее память. – Не Петр ли Аркадьевич? Он ведь, кажется, умер?

– Нет-нет, Раиса Терентьевна. Не Столыпин. А он – он действительно умер, он погиб. А руководили выселением два сержанта и один рядовой необученный, причем беспалый!

– В-о-от как! А что, Государь-то Император разве умер?

– Наш Государь Император со всем семейством теперь в сонме святых. Они великомученики. Все они стали жертвами ритуального убийства, Раиса Терентьевна. Но вы не отчаивайтесь, Фрося-то жива, Нифантий, стало быть, тоже жив…

– Не боятся люди Бога, Сереженька…

– Бог смиряется перед человеческим произволом, дорогая Раиса Терентьевна. Ну что может сказать Отец тем детям, которые просто не хотят Его знать?

– Да, Сережа. Да, умница вы мой. А Лаврентий Павлович – умер?

– Берия, наверное?

– Да, да, Сереженька! Кажется, Берия! Красивый лезгин такой! В пенсне!

– Нет, он жив, Раиса Терентьевна. Работает в Киргизии чабаном. Врачи прописали ему высокогорный воздух… Астма у него, старик ведь уже! А курил-то всю жизнь сигареты «Памир»! Помните, сигареты «Памир» – мужик с палкой?

– М-м-м… А этот мужик с палкой – умер?

– Нет. Он теперь самый главный из всех мужиков – у него же палка! А ни у кого больше палки нет. Его зовут Джордж Буш. Он член ордена «Череп и кости».

– Какой ужас! Че-е-ереп…

– Это – . фигурально выражаясь! – говорю я, чувствуя, что перегнул палку. – Не бойтесь, Раиса Терентьевна: нас надежно охраняют Силы Небесные…

– Авиация?

– Почему авиация? Авиация умерла. Покров Матери Божией, Пресвятой Богородицы…

– Ах, да, да! А стихи, Сережа! Прочтите мне свои стихи!

Она – моя самая терпеливая слушательница.

– Слушайте, – сразу же соглашаюсь я.

Неугасимо горит лампада
в соборном храме!
Ах, рассказать бы про все, как надо,
умершей маме!
В соборном храме Ксиропотама
поют монахи.
Поют монахи – ты слышишь, мама? —
в священном страхе.

Паникадило и круглый хорос,
орлы двуглавы…
Неугасимо горит лампада,
горит, качаясь…
Когда-то было: младая поросль
в зените славы
С утра – ко храму, твердя молитву,
в пути встречаясь,

Никто не ведал, никто не видел —
плескалось масло,
Оно плескалось, переливалось,
не зная края.
И следом – беды, как те акриды,
и солнце гасло,
И конь у прясла все ждал хозяев,
уздой играя.
Изогнут хорос, как знак вопроса,
под гнетом мессы.
Младую поросль секут покосы —
играют бесы.

О, как мы слепы, людское стадо!
Но всяк ругает:
То – ясно солнце, то – сине море,
вино ли, хлеб ли,
Кто ж наделяет огнем лампаду?
Кто возжигает?
И снова масло краями льется —
но все ослепли…

Поют монахи… Поют монахи…
Коль слеп, так слушай.
Запрись, дыханье, утишись, сердце, —
Дух Свят здесь дышит.
Святые горы, святые хоры,
святые души…
Не слышит разум. Не слышат сердце,
ничто не слышит…

Горят усадьбы, как в пекле ада —

ребенок замер.
Гуляют свадьбы. Плюются в небо —
ребенок в двери.
Ах, рассказать бы про все, как надо,
умершей маме!
Да на Афоне я сроду не был —
кто мне поверит?

Я был поэтом. Умру поэтом
однажды в осень.
И напишу я про все про это
строк двадцать восемь.

– Ах, нет, нет… – плачет она и просит: – Нет. Вы не умирайте, Сереженька, мон ами! Не умирайте!

Я возьму и тоже заплачу тихонько – плохо ли поплакать легкими слезами да вместе с гранд-дамой из позапрошлого века? Но Раиса Терентьевна тут же:

– А Леночка – умерла?..

Такой я разбитной психотерапевт.

Кому-то содержание моих бесед с простодушной старушкой покажется издевательским. Это не так. Я говорю с ней, как с ребенком, которому нужна сказка на сон грядущий. Иногда я скучаю без звонков этой счастливицы. Забыть все – разве это не крупный фарт? И можно ли говорить с Раисой Терентьевной всерьез? Мне только прикоснуться к этому огромному, вековому забытью, заглянуть в бездну и – отшатнуться, смеясь. Нам весело – и ей, и ее Сереженьке, и мне, грешному. Все у нас живы – вот что главное. Премудрый Царь Соломон сказал: «Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, – и Бог воззовет прошедшее». Я, образованный незнайка, соглашаюсь с изречением, покуда на временном лице меня самого или на лицах моих близких не мелькнет бледный лик смерти.

Тут – крах всем нажитым премудростям. Я забываю их, как Раиса Терентьевна забыла свою столетнюю войну. Потому что я еще живой и еще грешный человек. Потому что *свои* любимые мне дороже, чем *чужие*. Всех, кто думает иначе, объявляю сумасшедшими прежде, чем рассказывать далее.

2

Наташа не отходила от Греки, ночевала вместе с трубочками и краниками в его скорбных апартаментах – реанимация называется. Два дня не звонила мне – и вот звонит:

– Это ранимация, нянечка тетя Наташка Хмыз! Партийная кличка – Флюгер. Дохтура книжных наук Шацкого – можно?

– Как там дела, Натаха? Где ты там куришь-то?

– Курить, Петя, я бросила. А ты бери батюшку, бери кропила, кадила, тащи елея, смирны, иссопа – все, что подобает.

– Ты его бальзамировать намерена?

– Типун тебе на твой русский язык! Ваня просит соборовать его. Сделайте дело, а уж умереть я ему не дам. Машину за вами с батюшкой пришлю – царскую. Говорю коротко: здесь больница, а не радиокомитет. Прием?

– У меня, Натаха, Алеша пропал. Сижу у окошка, жду. Домой не еду. Похоже, у меня и нет его, дома. Зачем ты меня беспокоишь? Говорю коротко: сказать больше нечего. Прием…

– Повторяю: прием здесь, в ранимации, ведется круглые сутки. Приезжайте по возможности скорей. Конец связи.

– Эй! – только и успел сказать я, глядя на трубку так, словно вознамерился увидеть гудки отбоя. Почему бы, подумал я, ей, Наташе, и не позаботиться о своем земном существовании. Хлебнула девушка пересола – ищет прохладный оазис в нашей Пустыне Ивановне. Она в юные годы была сильной. Однажды в мае, после моего сольного концерта, несла меня на руках шагов двадцать. Наташиному бесстрашию уже тогда никто из ее вечно мужского окружения не удивлялся: девчонкой ходила на кладбище ночами одна и носила оттуда сочные сибирские яблоки – ранетки. Некоторых из угощенных мужчин рвало, когда они узнавали о происхождении райских яблочек. А она – знай варит из них варенье, не жалеет кубинского сахара.

– У меня красивая мужская фамилия – Хмыз, – говорила она. – И вертлявая же мужская кличка – Флюгер!

Она жила красиво, щедро и насмешливо. Она – часть моей жизни. Ее изуродовали, измяли, но не испоганили. Она никому не жалуется, ни на кого не надеется. И плывет одна, выбиваясь из сил, а в зубах держит портновскую булавку на случай судороги. Вот сейчас в ее зубах – драгоценная греческая булавка. Кто у нее еще есть на свете, кроме меня да Юры? Я поспешил позвонить отцу Глебу, но подумал вдруг: почему умирающему буржую Греке потребовались именно мы с отцом Глебом? В городе полно известных дорогих священников.

Тут у двери позвонили. Рассыльная девушка с почты вручила мне заказное письмо из Калуги – настоящее, не электронное, не эсэмэску, а в конверте с маркой. Я обрадовался, как Ванька Жуков, что получил ответ от дедушки Константина Макарыча. Но недолго музыка играла, недолго фрайер танцевал.

– Этот пакет не взорвется? – спросил я девушку, расписываясь за получение дивного послания.

– Что? Нет, нет! – ответила она, заметно смутилась и зарделась ланитами.

– Можно, я вскрою его при тебе, детка?

– Ради Бога… – она даже сделала вид, что обиделась на меня, и как-то вяло вильнула незримым хвостиком, потом переступила невидимыми, но жесткими копытцами. Кто у нее бог – неизвестно. Только письмо не могло прийти из Калуги сейчас по той простой причине, что Петра – девушка-студентка с редким, как куриный бог, именем – навсегда уехала с русским мужем к себе на родину в Германию. Случилось это еще в середине лета.

– За письмо спасибо! Иди, крошка, – сказал я девушке. – И не попадайся мне более на глаза. Изнасилую всяко. Хвост прищемлю дверьми. Копыта пущу на холодец.

– Где у вас руки помыть? – жалобно так спрашивает юная ведьма. – Где туалет?

– В уборной, – говорю. – На улице Серостана Царапина. За выход платить не надо…

– Как-то вы не по-джентльменски… – промямлила она и направилась восвояси. – А еще иконы кругом…

– Пошла вон, стерва номерная! – грубо заключил я, входя в раж и будучи в ударе. Это тестостерон с адреналином делали свое дело. Хоть я и не знал толком, что такое номерная стерва и есть ли такое определение стерв, но то, что не такая уж она и стерва, – догадывался. Служба такая стервозная. Однако остался доволен собой, чего давненько не случалось.

А в ванную ее не пустил – зачем нам тут «клопы» с «жуками». Не энтомологи, чай.

Я набирал номер Анпиратора и быстренько соображал: какими бы словами изложить ему свою тревогу и рассказать ему, неуку, что даже гнусные американские демократы в своем якобы Сенате – туда же: римляне! – борются с проектом тотального наблюдения, по ихнему TIA Как римляне стали итальянцами, так и они станут неграми, не плачь, брат-индеец! Как богатые станут нищими, а нищие – богатыми, как рак на горе просвистит соловьем-разбойником, так и мы с тобой, Юра, станем умными и осторожными. Зная то, что мы лишние люди на балансе кремлюков. Примерно это я и хотел ему сказать. А он третий день отвечает мне голосом английской мисс, что временно доступ к ней прекращен – гигиена. Стал я читать письмо от немки Петры из Калуги, куда я приезжал полтора года назад.

«Здравствуй, Петр!

Это уже второе мое к тебе послание, и я не знаю, что получится на этот раз. Я, конечно же, получила твое очень доброе и лестно-приятное для меня письмо и раскопала даже то, что было зарыто среди прикрепленных файликов. От всех твоих писем теплело и нежнело на душе. Прости за многословие и болтовню, я знаю, что это читается трудно, но мне надо немного разогнаться – я ненавижу писать письма, не умею. А получать люблю, в чем, конечно же, неоригинальна. Дело в том, что все мы, то есть я, Берзин и Марта Зейбель, сразу после твоего отбытия написали тебе по письму. Некоторые даже стишки свои туда подсобрали, чтобы ты повеселился. А потом еще долго, как дураки, звонили друг другу и переспрашивали: «Ну что, у тебя получилось?» Потому что всем нам пришел отлуп, дружный и невнятный, не по-русски, а мы люди отчаянно русские, хоть и немцы. Мы так и не выяснили, чего от нас хотели, но поняли одно: компьютер твоего адреса не знает. Потом все навалились на меня, ведь у меня у единственной было письменное компьютерное подтверждение, что ты есть, что есть и адрес твой, и повелели мне отправить Re-письмо. И опять нас постигло разочарование. А дальше звонил или появлялся мой Берзин с вопросом на пороге: «Ну, как там Петя?» или «От Пети – что?» Не я одна тебя люблю, хоть ты и старенький. А у меня в скором времени и компьютер накрылся, и надолго так, и вот только час назад я наконец, смогла влезть в Интернет и обнаружить там твое новое письмо, тоже уже не новое, а аж от 7 марта! Кстати, Берзин ведь меня с детьми бросил. Как сейчас говорят, кинул. Квартиру нам оставил. Я не в обиде. Уеду во Франкфурт. Вообще, слышь, я только тебя любила, хоть я и распутная немка, а ты – благочестивый русак. Прости меня, Петр, бестолочь я ужасная. Возвращаюсь к началу.

Так вот. Еще до того, как накрылся компьютер, я узнала от Андрея Усова, что есть сайт студентов пединститута тех лет, когда мы там учились, а ты читал нам свои бесподобные лекции. Ах, Петр Николаевич! Мы немцы – пылкие люди. Немки, во всяком случае. Залезла я и прочитала твой роман «Остров сокровен», и не захотелось оттуда вылазить! Не берусь давать ему оценку, я критикую еще хуже, чем пишу, несмотря на твою высокую школу. Но как идиоту радостно узнавать знакомые буквы, так и мне радостно было узнавать знакомые и родные имена, как бы и что бы про них ни писалось.

Можно, я переведу твой ужасно веселый роман на немецкий язык? Мне будет приятно.

Германии – полезно. Живем-поживаем мы, дорогой Петя, обыденно, даже и рассказать нечего. Я подружилась с очень хорошим священником, он иногда заходит ко мне в гости в перерывах между службами, чтобы поспать, он очень худенький и слабенький, устает, а живет далеко за городом, в деревне. Он молоденький, батюшка Илья, МИФИшник, и жена у него на сносях, первенца ждут. А когда батюшка отдохнет, перед его уходом мы замечательно общаемся, говорим о Божественном. Я люблю сплетничать, а он все время мне говорит: «Матушка, а вы не судите?» Я теперь и стараюсь не судить. Он говорит: «Часто, когда у нас просят совета, как поступить, мы не знаем, что сказать не то что людям, но и себе. А ведь надо только вспомнить: велит или не велит Господь делать так, а не иначе! Смотри, что делает Отец твой, и делай то же!» Правильный такой малыш. Теперь мне хорошо спится, светло и радостно на душе. Я поняла: это оттого, что днем на моей постели спит почти ангел и собой все освящает. Теперь я думаю: я такая влюбчивая, как бы мне в батюшку-то не влюбиться! Пусть тогда герр Берзин, этот горячий лапландец, знает, как немцев в Православие крестить. А немок – особенно. Вспомни судьбу последней – или не последней? – русской императрицы. А с другой стороны, меня раздирают черти. Так всегда, когда пост. Муж Наташки Бабкиной, страшный Лео Швец, грозный викинг, эсэмэски шлет, смущает речами нескромными, на концерты в Москву зазывает, сам приехать грозится. Да еще Сектант активизировался, Гарик внезапно бросил пить – все женихи. Это мы тоже проходили, это еще одно искушение, свойство поста – нехорошие силы начинают обманывать и подманивать, хорошими прикидываться, вот и борись с ними, как можешь! Дети мои разбежались на каникулах кто куда: младший, Витя, концертирует с хором мальчиков-зайчиков, а старший, Дэн, едва ли не Сяопин, отправился с туристами в Геленджик, по горам лазить. А я с кошками и собаками дома сижу, их жду. Кстати, кошек снова две, и стало две очень быстро: вскоре после твоего отъезда потерянная Муся вернулась. А я грущу без твоего голоса. Это ничего, что я тебя люблю? Это не опасно. Как там Анечка? Не народился ли у вас еще кто-нибудь, кроме Иванищи? Обнимаю тебя, Петр. И Анечку тоже. И ребятеночка вашего. Никогда не забуду, как ты приехал ко мне после московского мятежа. Шел снег. Был ноябрь, голодно, а от тебя пахло копченой колбасой. «Это запах горящих костров», – сказал ты, мой любимый вояка. И еще ты сказал: «Es schnee… Ich auch der Shnee…» Потом запел свой «Реквием». Как я буду жить без России, без всех вас, гонимых всем остальным миром? Может быть, я тоже напишу книгу. Назову ее так: «Охлажденные и замороженные. Русские истории». Вчера меня тряхануло тридцать пять лет по шкале Рихтера. Я уже молодая. Из Калуги – с любовью – Петра – Твоя – Тезка».

Да, яйца все-таки могут научить курицу относиться к ним иначе, чем ко всему прочему, что падает из кур на зеленых лужайках. Прощай, Франкфурт-не-maine…

В который раз я поразился изящной женской силе, выпил триста грамм водки и захотел сладко восплакать. Мне восплакать, как иному чихнуть. Тут и принесло неохлажденного и незамороженного, а, напротив, – очень разгоряченного Анпиратора.

– Чо это у тебя глаза красные: с комиссаршей спал? – сходу атаковал он. – На! Читай! А мне – в санузел: как бы бумажки не перепутать! – отдал мне сложенный вчетверо лист бумаги, стал пыхтеть и снимать ботинки.

– Что это?

Анпиратор приложил палец к губам: тс-с-с! – и стал наседать, активно подмигивая при этом:

– Ты когда за квартиру последний раз платил, керя? Хочешь, чтоб воду отрезали и свет перекрыли? Одевайся, сейчас я в кабинку забегу – и поедем платить по счетам. Ну, ты и село, блин! Вот и доверь тебе, колхознику, квартиру! Хорошо еще, что телевизор не пропил – вон как от тебя сивухой-то несет, матушки!

Юра ушел в ванную и открыл там воду. Я стал к оконному свету и развернул бумагу.

«Это я, Коська. Керя, теперь у меня есть полный текст той записки, что была зажата в кулаке твоего вольнослушателя С. Р. Вот копия:

«Дядя Петя, не знаю, останусь ли я в живых. Сообщаю, что торговлю детскими органами прикрывает Прохор. Детишки уходят на запчасти за огромные деньги: роговицы там и так далее. То же говорит и судмед Вадик, чего ему терять. Мы поняли: нам здесь крышка. Куда там твой хлеб! Моим начальникам, я думаю, этот мрачный факт известен. Они нас всех гуртом в стойло загнали, как индейцев, и потрошат. И тут всех нас скоро, не спеша на запчасти пустят. Потому нас с Вадиком и не выручают. Я-то ладно, а он ведь хороший специалист. Жалко его. Грешить, дядя Петя, не буду, но скажу, что все они, кто у власти, – одна колода. Тусуй ее, не тусуй ее – одна шняга. Повеселюсь тут с бандюганами напоследок. Прощай, дядя Петя. Родителей я не знал. Может, я некрещеный, но крест на мне есть. В Чечне повесил. Помолись, батяня, за мою грешную душу дурака с ментовским стажем. Твой Славка. Аминь».

Тут меня прорвало – я заплакал. Словно со слезного фарватера вышибло дамбы. Плача я побежал к иконостасу, плача возжег лампадку, плача же встал на колени и сорок раз прочел молитву оптинского старца схимонаха Льва о погибших от насильственной смерти:

– Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего Вячеслава, и аще возможно есть, помилуй! Неисследимы судьбы Твои. Не постави во грех сей молитвы моей. Да будет святая воля Твоя! Аминь.

А до того как вернулся из ванной Юра, я осушил лимонную и начал вторую. Воду он не выключил – она шумела, как толпа футбольных фанов, так, что дрожали хрущевские панели. Как пьяный сторож, орал сетевой динамик.

– Так, керя… – сказал он. – Все-таки второе пришествие скоро, а ты сиднем сидишь да еще и пьешь без закуски. А еще христианин называется. Одевайся! Сейчас будешь нашатырный спирт нюхать!

– Понюхай… – показал я ему кулак, которого керя Юра никогда не боялся. – Да кто ты такой! Анпиратор? Давай, Анпиратор. Садись, Анпиратор, одесную меня! Помяни сироту Славку, сегодня сироте Славке – девять дней. Понял, бич? Понял, паук? Понял, народного гнева хожалый? Понял, ты – агрессивное невежество?!

– А кто такой «хожалый народного гнева?» – спросил он.

Я честно ответил, что и сам не знаю, и выпил еще стакан водки. Я уже думал о себе, что я и есть тот самый человек, о котором говорят «и один в поле воин». С этой хорошей мыслью тем же грозным кулаком я втер свои слезы в широкие скулы и уронил голову на стол. Юра пустил воду еще из кухонных кранов.

– Я вот смотрю на своих одноклассников. Они совсем не развились. Как были их отцы – темные, пьющие, безграмотные, так и они. Я-то со стороны на них смотрю, а они-то не видят. Скоро придет конец нашему краю, а наша хата – все с краю! Аграрный край – на селе четыре дома забито, только в пятом еще доживают. Ты как, способен меня понимать? – спросил он, усаживаясь рядом.

По тому грохоту, с которым Юра приставил стул, я понял, что настроен он решительно, а я – не так уж и пьян, если понимаю человеческую речь.

– Отвечай, если хочешь жить!

– Кто, ты, что ли, керя, мне грозишь? Ты – мне? Да…

– Нам грозят, керя, – сказал Юра. – Иди, сполоснись холодной водой…

– Холодной?

– Желательно. Воду не выключай – пусть они уписаются…

Я молча указал пальцем в небо и вопросительно поднял брови – Анпиратор кивнул: да. Мы перемигнулись, как два судна на встречных курсах. Мне стало весело. Я сказал: – Х-хе! – и пошел.

Из радиовещателя слышался не менее веселый голос:

«Правоохранители ведут поиски пропавшего ребенка. Выезжая по следам в Змиевской район края, они даже не предполагали, что их ждет такой сюрприз: кроме мальчика, они нашли еще несколько килограммов наркотического сырья.

Далее. С каждым днем шансов найти девочку, пропавшую в лесах Абагурского района, все меньше. Друзья и знакомые пострадавшей семьи выдвигают версию похищения. Причем, называя имя конкретного человека. Напомним, в понедельник вечером Людвиг Кёних заехал домой после работы, взял детей и собрался в лес. В этот момент возвращалась из садика и, увидев дедушку, попросилась с ним внучка. В лесу, не захотев будить спящую внучку, дедушка оставил ее в машине. Однако, когда вернулся, девочки в машине не было. Не обнаружив внучки, Людвиг попытался сам ее найти – не удалось. Весть о пропаже ребенка быстро разнеслась по деревне. Беду семьи Кёних восприняли как собственную.

«Ах, зачем мы не уехали в Германию, как все люди!» – говорит мать пропавшей девочки.

Работающие на месте исчезновения ребенка сотрудники Абагурского РОВД прорабатывают несколько версий. По одной из них – на девочку напал медведь. Медведей в этих краях много, однако местные жители утверждают, что сейчас они спокойные и сытые и для людей опасности не представляют. Немецкая овчарка так и не смогла взять след зверя.

«Ах, так приведите русскую, китайскую, какую угодно, марсианскую овчарку! Но найдите мое дитя!» – плачет мать, Анна Кёних…» – смаковал и тиражировал людское горе комментатор.

– Медведь?! – заорал я. – Ах, медведь?! Опять Германия?! Застрелю, гады! – я сорвал со стены, конечно же, не ружье, которое должно выстрелить, а мерзкий ящичек, круглые сутки извергающий в мир ложь. И жестко грохнул его о мягкое покрытие пола. Я впал в какое-то исступление и сокрушил бы еще немало чужих предметов быта с криками: «Всех перестреляю, всех!»

С криками «Где медведь? Кто стрелял?» выскочил из кухни Юра.

– Какой медведь? На, контуженый! – и он выплеснул мне в лицо ковш воды: – Умойся, керя!

Короткое мое веселье облетело майским одуванчиком. А Юра уже сопел над обломками, выуживал какие-то радиодетали. Искал «клопа-жука». Я умылся, вернулся, еще раз выпил. И задремал.

Когда Юра разбудил меня, я увидел в окнах не то сумерки, не то рассвет, но тут же и передумал думать о пустяках, потому что он сказал:

– Едем, керя, в больницу. Отец Глеб ждет.

3

Отец Глеб ждал нас у кафедрального собора. Мы чуть задержались потому, что по дороге меня вдруг стало мутить.

– Остановись, друг Сальери! – еще пребывая в эйфории, попросил я Юру. – Скажи, ты в курсе, что гений и злодейство – несовместимы? – и зажал рот носовым платком.

– Это ты несвежей водки натрескался, Моцарт, – сказал он. – Беги к киоску – там урна. Сунь два пальца в рот – и пройдись по всей клавиатуре, Амадей. Потом купи мятных лепешек – и жуй, пока я не дам команду «отбой».

Так я и сделал, невзирая на мороз «со с ветром», как говорят старые сибиряки. А у отца Глеба за четверть часа ожидания губы стали синее глаз. Покуда мы крутились, чтобы подъехать к нему поближе, я видел, как он перекладывает из руки в руку старенький свой саквояжик. Завидев нас, он перекрестился и нырнул в теплый салон машины, как в холодную иордань, если судить по его судорожному дыханию.

– Задержались! Простите, батюшка! Благословите! – заорал я весело.

– Астма… х-х-х! – прохрипел он, стуча пальцем по шарфику на груди. – Х-х-х… Благослови тебя Господи, Петя! Х-х-х! Здравствуйте, родные… Х-х-х… Что там… с эллином? Не ближний свет… х-х-х…

– Брат Грека помирает! Ухи просит! – веселился я, уже сознавая, впрочем, неправедность этого хмельного и злобного веселья.

Батюшка спрятался от меня за невидимую стену крестного знамения.

– Ты, Петя – что? того?.. выпивал? Ай-яй-яй! Представь себе, отец, что твой Ваня малой напился? А каково Господу Богу – Отцу нашему – на тебя смотреть?

– Уже все нормально, батюшка, – поник я. – Вы, отец Глеб, насквозь видите…

– Запах, – сказал он. И попрыскал в себя из синенького ингалятора.

– Жуй, керя, таблетки! – напомнил Юра.

– Да отвяжись, гуру!

– Это он на поминках был, батюшка. Мальчишку одного убили, товарища. Вы уж простите его?

– Я прощаю. Бог простит, – сказал отец Глеб. – Ох, отпустило, слава тебе Господи!

– Он когда выпьет, батюшка, то на войну начинает проситься, – продолжал есть меня поедом Юра. – Если не пускают, то он плакать начинает. Что с него взять? Одно слово: контуженый!

Похоже, я приходил в себя. Слова Юры уже не задевали меня, как пули не трогают заговоренного. Ненужные слова, не произнесенные мной, падали у моих ног, висли на губах,

как лузга семечек.

– А трезвый-то, батюшка, он у нас, керя-то, мухи не обидит! – развлекался Юра. – Человека – еще куда ни шло, а мухи – ни-ни! Твердое «ни-ни».

– Мух не люблю, – сказал мудрый батюшка. Это значило, что он меня защищает от анпираторского сарказма, если помнить, что слова «сарказм», «саркома», «саркофаг» – одного древнегреческого корня, к которому принадлежит и ушибленный Грека.

Анпиратор понял и переключился:

– А вот дерзну, батюшка, спросить! Вы человек опытный духовно и житейски: соборование – это зачем? Оно помогает?

– Верой и покаянием жив человек. Если веруешь, каешься – помогает, отпускаются грехи. Но у каждого есть нераскаянные, забытые грехи. А грехи, Юра – корень всякой болезни…

– Но ведь нужен собор – семь священников! – прихвастнул своими познаниями керя и со значением покосился на меня в зеркало.

– Где ж их нынче брать, по семь-то на одного? Допущено совершать елеосвящение и по одному! Зерно вот есть, – погладил батюшка саквояж. – Пшеничка…

– О, это Греке подходит! – зубоскалил керя. – Это по его части!

– Да. Господь милостив к людям. Вино есть, из Каны Галилейской присланное… Маслице есть, всё есть – была бы вера…

Я этого спрута Юру с детства знаю. Сейчас пересилю дремоту – отобью батюшку у спрута. Я приемы знаю:

– В машине, надеюсь, подслушки нет. Тебе кто про это сказал?

– Там, в службах, есть один большой человек, туркмен… Он мой товарищ. У нас в Театре киноактера когда-то шла его пьеса. А в девяносто первом, в Москве, когда униженные и оскорбленные неотроцкисты опрокидывали Лубянку, он у меня в грим-уборной отсиживался…

– Я спрашиваю о Греке.

– А-а! О Греке? О Греке моя бывшая жена Наташа сказала. Говорит, этот, мол, Грека на том свете побывал, вернулся и уверовал. А по мне так он был сатрап – сатрапом и остался. Чудеса, бачка! А вот просветите меня, революционера, бачка, по такому вопросу. Разъясните мне, темному и злому: быть революционером или не быть? В стране – война. Сам президент колонулся на ТиВи: войну, говорит, ведут против России. Слышали?

– У меня нет телевизора, Юра. Зачем? В окошко гляну на улицу – слава Тебе Господи! Слава Тебе Господи! Слава Тебе Господи! Слава Тебе! – отвечал дипломатично батюшка.

– Так вот, бачка! Я уважительно отношусь к последовательной защите Православия моим керей, а вашим псаломщиком. Я тоже человек верующий, во всяком случае, принимаю мир всесторонне и с большой буквы. Но ведь правда – она превыше всего, так? Сказано также, что без воли Бога и волос не упадет с головы. Теперь второй вопрос, уже без телевизора: есть ли, по вашему мнению, вина Русской православной церкви за гибель России в семнадцатом

грозном году? За то, что народ так сильно захотел освободиться, извиняюсь, от «попов»? Я понимаю: атеистическая власть и прочие издержки новой жизни! Но семьдесят лет в каждом доме не дремал чекист – адепт мировой революции! Разве при царе-мученике церковные клирики не были виноваты в том, что простому человеку стало невмоготу? Кстати, в театральных амплуа простак – значит дурак. Этот дурак ухватил былинную, извините, дубину, размахнулся и с размаху снес все без разбора! Может, снес и то, что вовсе не надо было сносить, бачка. Разве он один, а не пастыри его иже с ним повинны, что в этом антигосударственном отрицании, бачка, он отдал власть врагам своей жизни, своим участием дал им победить? А вспомните строки несчастного дистрофичного неопохмеленного Блока! Кто идет впереди его революционных матросов? Христос! Так? Он что, бачка, на пустом месте возник? Значит, была со стороны пастырей ложь, служение не Богу, а власти. Значит, было и забвение правды, которой жил народ. Угасла, стало быть, искра Божия. Ленин дал простолюдину свою искру, и свою правду! И разве сегодня *эрпэцэ* не то же самое совершает? Мне кажется, что Иисус Христос ищет новых матросов.

– Заткнись, керя, – сказал я. – Что ты заладил: бачка, бачка! Выискались: благородный цыган Волонтир и *сто коней* в одном движке! Еще Гапона вспомни, инсургент! Это он, батюшка, какую-то новую роль разучивает!

Наша детская дружба давно превратилась в марафонский забег двух упрямцев: места уже распределены, призы розданы. Судьи пропивают гонорар. Болельщики болели-болели – умерли, а мы с ним все еще на дистанции. Побежали весной в спортивных трусиках – и вот он, падает снег, а нам не холодно. Это уже никакая не дружба – это родство больных душ. Мало ли?

– Насчет *стаканей* молчи, пивец! – легко издевался Юра. – А кто это такой – Гапон? Из краевой филармонии, что ли?

– Из консерватории! – говорю я.

– Пусть говорит, тема знакомая. Помешкай, Петя, – успокаивает меня батюшка.

– Наверное, знакомая, бачка! И лично вас – упаси Бог! – я не обвиняю. Я читал, что сам владыко Иоанн, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, говорил, что потворствовать антихристианской власти есть величайший грех. Но снова жизнь русского человека требует громадного напряжения сил. Власть христианская по форме и антихристианская по содержанию, не так ли? Так? Так ежу в зверинце сие понятно. А где их, эти силы, черпать? В непротивлении? Им того и надо! Тогда плюнь, Петюхан, керя мой дорогой, и отрекись, благодетель, от своих товарищей, от тех, кто остался на баррикадах! Ну? Давай, плюй, кормилец! А жену отдай дяде, смирись! А у него, батюшка, у кери моего, – сын Ванька! Малый такой Ванька, несмышлёный. Вы его, андела, знаете. И что? Смирись, Ванька, будь агнецем, да? Будь покорным барашком, когда тебя бьют и плакать не дают. Ему дяденька в чалме или в кипе байт: «Дай, Ванятка, я тебя по щеке смажу!» А Ванятка-то наш Петрович: «Пожалуйста, мистер! Я сей же час и другую щечку подставлю-с!» Про ножички – по умолчанию. «Расти, Ванятка, пока я кынжял точу!» Так? Пока какой-нибудь тихий инок будет сухари с водой грызть да думать, разумно ли воевать, грубый материалист его попросту убьет. По стенке еще и размажет!

– Это тебя размажут! – буркнул я, разделяя, впрочем, тревогу кери. – Заноют! Зазундят! Вот мол, церковь должна то, должна это, а попы с мобильными телефонами бегают. Да ничего ни церковь, ни православные батюшки тебе не должны! Это ты им, собака, должен за то, что они молятся о тебе дни и ночи, харя ты, личина ты актерская, двурушник, Всемирный Царь-

Побирушник! А уж за себя пусть сами ответят, но не тебе, фармазон!

– Сам дурак – это мы слышали. Вот посмотрите на моего керю Шаца, батюшка! Вот он сидит, жует мятные лепешки, убивает духман. Был герой, а теперь – бяшка. А у него, батюшка, сын на загляденье, вы видели, как он кошкам хвосты крутит? И посмотри теперь на побирушку этого, на Алешу, на мою молодую гвардию! Спросите его: с кем он пойдет дальше, в грядущее? С набожным дядей Петей или с геройским дядей Юрой? Со мной пойдет, потому что у него мамку убили «ляпкой»! Он за нее семерым пасть порвет! И вспомните, что именно у ребенка личность существует в почти Божественном виде. А вспомни-ка и ты, керя, Ивана Карамазова: «Дети, пока дети, до семи лет, например, страшно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой». Это ваше непротивление отдает их невинные, ангельские души прямо в вонючие, чесночные пасти сатаны! Надо привести в чувство наше священство! Там значительно больше служащих Маммоне, нежели пастве. Ведь с их слов получается так, что самое лучшее – если бы народ быстро и тихо вымер. Вы меня простите, батюшка! Я не противник Православия!

– Бог простит! – сказал отец Глеб. – Я не силен, Юра, в литературе… Да, не силен…

– Так я напомню все-таки Ивана Карамазова: «Не Бога я не принимаю, а только билет Ему почтительнейше возвращаю!» Нынче в великой, красивой и мудрой стране – какой только гадости нет! На просторах России православным христианам скоро вовсе негде будет главу приклонить, как Сыну Человеческому, а ленивые попы продолжают обновлять свой автопарк – в «жигуль» уже брюхо не влазит. Вот с этим непротивленчеством-то корысти никак простые люди не разберутся уже третье тысячелетие! А их выкашивают по всем кочкам косой-горбачем! Вот шарада-то! Вот теорема Ферма! Я знаю, что вы скажете! Вы скажете, что эти, мол, тексты из-за исторических, дескать, условий их создания допускают вздорные толкования. Так скажите своим батькам, чтоб набрались окаянства да изъяли их из обихода либо дали им здравое толкование.

Он замолчал. Мхатовская школа. Паузу держит, как Грибов.

– Всё, Юра? Отпустило? – смиренно спросил отец Глеб. – Слава Богу! А ты, Петя, знаешь «Иже херувимы» греческого распева?

– Нет, батюшка! – радостно, как бравый солдат, отвечал я. – Но я разучу!

– А она, Петя, вот как поется… – и он запел тенорком.

Слопал, Анпиратор? Знай наших и не гоняй по лицу мимическую гамму для адекватного отображения чувств! С точки зрения актерского мастерства, мне лично хотелось бы чего-нибудь поэксцентричней.

Задремал в тепле батюшка.

Дремал и я, думая о том, что Юра может сжиться с образом и ролью Анпиратора. Он великий актер. И люди за ним пойдут. А ну как роль Анпиратору надоест и он напишет отречение?

4

… Когда я чувствую талант в человеке – и не обязательно художественный – на душе моей становится легко и празднично. А если я пьян, то хмель покидает голову. Габышев с лицом братьев Кеннеди и Гендын с лицом китайца бурно одобрили наше решение, о котором вскоре знала добрая половина миллионного города. Нас не любили власти, но любили горожане,

горожанки и селянки с теми же селянами.

Вскоре были проводы от Гендына. Гендын снимал тогда трехкомнатную квартиру на Серостана Царапина в районе общественной бани. Он наварил браги, мы выпивали, пели. Юра стал раздавать наше имущество. Человеку по фамилии не то Кусиков, не то Пусиков он отдал мои часы, говоря, что скоро мы с ним разбогатеем. Кусиков незаметно исчез. Стали искать, высказывали предположение, что он пошел пропить мои часы, но оказалось, что он в ванной комнате проверял часы на водонепроницаемость. Там же прислонился к стене и заснул стоя.

Мои часы шли. Время – деньги, и они кончились, вещи розданы. «И приспе осень…» – пора на поезд.

Похмельный и простой, еще более похожий на юного Дэн Сяопина, Гендын сказал:

– Денег нет. Аванс через неделю. Чем питаться-то, кери, будете на пути к славе?

– Да иди ты со своим Славой! – отвечал Юра. – Слава ему какой-то! У нас Габышев есть. Он большой. Возьмем с собой, съедим. С пассажирками ребрышками поделимся.

– Меня, кери, много не ешьте! – попросил Габышев. – Вырвет!

Гендын остался дома, прикрывшись тем, что сердце его не выдержит расставания, а ему еще детей рожать.

Пешей дорогой на вокзал мы зашли в диетическую столовую на улице Оленина, где, по рассказам Габышева, работало восемь его любимых женщин, старшей из которых недавно справили пятьдесят пять лет и дали почетную грамоту. Мы знали, что нет работника общепита, с которым не смог бы Серега Габышев найти общего копченого языка. Будь это и работница с такой выдающейся грудью, на которой вывешены все мыслимые ордена, значки и почетные грамоты. Серега, как и проклятые США, куда рвался Гендын, весь состоял из контрастов. Никто и никогда не видел Габышева злым – только строгим. Высокий, белокурый, с правильными чертами лица, с добрым отеческим взглядом и бабьим голосом. Видно, торговым женщинам это путало ориентацию, а мужчин прельщало. Главное, его никто не боялся, что очень важно для пребывающих в вечном искушении рядовых общепитовского войска. И впрямь – старшая жена с доброй улыбкой в районе румяного кустодиевского лица вынесла нам круг копченой колбасы.

– Ты, наверное, видела, милая моя Софья, эту парочку по первому каналу телевидения! – говорил он, кивками головы указывая на нас. Одной рукой он ласково окрылял даму за плечо, а второй – прихватывался за спасательный колбасный круг, который дама еще из рук не выпускала. – Вот тот, который поглупей на вид, это первый писатель России Петр Шацких…

– Какой молодой! – сочным контральто говорила эта добрая женщина.

– А тот, другой, в темных очках – это артист Юрий Горыныч Медынцев, известный любителям немого кино в роли Змея Горыныча. Когда его утверждали на эту роль, то из-за жуткого совпадения отчества претендента и персонажа пожилая народная артистка Раневская…

– Фаина?! – ахнула несчастная от близкого счастья женщина. – Как я ее люблю! Что с ней случилось?

– Да! Да, Фаина! Она тоже любит полных женщин. Так вот она сказала: «Ого-го!» и задышала, как слоненок.

– Ого!

– А теперь, Софья, давай колбасу и беги за бумажкой под автографы. Только не вздумай мять! Не мни ее! Пацаны, по автографу женщине, быстро!

– Ой! – подхватила та. – Побегу руки помою!

– Беги, родная! А мы – к неродной Надюшке за курями!

– Бендер хренов! – уходя навек, беззлобно сказала любимая.

Младшая повариха, которая средь лета болела гриппом, была еще более доброго нрава. Она дала нам в дорогу две добротных вареных курицы и десять рублей на сигареты.

– В Америке таких, как мои, девок нет! – похвалил ее похожий на братьев Кеннеди Габышев. – Смотри: у нее грипп, а она на общепитовской кухне несет трудовую вахту. А гриппом ты, Надюшка, не от кур заразилась? Куриный грипп – это ведь верная смерть коровам!

– Ты, Габышев, балагур и весельчак! – смеялась девчушка. – Куры-то диетические!

– Смотри у нас! Почему под халатом ничего нет? Где районный ЭСЭС-надзор? Знай, что моя фамилия Габышев правильно звучит так: ах, кабы, шеф! Или: гэбэшеф!

Потом Габышев стал приставать к девушке. Он предлагал разделить с ним его звучную шефскую фамилию, а нагнал нас уже на перроне. Прощаясь, он пожал руку мне, которого почитал как старшо?го, потом Юре. С большим сожалением глянул Габышев на куриную ножку, торчащую из авоськи, сделал вежливый полупоклон и пожал эту ножку.

– Идите сразу в вагон-ресторан – я договорился! – громко, на публику, верещал он и строго грозил пальцем кому-то за нашими крепкими спинами. – Ждите нас с Гендыным в Москве, стойте возле Кремля – никуда не уходите. А лучше всего – послушайте меня, старого солдата! – лучше всего устраивайтесь часовыми к Мавзолею имени Ленина! Ничего делать не надо – и кормят на убой! Убой у них, пацаны – смешно сказать! – раз в эпоху!

– Молодой человек! Что это вы такое говорите! – начал было старичок под соломенной шляпой. – Как вы смеете! Вы знаете, что товарища Ленина собираются вынести из Мавзолея имени Ленина?

Серега нагнулся к нему, что-то шепнул на ухо под шляпой. Тот разулыбался и мрачно сказал:

– Ага, товарищ! Понял, товарищ! Опоздали! – подмигнул нам и поплелся в свой мягкий вагон.

Тут мы услышали дальнее «Гитара! Гитара-а-а!» и увидели, что это Гендын бежит к вагону.

– Вот и еврокитаец мой когда-нибудь в Страну Желтого Дьявола уедет! – печально и провидчески сказал Габышев. – Умирать мне одному в моей Стране Чудес!

– И ты, Серега, с ним мотай! – подмигнул Юра. – Вдвоем весело, вот посмотри на нас с керей!

– Вы что хотите, чтоб меня убили? Я ж на братьев Кеннеди похож…

– Гита-а-а-ра! Стоп-кра-а-ан! – в устремленной вперед, на запад, руке этот восточный человек тащит едва не забытую нами гитару. Была бы наша гитара нынче в Голливуде, поскольку Гендын работает таксистом в Калифорнии.

Вот такими мы были голодными и жестокими – мы отъезжали. Оркестров и медных труб не было. Грустный Габышев и веселый Гендын шли за вагоном, как белый и рыжий клоуны, и кричали поочередно:

– Москва – за углом!

Уходили на восток от поезда заводские трубы Горнаула и всея Западной огромной Сибирюшки.

Мы ехали строго на запад. За то, что мы чистили картошку в вагоне-ресторане, где обнаружились знакомые Габышева – любимца дам из сфер общепита – нас кормили как дорогих гостей, а мы им пели после закрытия ресторана. Наша вольная, сытая и веселая жизнь вызывала раздражение двух мужичков, имеющих вид кандидатов на зону или ее дипломированных выпускников. Однажды после закрытия ресторана они бесцеремонно уселись за наш столик, представившись:

– Спецназ! – и предложили побороться на руках.

Юра положил обоих поочередно сначала правой, потом и левой.

– Спецвас! – сказал он. Те встали и вежливо ушли. А Юра Медынцев уже улыбался официантке и показывал на столик: – Спецнам!

Так мы, по-растиньяковски простые ребята, приехали в Москву к Мане. Юра – впервые.

5

Марианна Васильевна Коробова, Маня, была передана нам по наследству сибирским поэтом Иваном Шубиным. Во время оно Иван Шубин потрясал Москву своей изысканной простотой, а его приезды в столицу были похожи на явления ей старца Григория Ефимыча. Творческая элита андеграунда начала семидесятых годов двадцатого века трепетала, внимая его опусам, подобным этому:

Слепили снежную бабу.
Оставили ее под луной.

У друзей по две, по, три бабы…
У меня – ни одной.

Или:

Пляши, пляши, Плисецкая —
Все стерпит власть совецкая. [31]

С ним дружили режиссеры и писатели Евгений Баритонов и Валерий Смелякович, киноактеры Виктор Вавилов и Паша Сашечкин, поэты Лианозовской группировки и Людмила Митрашевская. Сам Андрей Сходненский – кумир «шестидесятников» – называл Ивана «сибирским киником». Вот он и осваивал теснины Москвы как представитель сибирской «пятой колонны» и был как бы нашим квартирмейстером. Иван и познакомил меня с Маней Коробовой, к которой я поселил Юру.

Маня окончила МГУ как психолог. Ее отец, генерал-майор инженерных войск Василий Васин, в годы войны изобрел выкидной мост-ленту и был удостоен за это Сталинской премии.

– При форсировании рек эти мосты спасли жизнь не одной тысяче советских солдат и сотням офицеров, – говорила Маня, как добротный экскурсовод.

Покойный муж Мани, Федор Дмитриевич Коробов, близкий родственник актера Зиновия Херто, был профессором-медиком и занимался психологической подготовкой космонавтов. По возрасту он был старше маниного отца, с которым был дружен с довоенных лет. Ко времени нашего знакомства Мане было едва за тридцать. Была ли она тогда красива? Скорее нет, чем да. Но она из тех редких людей, которые светятся, сгорая, и мудрому терпению которых нет видимых пределов. Генералов Васина и Коробова уже не было в живых. Они оставили Мане непреходящую любовь к себе и пятикомнатную квартиру, неистребимую привычку к красному вину, разбавленному водой, много книг, карточных колод, шляпок, диковинных вещиц. Наследственное старомосковское гостеприимство делало Маню все более нищей.

Как говорили в старинных романах, двери ее дома всегда были широко распахнуты. Как глаза гимназистки на первом балу, грозящем перейти в пожизненную оргию. Для профессиональных московских бездельников лучше не придумать. Сама она, словно находясь в затворе, не выходила из дому месяцами. Маня оживала с приездами людей из внешнего дикого, угловатого, яростного мира. Всегда изысканно вежливая и доброжелательная, чопорно тонкая во вкусах, широкая в жестах, худенькая, мальчиковая, эта инженю в заношенных джинсах была в меру иронична и по-особенному сердечна. Меценатствуя из последних сил, она старалась не замечать, что из ее дома пропадает все наиболее ценное, будь то редкие книги или старинная вещица из серебра, рукопись покойного мужа или отцовский мундир с шитьем. Маня не была сибариткой, она будто ставила на себе и своем достоянии некий психологический опыт по определению меры человеческого падения.

Она пила разбавленное дешевое вино. Она никогда не напивалась, а все мурлыкала, как сытая львица.

– Колечка… Ванечка… Юрочка, поговори, как Борис Андреев!.. – и смеялась смехом счастливого, довольного полнотой жизни человека. – Ах, сибирские экстраверты, растуды вашу мать!

Маня и сибиряков любила по-старомосковски. Нас было за что любить.

– Юрочка, расскажи про Алтай…

Тот делал лицо несчастного второгодника и зачинал:

– Места у нас богатые… Ниже в степь, за глухие волчьи логова, – деревня Саши Домкратова-Черного, а туда, выше, где в прошлом годе медведь-шатун утащил жену приседателя воблисполкома, – село космонавта Китова…

Световой режим в комнатах Мани во все времена года был неизменным. Светило ли солнце, или светились электрические лампы – в квартире дрожал полумрак. Курили все, кто хотел, и всё, что хотели, потому зимой и летом форточки открывались настежь. Юра вошел в роль опекуна хозяйки. Вначале он с напряженным недоумением, исподлобья наблюдал за праздными гостями Мани, вслушивался в их умные беседы бездельников и сачков. Не понимал, например, как можно, зная китайский язык, работать уборщиком в картинной галерее. Керя не понимал, почему место уборщика этот москвич считает теплым, – и все тут. Он не предполагал, что сей печальный факт – предтеча грядущего славянского посудомойства в Новом Свете. Но я его, керю, понимаю: знай наш Гендын китайские язык – ого! – был бы уже сопредседателем КаПэКа.

Человек запредельно чуткий и недвусмысленный от природы, керя в знак протеста матерился так витиевато и необычно даже для карьеров Китаевска, что московский «бомонд» воспринимал эти его маты, как шедевры туземной фольклористики.

Но это была всего лишь артподготовка.

– Я их всех разгоню! – сказал Юра. – Хочешь?

И Маня, и я, грешный, долго объясняли ему теорию законов среды.

– Это моя среда, Юрка… – ворковала психолог Маня.

– Когда будет воскресенье, Манька? – рычал Юра.

– Воскресенья не будет… – Маня могла быть жесткой, как сухарь на ее кухонном столе. Юра смирился тогда, но рявкнул для острастки:

– Ну и хек с тобой!.. – и тут же засмеялся, лукаво поглядывая на нас своими варначьими сибирскими глазами: он ценит в людях умение стоять на своем.

Несколько дней мы жили впроголодь, в ожидании моего гонорара.

Названивали знакомым, выискивая их театральные связи.

Читали. На огромном ковре лежали десятка полтора карточных колод. Маня ползала по этому ковру и манипулировала картами то из одной, то из другой колоды. Юрка косил на нее глазом от книги, потом поймал мой взгляд и кивнул: выйдем, мол. Мы вышли в кухню.

– Чо эт она делает? – спросил он. – Ворожит?

– Эх ты, керя! Театральное училище кончал! Что – пасьянсов не видел? Пасьянсы она раскладывает…

– А-а… – якобы понял он и зевнул. – Нет, я подумал, что она гадает. Потом, не у всех же нас папы – лауреаты! Мы студентиками-то все вагоны по ночам разгружали. Я и сейчас бы не прочь вагончик-другой разгрузить. По девушкам, что ли пройтиться?

Пошел чистить зубы и растерялся в обилии импортных тюбиков – почистил зубы турецким кремом для бритья.

В гостиной разговаривала по телефону и весело смеялась Маня…

Была ли у нее в нашу пору личная жизнь – не могу знать и не имею права рассказывать. Но, зная ее дальнее родство с Херто, я вез керю Юру к ней. И в то ее печальное время, когда из владелицы пятикомнатной квартиры Маня постепенно превратилась в обладательницу четырех-, трех– и, наконец, двухкомнатной, она ни в чем нам не отказывала. Эта квартира находилась в Руновском переулке у метро «Пятницкая». Оттуда ставший вскоре очень знаменитым Юра и стартовал в большое кино. И на эстраду. А Маня так с горы в тазике и едет. Похоже, ей в тазике хорошо. Ей нравится ехать в этом тазике вслед за любимыми отцом и мужем, не думая о земном…

К чести кери скажу, что он до сих пор платил Мане личную пенсию. Когда бывал в Москве, то травил тараканов в ее окраинной клетушке, катал тефтельки из яичного желтка с борнокислотным гарниром.

– И там стоит, керя, плита какая-то небольшенькая газовая – и все! – восьмиметровая комнатенка. На Мане джинсы. В этих джинсах, керя, хорошо светить голой задницей во тьме либерализма. Мы, керя, вместе с ней пошли на улицу, она меня завела не куда-нибудь, а в свой излюбленный комиссионный магазин. Я ей говорю: «Маня! Денег я тебе не дам – пропьют их твои клевреты! А куплю из одежды всё, что захочешь». И выбрала она себе, керя, какие-то вельветовые штанцы, какую-то куртишонку! И этим ограничилась. А там ведь шикарные висели пальто, и денег у меня была тьма. То есть можно было купить что-то приличное. Но у нее, понимаешь, керя, стиль: спортивный, дешевый. Вот тебе и генеральская дочка! А может быть, она понимает, что у старых вещей больше шансов сохраниться в ее, Манином, доме…

… Когда я заезжал к ней в девяносто третьем году, она, беззлобная, так и жила вдвоем с огненным ирландским сеттером Лизой в однокомнатной камере «хрущевки» на окраине Москвы. И вокруг них с собакой, вокруг земных сирот, по-прежнему колготились какие-то шакалы. Добрые люди ей отдавали косточки для собаки – она варила из них супы и ела. Маня весело сообщила мне, что сделала важное открытие: оказывается, мослы можно вываривать на бульон до трех варок.

6

Еще древние Апостолы в Палестине мазали больных маслом и исцеляли их.

«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему…» (Иак. 5:15).

Соборование в больнице – дело непростое, хотя бы потому, что люди с улицы, как мы, должны помнить о стерильности. Второе: чем тяжелее заболевание, чем выше утомляемость человека, тем короче совершаемое таинство.

В приемном покое нас встречала Наташа со стопкой сменной обуви и халатами. Красивые волосы Наташи были убраны под зеленый колпак больничной униформы. Лицо выражало набожность и смирение.

Она склонилась перед отцом Глебом:

– Благословите, батюшка!

– Чо ты волосы-то запрятала, как блокадница сухари? – язвил Юра.

– Прошу вас и вашу высокую свиту, Анпиратор, не произносить слова «сухарь» при нас с Ваней. Пойдемте, я вас раздену и одену.

– А куда это мы попали? Хорошо. Раздень, – продолжал он ерничать.

– Простите их, батюшка, ибо не ведают, что творят, – попросил я. – Они все еще думают, что они муж и жена и что пьют чай на своей убогой кухне. Что случилось с твоим буржуином-то, Наташа?

– Ой! Иероним Босх с ним случился! – сказала Наташа. – И он уже не буржуин!

– Так, может, им всем, буржуям, пережогом по репам настучать? – озаботился керя. – Надеюсь, *Босх* простит, а, батюшка?

– Наташа, там у меня в кармане пшикалка от астмы, – умолчал в ответ батюшка. – Захвати ее, детка! А ты сказала болящему, на каких условиях мы пособоруем его и причастим? Он готов к исповеди? – спросил батюшка и, когда она ответила утвердительно, то уже ехидно, как искушенный ритор, поинтересовался: – А вы, Юра, на каком языке разговариваете?

– Это он на суржике изъясняется, батюшка, – желчно сказал я. – В образ своего парня входит. Иначе революционные братишки его, батюшка, не поймут!

– Ябеда! А в детстве был совсем неплохим парнем, пшикалка ты несчастная! – обличил меня керя.

– Наташа, у тебя диктофон с собой есть? – по примеру батюшки я стал пропускать колкости кери мимо ушей. – Надо рассказ Ивана-то твоего записать!

– Я уже все записала, Петюнчик! – сказала она и постучала себя указательным пальцем по лбу. – Помнишь «Восхождение в Эмпириан»?

Я помню и картину, и юношеское увлечение и МОСХом, и Босхом, и Моуди. На картине Иероним Босх изобразил прохождение души через туннель. А жил Иероним в пятнадцатом веке. Должно быть, еще тогда кое-кому были известны путешествия вне привычных представлений о пространстве и времени. Нечто подобное случилось и с хлеботорговцем Иваном Харой, человеком, почитающим крест, но невоцерковленным. И святой страстотерпец, и домовой с кикиморой, как я понимаю, были для него персонажами одного ряда. Он и про землепашца Микулу Селяниновича слыхом не слыхивал, а торговал же хлебом! И вот Господь, являя особую милость к падшему, вразумил его самым непостижимым образом. К тому же Иван Георгиевич бойко заговорил по-русски.

– Пэрэдо мной, батюшка, вознык сэрэбрыстый круг, котори сталь вдруг, батюшка, сужаться, сужаться… И – корыдор! Сэрэбрысто-голубой! – рассказывал Иван.

Наташа всхлипнула – ночные дежурства сломали ее.

– … Появился эта сэрэбрысто-голубой корыдор – и меня, батюшка… меня понесло по корыдору навэрх! Я понял, щто умер, но страха – нэ биль…

Они сидели возле его кровати, похожей на паровоз братьев Черепановых: отец Глеб, Наташа, Юра и женщина – доктор Ксения. Наташа все промокашечкой глазки утирала, обливаясь слезами умиления. Доктор Ксения – та все улыбалась и на знаменитого Медынцева смотрела, а он – на нее. Я, стараясь не пялиться бестактно на исхудавшего купца Хару, поставил на столике сосуд с маслом и блюдо с зерном, что знаменует щедрость и милость Господа к людям, и начал слушать и наматывать вату на концы семи палочек, потом мне нужно расставить семь свечей вокруг сосуда. Но я внимательно слушал.

… Смерть длилась полторы минуты. Там, на небесах, – яркое, золотистое, голубоватое, зеленовато-лазурное пространство. Оно похоже на фон редких старинных икон. Там его встретили несколько светозарных, прекрасноликих сущностей «с тэламы, с рукамы». Они протянули их к Ивану Георгиевичу. Они приняли его душу. Тогда он испытал неземное блаженство и радость от той несказанной любви, которая исходила от этих существ. Все его страхи, отчаяние и переживания о земном мгновенно стали дорожной пылью. Они утратили значение как пустое и никчемное.

– Вес зэмной любоф – это не любоф, а самсэбэлюбие по сравнению с небэсным любоф, – твердо сказал Иван Георгиевич. – Прычем всо биль абсолютно реально, а потом я, батюшка, вдруг

услишаль голос: «Ти нужен на земле, твой путь еще не закончен, иди – и выполняй свой долг».

И через мгновение он оказался на потолке в операционной, откуда, и начал свое путешествие.

– Голи! Как мух! – пояснил он. – Сталь вот так озырать…

Сверху он увидел свое почерневшее, серо-зеленое тело, которое держала за руку доктор Ксения. Голова запрокинута. На бывшем лице – отвратительная улыбка. Ему не захотелось возвращаться в тело мертвеца.

Он видел, как доктор Ксения отпустила его руку и произнесла:

– Умер.

А Иван Георгиевич стал живей прежнего, но прозевал мгновение входа голым в это грязное чужое пальто, которое опять стало его телом. Он почувствовал только, как из него выделилось много вонючей слизи по всей коже. Полет полностью изменил его. В одно мгновение он стал совсем другим человеком. И ему стало крайне стыдно за всю свою грешную грекину жизнь.

– Теперь я нэ боюсь смэрти, – сказал он и улыбнулся доктору Ксении. – Я знаю, что здэшний моя жизнь совсэм не тот жизнь, ради которого надо тратить ее врэмя… Я хочу пожертвовать господын и госпожа Шацкых дэнги на храм. Наташа сказал мне, что Петр с женой строит храм. Прошу прынять жертву и на дэтскый дом… Вопрос о зэмле я рещу…

– Ах, Ваня! Ванечка! – всплеснула руками Наташа. Похоже, что и она вкупе с Иваном Георгиевичем слетала на небеса и вернулась преображенной. – Милый Ванечка! Как вы отнесетесь, Петя, к предложению Ванечки?

Не привык я к хэппи-эндам.

– Это как батюшка благословит, – ответил я, пораженный услышанным и не очень-то разбираясь в тонкостях темы пожертвований.

– Тайна исповеди, дети! Оставьте нас с Иваном Георгиевичем, – извинительно попросил о.Глеб.

7

Мы скинули халаты, шлепанцы и пошли курить на улицу.

– Я вас догоню, родные мои! – сказала вслед Наташа с нашими халатиками на руках.

– Нас не догонишь! – ворчал Юра. – Ваню своего догоняй, не то упорхнет на небеси – и облом!

«Нет, не упорхнет, – думал я. – Не суждено нынче батюшке, слава Богу, читать Канон на разлучение души от тела…»

Я еще думал о том, какая гора свалилась бы с Аниных плеч, отвали ей побывавший на небе Хара денег на постройку храма. Даже дыханье мое стало судорожным.

– Это не его деньги, – прочитывая мои мысли, рычал Юра. – Это деньги нищего народа!

– Твои, то есть? Да?

А детский дом – это сбывшаяся наша с Аней мечта. Вот и был бы я там директором, смотрел бы

на старости лет, чтоб сироты под призрением были, а маленький Алеша… Оп! Но где же Алеша?

– Я говорю: это деньги ограбленного народа, керя! Слушай ухом! – он понизил голос. – Есть реальный шанс завалить выборы Шулепова вместе с его административным ресурсом. У Шалоумова – убийственный компромат на его Прошку: крышевание похищения детей, торговля человеческими органами и отъем городских свалок под какого-то своего деверя…

– А свалки ему зачем?

– Да уж не затем, чтобы трупы прятать, ворон кормить! Со свалок чудовищные деньги идут. Слушай дальше. Они знают, что у Шалоумова – этот мешок грязи с кровью. Шила-то в мешке не утаили – и начали нас гонять. К тому же три дня назад на складе одной кадрированной части в Бибирюлихе обнаружилась недостача пуда взрывчатки и тыщи штук детонаторов. Вот под это дело они нас, керя, и заарканят. Радует одно: Россия начинает поднимать дубину народной войны…

– Где уж там… Дубину… Разве что такую, как ты…

– Утверждаю со всей определенностью. Керя, не верь, что надо сегодня же к вечеру продраться в эфир, дать залп из крупного калибра – и по кустам. А с доктором Ксенией я сойдусь пока чуть поближе…

– Зачем?

– Три местечка в реанимации забронировать: мне, тебе и Шалоумову. Ему – в первую очередь. Они ему радиорубку мяса устроят, если вовремя не укрыться.

– Обязательно укрываться? А ты меня спросил, прежде чем мне укрываться: иду я в эфир, или не иду я в эфир? Почему ты за меня решаешь? Или я член твоей партии?

– Ты – мой пресс-секретарь, я выдал тебе документ. И подумай наконец о своем кере, о Шалоумове! Он ведь их допек: передача по форме – либеральная, а по содержанию – бунтарская. Разобрались! Сподобились! Скоро руки – за спину! И ты хочешь бросить его одного?

– Твой документ я уже бросил в мусорный ящик…

– Несмешно!

… Прошлогодняя шалоумовская «Радиорубка мяса» за пару месяцев сделала его передачу хитовой. Рубрику «Переводы с казенного на русский» слушали по сети разные люди в разных местах – это был вертел, на который неожиданно для себя нанизывались многие из «уважаемых людей».

– Иван Иванович, вы человек компетентный, – запускал он леща. – Поэтому я и пригласил вас, чтобы вы помогли прояснить ряд вопросов. Но мне, кажется, наши радиослушатели не всё поняли правильно. Например, когда люди вместе работают, обеспечивая свои семьи и свой дом, вместе едят свой хлеб, добытый в поте лица, – это некая взаимозависимость. Так, Иван Иваныч? Вы согласны? – доброжелательный паук раскидывал паутину.

– Бесспорно! – жужжал, отвыкший думать, жук-воротила Иван Иваныч.

– Когда они берут в долг у ростовщика под неоплатные проценты, заложив свой дом, огород, детей этому доброму ростовщику, – это зависимость. Согласны? – поднимал паук свое ядовитое жало.

– Да! Это так, да! – жужжал жук, становящийся жучком. И по радио видно было, как старательно кивает он головогрудкой. – Бесспорно!

– Объясните нашим слушателям: что вы имели в виду, когда произносили слова «государственная независимость России»? – поднимал Шалоумов сачок.

И начинались красноречивые покашливания и повизгивания, вздохи, стоны, напоминающие агонию коровы, обожравшейся майским клевером. Причем наш Пери Мэйсон легко находил слабаков, тьма которых и составляла чиновничье большинство.

Или Шалоумов запевал:

– … Нам пишут, что все, произнесенное вчера в Давосе министром А., – чистейшая спекуляция русским языком. Давайте попробуем понять, что же сообщил нам и всему миру человек, которого мы наняли на работу министром наших внешнеполитических дел. Итак… – Он зачитывал пустую болтовню министра и говорил: – Отчего же? Очень грамотная деза. Давайте не забывать, что нас окружают враги, что войска НАТО стоят у наших границ. Министр умышленно гнал туфту. И еще: где же здесь спекуляция русским языком, когда ни произнесено ни одного русского слова!

Или:

– Часть нашего общества знает, как отличить халву от халявы. Но, как известно, сколько ни произноси эти сладкие слова, во рту слаще не станет. Вот слюноотделение они вызвать могут. Семен Дмитриевич, пожалуйста, объясните нашим слушателям смысл произнесенного вами слова «демократия». Поскольку, чтобы взывать к чему-либо, в данном случае к демократии, хорошо бы знать хотя бы контуры этого «чего-либо». Иначе оно вызывает тошноту, а кое у кого, как нам сообщают, и неудержимую рвоту.

Шалоумов вовремя сманеврировал. Он предложил ввести индексированные штрафы за моральный ущерб, нанесенный заведомо бессмысленной речью. Он назвал словоблудие, косноязычие политиков – преступным, уголовным деянием, обманом, умышленно вводящим обывателя в заблуждение, и предложил себя в главные эксперты специальной комиссии при краевом суде. Он приобрел имя, свой круг слушателей, а рубрику закрыл. Однако Шалоумов есть Шалоумов, так люди и говорили. Так неужели нас взяли в разработку? Отчего так откровенно?

– Керя, ну откуда тебе это известно про контору?

– Керя, был бы ты мне врагом, черным вороном – сказал бы! Но мы же кери. «Номыжекери» звучит почти по-французски, по-мушкетерски!

– Да дерьмо они, эти твои мушкетеры с их мушкетами, мушкетонами, шпагами и флагами! Если мой Алеша не найдется – купишь мне гранатомет! Эрпэгэ двадцать шестой. Ясно? Пока нас не кинули в узилище, плюну разок в эту грязную посудину, – сказал я. – Иначе никаких от меня эфиров.

– Странный ты парень, керя. Опять развоевался! Может, все писатели сами себе что-то выдумывают, а потом над вымыслом слезами обливаются? Скажи, зачем тебе гранатомет,

когда мы Шулера прямым эфиром навеки дезавуируем? А потом его свои же в асфальт и закатают. Будет лежать на Серостана Царапина в виде лежачего полицейского – поставангардный концептуализм! Пройдут пионеры – салют Шулепу! Учитывай, что на носу – выборы.

– Эфиром я не умею. Мне проще харкнуть из «мухи». Как-то оно носу спокойней будет.

Сказанное не было шуткой. Я твердо решил, что если эти шулеповские дельцы похитили Алешу, то мушкетом я с ними не управлюсь. А места, тропы и людей, которые мне помогут хлопнуть Димкин бумер-броневик, я тоже знал.

Позади, как бурные аплодисменты, уже слышались шлепки Натальиных тапок. Она кричала:

– У вас зажигалки есть, мужчины-ы-ы?

– Остановись, ворон! – сказал мне Юра. – Куда летишь, крыла плаща раскинув? Подождем даму.

– Здесь с тобой, Наточка, хорошо, как на панели, – сказал Юра, когда она поравнялась с нами. – А папироской тебя на загостить?

– Загости, керя. Трое суток не курила. Не хотела дышать на Ванечку табачищем!

– Неужели так серьезно? А-а! Да-да: вы ведь здесь все хворенькие! На голову…

– Твои остроты в свое время привели меня, Юра, к супружеской неверности!

– Ну, это ничего. Мулька не прокатила. Это ведь еще до твоего крещения было! Зато теперь Грека имеет тебя верную и правоверную!

– Да замолчите, вы, служба быта! – хмель совсем выветрился, и слова пустой перепалки стали быстро пустошить мою душу. – Надоело! Ты, Юра, в частности, надоел! Произошло чудо – человек преобразился! Сколько можно зубоскалить!

– Шутишь? Не шутишь? Да я и сам себе надоел, – печально вдруг сказал Юра, когда по тылам приемного покоя мы вышли на уличный пандус. – Спасу нет. Вот те крест! Может быть, это в такой чудовищной форме у меня проистекает истерика?

Я посмотрел в его невинные глаза – и принял сказанное за чистую правду.

– Возьми, Натаха, мой пиджак – озябнешь… – он накинул пиджак на плечи Натальи. Она снова тихо заплакала, жалея Ивана Георгиевича и восхищаясь вместе с ним на небеса. Но увидела мою кислую, как я могу предположить, мину и уверенным жестом бывшей жены достала из кармана Юриного пиджака носовой платок. Она сказала: – А ты, грубый писака, не подглядывай за тонкими чувствами… – и тут же начала: – Юра, ты мне пиджак насовсем отдал?

– Тьфу, ты! – в сердцах уже сказал я.

Она замолчала под своим пиджаком. Только спросила:

– Чего ты? Нежные все кругом… Как итальянские колготки…

Но ирония вместе со всеми ее ржавыми механизмами опустошала меня хуже водки, когда не хочешь, а тебе навяливают: выпей да выпей. В разговоре случайно выяснилось, что вчерашние

день и ночь выпали из моей памяти.

– А мне казалось, что и дня не прошло…

– День был хороший – водка плохая. Не переживай. То-то тебя – ни я, грешная, ни отец Христе.. как же, как же это…

– …дул? – уточнил я.

– Да, Петя! Дул! Он не мог найти тебя с семью собаками, керя!

– Что это он псарню-то развел?

– Ага! Очень красиво, очень интеллигентно! – воскликнула Наташа. – Сам первый начал! А я фигурально выразилась. Отец Христодул просил тебя, как откопаешься, позвонить Ане. Сделай это непременно.

Мы вернулись в палату.

8

Все шло своим чередом. За окнами сгущался ранний сумрак ноябрьского воскресенья.

Толстячок Иван Георгиевич лежал тихий, маленький, доверчивый, похожий на щенка сенбернара, в своих зеленовато-желто-черных очках на подглазьях. Лишь иногда он поправлял повязку на седой голове.

По седьмой молитве иерей взял стручец седмый и, омочив во святой елей, помазал болящего. С тем начал молитву:

– Отче Святый, Врачу душ и телес, пославый Единороднаго Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, всякий недуг исцеляющаго, и от смерти избавляющаго, исцели и раба Твоего Ивана, от обдержащия его телесныя и душевныя немощи, и оживотвори его благодатию Христа Твоего…

Я, грешный, отвлекался. Несмотря на высокий молитвенный настрой, меня знобило от прикосновения к чуду. Оставаясь светским человеком, простым и нерадивым мирянином, я не мог измениться в один раз, как этот тбилисский грек. Мне казалось, что глаз смиренней и опытней, чем эти его недавние буркала, я не видел нигде. Казалось, что этот человек отныне может жить, уже не произнося слов – ему этого не надо. Мне казалось, что он облачен в рубашку, которая легче и надежней бронежилета, что руки его, держащие свечу, никогда не касались грязных денег и чистых дев.

– …бессребреников Космы и Дамиана, Кира и Иоанна, Пантелеймона и Ермолая, Сампсона и Диомида, Фотия и Аникиты; святых и праведных богоотец Иоакима и Анны и всех святых…

Вспоминался далекий дом в степи, где смотрел, может быть, из окна на почерневшие зимние прясла мой Ваня. Подышит на стекло, потрет – и смотрит. За плетнями, за пряслами – дорога. Куда уведет она моего белоголового мальчишку? «… Мама, дай мне еще чего-нибудь святого…» Как же, Ваня! Выходит так, сынок, что если твой папа не убьет их – они убьют тебя, спроси Алешу. Что же прикажешь мне делать, сынок? Ну, будем мы с тобой сидеть у окон, топить стульями с табуретками печку и ждать, что нас придут убивать. Если холодом, голодом не выморят нас эти дети Арбата – заберут на войну, на которую сами не смотрят даже по тиви.

Думаешь, я отдам тебя, Ваня? Как бы не так. Мой керя – дядя Юра – прав: мы с ним уже на войне. Мы должны убить их, чтобы жили и размножались наши дети…

– … Яко Ты еси источник исцелений, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со Единородным Твоим Сыном, и Единосущным Твоим Духом ныне и присно и во веки веков, аминь.

Батюшка Глеб велегласно возгласил: «Царю Святый», положив Евангелие на голову Ивана Георгиевича, прочел отпуст, причастил грека. Приблизил крест к его фиолетовым губам:

– Целуй крест, раб Божий Иван, на одре лежащий…

Тот поцеловал крест, потом Евангелие и по-русски чисто произнес трижды, как научил его батюшка:

– Благословите, отцы святии, простите мя грешнаго.

Едва он произнес свою просьбу третий раз, как отец Глеб покачнулся, протянул мне знакомый складенек с изображением Спасителя:

– Подержи, Петя…

Он выскочил в коридор – туда, где ждали окончания соборования наши друзья.

«Астма…» – укладывая в батюшкин саквояж утварь, привычно подумал я. И когда Иван Георгиевич с тревогой спросил меня: – Што с батюшкой? – я и ответил легкомысленно:

– Астма, Иван Георгиевич!

– Я выписал Наташе чэк для ваше имья, Петр. Стройтэ храм. Я уже говорыль батюшке, что у меня одно условие: хочу лежать в церковной ограде, когда Господь мьеня вострэбует… Прощай, брат…

Не моя ли кровь его преобразила? – мелькнула искусительная мысль. Я пожал плечами, в смятении душевном поблагодарил его словами «спаси вас Бог!» и вышел вслед за батюшкой из реанимационного бокса.

Отец Глеб стоял спиною к стене и рвал своими легкими руками невидимую петлю на худенькой шее, по-рыбьи хватал посиневшими губами больничный воздух, глаза его закатывались..

– Юрка-а-а! – закричал я, подхватив батюшку под силки. – Наташа-а-а! Врача-а-а!

Утирая на ходу губы, с лицом, испачканным губной помадой, из кабинета доктора Ксении выскочил Медынцев.

9

– На твои вопросы о современной церкви, Юра, отвечу просто. Внутри храма – нет ни старого, ни нового времени. Я – верующий, и веру у меня отнять не в силах ни дьявол, ни человек, ни вселенские катастрофы, – говорил отец Глеб, лежа в соседнем с Иваном Георгиевичем боксе. – И я буду бороться за веру Православную до тех пор, пока меня Бог не покинет…

Мы вчетвером стояли у его кровати. Незаметно подошла Ксения.

– Я служу Богу, Юра. А ты служишь революции. Это ведь та же литургия, но литургия

безбожная… Безотеческая… Похоже, что революция – это расплата человека за то, что он неправильно живет, и в некотором смысле за то, что он живет вообще. Где-то я читал именно о таком понимании революции. Православная же Евхаристия, Юра, не отменяет земной борьбы за справедливость. Наоборот… Богом все дозволено. Все, что с любовью, с тоской по благодати. Запрещается ненавидеть… А мы живем в стране временно победившего атеизма. Разве вы не видите, Юра, что не просто уничтожает нас атеизм, а натравил нас друг на друга, и мы сами друг друга уничтожаем!..

– Нет, нет, нет! Не понимаю!.. Что надо сделать?

– Для этого следует – сесть в позе Будды на балконе и смотреть на облака или на звезды, – сказала вдруг Ксения нервно – нервы сдали.

– Что пишут умные люди? Они пишут, что атеизм – скрытый сатанизм… Веруйте, Юра, в Святую Троицу – в этом спасение души… А тело – полечим, правда, Ксения?

«Батюшка, а что мне матушке-то вашей сказать?» – хотел спросить я. Но тут керя упал на колени и пополз на них к одру, ухитряясь при этом биться немытым лбом в стерильный пол. Добравшись до батюшкиной руки, он омыл ее слезами, одновременно бормоча покаянные слова, издавая скрежет зубовный, шмыгая носом и мотая повинной головой.

– Это я вас так… я вас, бачка… Простите, каюсь… Грехи мои… О-о-о, мама!,.

– Нет, керя, – улыбался отец Глеб. – Это не ты… Это мое время пришло… – И смотрел на нас ласковыми синими глазами. – Я ведь в Ленинградскую-то блокаду служил в артиллерийском дивизионе, детки… – говорил он. – И были мы, солдатики, такие же доходяги, прости меня Господи, как и все блокадники. Контузило. И лежу я в госпитале – сил нет, молодость – одна сила. Главврач приходит. Хирург Анатолий Васильевич, верующий был. И говорит: «Кто, ребята, ходячие – вечером надо вашими силами дать концерт для ранбольных! Ты, – это мне, – хорошо поешь. Споешь…» Пошел я в назначенное время. Вот он – марш на второй этаж, где ранбольные лежали. Вот он – баян, который мне поручено нести. Я этот баян-то едва, брат ты мой, поднял, а по маршу идти нет наших сил. Пошел, упал. Не помню, как очнулся в палате, как вот сейчас… Оглядываюсь: лежат наши как лежали. Петя тоже Седых – лежит, дышит. Садовский-сержант лежит. Палата больша-а-а-ая. Конца не видать, общая палата. И ходит между рядами – кто?

– Доктор! – предположил Грека.

– Смерть! – шмыгнул носом Юра.

– Жизнь вечная – монахиня! – сказал батюшка. – Вся в черном, сама держит что-то в руках. Похоже, лекарство. То над одним, то над другим нагнется. Одному даст из ложечки, другому даст. Кого-то обойдет вниманием. И вот ко мне приблизилась. Лица, ребята, не помню. «Ешь, лейтенант!» – и ложицу к моему рту подносит. Я спрашиваю у нее, что, мол, это, лекарство? Она опять: «Ешь!» – говорит. Я взял губами-то из ложечки – масло! Натуральное коровье масло из коровьего молока. Держал я его во рту. Оно тает, а я мелкими глоточками сглатываю. А монахиня дальше с обходом пошла. Утром проснулись, я спрашиваю: «Что это, ребята, за монахиня ночью ходила, масла нам давала. Мне, Седыху…» А это, ребята, ходила Ксения Петербуржская. И по позициям она ходила, верующих спасала. Тех, кто не отступил от Христа. А так получилось, что вся наша батарея с командиром вместе подобралась – верующие. И так ни один не погиб, уж на что потом в Восточной Пруссии жестокие бои были… А нынче мое время пришло.[32]

– Э, нет, батюшка! – всяк по-своему возгласили мы. – Тут вам умереть не дадут!

– А вот насчет твоего языка я не осуждаю, Юра. Просто вспомнился один не прихожанин даже, а захожанин. Давно тоже это было… «Что, – спрашивает, – мне, батюшка, делать? Не пью, не курю, жене не изменяю, но что ни слово у меня, батюшка, то и мат. Скоро с работы выгонят. Я в детском учреждении электриком работаю! Спасите, батюшка!» «А как это у тебя, чадо мое, происходит?» – спрашиваю. «Ну, бэ, – говорит, – вот так, бэ, и происходит! И посылаю всех, походя, не взирая на лампасы!» Я ему говорю: «А ты, чадо, вместо «бэ» говори «сэр». А вместо того слова, на которое посылаешь, говори, например, слово «мир»! Вот приходит он через месяц, может, раньше. «Ну как?» «Перестали, – говорит, – меня люди понимать, батюшка! Иду мимо магазина. Навстречу – колченогий из серого дома: «Здорово, бэ! Добавь, – говорит, – двадцать копеек на червивку!» Я ему: «Здорово, сэр! А мира не хочешь?»

Ну, идите, родные, идите. Я молиться буду. А ты, Петя, дитенок, позвони отцу Христодулу, коли уж он в городе. Скажи, пусть придет. Понял, сынок?

– Понял, батюшка.

Мы оставили его наедине с молитвой.

Замкнутое тело города, как тело висельника, в поисках опоры подсаживающегося на кол. Есть ли у города душа?

… Дело было осенью в ранних сумерках. Мы с керей по пожарной лестнице полезли на крышу первой в Китаевске пятиэтажки. Как же не влезть на местный небоскреб! Лестница была холодной и мокрой. Оттого, что руки потеряли чувствительность, я сорвался. И в следующее же мгновение я оказался сторонним наблюдателем того, что происходит. Причем собственное не то скольжение, не то падение по лестнице я видел попеременно с двух точек. Первая – непосредственно изнутри моего тела. Ощущение – падаю не я, падает тело и при этом с огромной скоростью, как хороший компьютер, ищет варианты своего спасения. Вторая – я лечу рядом со своим падающим телом и вижу это со стороны. Застрял я за пять ступенек до конца лестницы. И с полчаса сидел на ней, приходил в себя. И вот с этого момента я стал догадываться, что я и мое тело – это разное, что я могу жить и действовать независимо от него. Потом острота озарения пропала, я уже не был в этом уверен и даже гнал от себя эти воспоминания, стесняясь их, как детской веры в чудеса.

Иван Георгиевич снова напомнил нам о том, что жизнь продолжается там, за чертой смерти и, наверное, во многом определяется тем, как мы ее просадили здесь.

Так и душа города живет сейчас вне видимых глазу очертаний собственной выморочности. Мы смотрели на него из окон кабинета доктора Ксении. Благо шло воскресенье. Работала только дежурная смена, и Наташа, пользуясь благорасположением Ксении, вызвала сюда и отца Христодула, и Шалоумова.

– Мы сделаем так, – режиссировал керя. – Шалоумов закажет на завтра внеочередной эфир. Передача как бы о том, какие хорошие у нас буржуи! Один из них, известный в городе хлеботорговец Иван Хара, жертвует огромные деньги на строительство православного храма и детского приюта в деревне Антониха. Есть, есть в нашем народе предприниматели, не погнавшиеся за личным обогащением, умеющие контролировать собственные потребности, думающие в первую очередь о благе общественном. Сенсация! Натаха сядет в студии на звонки, она наши голоса знает, она будет обеспечивать связь. Для страховки я, допустим, буду называть ее Аленой, ты, керя, назовешься, к примеру, Коневым из села Коровий бор, а

Ксения…

– Ивана, Анпиратор, не замай! Ксеньку – не впутывай! – сказала Наташа. – Революция не должна пожирать своих врачей! Подскажи ему, Петя – он тебя слушается!

– Ревнуешь. Это плохо. Но Ксению Сергеевну впутывать не буду, хорошо. В эфире достаточно будет и двух китов: Шалоумова с керей. У них хорошо получается. Сотни моих людей сядут на линию. Они обеспечат поток звонков – только успевайте крутиться, керя, как волшебные жерновцы!

– А я-то опять с какого боку жерновец, керя? Я сюда зачем ехал: чтобы ты на мне ехал или чтобы все же заработать на пропитание семейства? И Наталья права: не надо делать фарса из преображения человека! Из чуда Божьего! Не каждое лыко-то суй в строку! Не смей! Ведь только что на коленях к батюшкиной руке полз, лицедей ты ползучий!

– Правильно! Ты хороший – я дурак. Отвечаю на первый вопрос. Ты, керя, уместен у микрофона потому, что Иван Георгиевич отказал деньги на строительство храма именно твоему семейству, а не мне, лицедею Медынцеву! И твое местонахождение в прямом эфире – оправданно. К тому же никто, как ты с твоей всегда козырной системой расстановки акцентов, не откроет людям глаза на вопиющее беззаконие! У них шоры! – и он почему-то постукал пальцем по лбу Ксении. Она мило улыбнулась мне. – Второе: смотри, сколько денег обломилось тебе от хлебной торговли! Сто тысяч долларов! Мало?

– Очень много. Но это не мои деньги!

– Да, действительно… – на мгновение смялся он. – Твои, керя, заработанные, у меня, я могу тебе отдать. Вот только дождемся Шалоумова.

– Вот и хорошо, – сказал я. – Тогда и поговорим.

– Видите? – спросил женщин керя. – Отечество в опасности, а этот Козьма Минин торгуется с князем Пожарским об ста рулонах ревендука[33]! Измельчал русский народ.

– Давай, керя, сегодня больше не острить. Хорошо? Иначе пропадай моя телега! Я жене с ребенком не могу позвонить которые сутки! И прекрати морочить мне голову этими своими… рокировками!

– Рокировками? Хорошо. Давай, керя, за читку пьесы! Суть нашей акции такова: пользуясь случаем, вы должны сказать, что по большому счету население России никому не нужно даже как расходный материал. Эти миллионы стариков, старух, баб, мужиков и детей нужно кормить, согревать и лечить. То есть тратить на них часть доходов от продажи Родины. Они будут требовать свое по праву рождения на этой земле. Выморить их, заменить. На это есть азербайджанцы, китайцы, негры, которые по дешевке насверлят дырок в бывшей русской земле и – успевай выкачивай оттуда содержимое. Потому торговля человеческими органами, которую кроет Шулер, – это цветочки, хоть и дурно пахнущие! Ягодки – впереди. Но чтобы не обожраться этой белены с крушиной, мы, представители мыслящего общества, должны инициировать судебное разбирательство всей этой деятельности Шулера. Единственное, чего они боятся, – это использования народного недовольства какими-нибудь посторонними силами, или просто народного бунта.,

– До чего ж ты неприятный тип, Анпиратор! – вздохнула Наташа и с сочувствием погладила Ксению по затылку. – Что скажете, Петр Николаевич? Он кто: представитель неведомой потусторонней силы или подстрекатель к народному бунту? Или это – сложение векторов?

– Да хорошо, всё хорошо! Скажу одно, что после этой передачи твоего Хару убьют на больничной кровати, меня повяжут, а деньги отнимут. Это и будет разложение векторов: керя – в кустах, мои Аня с Ваней сушат мне сухари, Наталья – ни жена, ни вдова, к тому же безработная… – уныло сказал я. – Давай дождемся Шалоумова. А пока я пошел молиться куда-нибудь в угол…

– Ксения, поставьте, пожалуйста, мальчика в угол! – начал Юра. И вдруг спохватился: – Извини, керя!

Слава Богу!

«Владыко Вседержителю, Врачу душ и телес наших, смирящий и вознасяяй, и паки исцеляяй! Раба Твоего Глеба немоществующа посети милостию Твоею, простри мышцу Твою, исполнену исцеления и врачбы, исцели его, возстави от одра и немощи. Запрети духу немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, всяку огневицу и трясавицу, и еже есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости…»

«Ах, не умею я молиться! Где витают мои мысли?»

Кто-то за моей спиной заглянул в комнату, сказал женским баском: «О!» – и удалился. Проскрипели колесики каталки в коридоре.

«… Господи, пощади создание Твое во Иисусе Христе, Господе нашем…»

«Где вы, Аня с Ванюшкой? Где ты, Алеша? Жив ли ты, малыш? Господи! Помоги же этому одинокому ребенку. Как ему жить в оскалившемся мире, в этом жестоком городе, полном помешанных взрослых? Спаси его, сироту, Господи, хрупкого, полного невыплаканных ангельских слез!..»

«…с Ним же благослови еси, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь…»

Вот придет еще и отец Христодул – помолимся вместе во здравие нашего ясного старинного батюшки.

Тихо открылась дверь, я встал с колен и оглянулся.

– Т-с-с! – приложила палец к губам Наташа. Обвила меня руками за шею и прошептала: – Ксения – сексот, Петя. У них в ранимации так положено, и зарплата к тому же маленькая. Керя все знает. Он играет. Он хочет прогнать им кино про Джеймса Бонда… – Она вложила мне в руку бумажный лоскуток. – Здесь адрес – это дом напротив. Сдувайся в темпе! Иди туда – там ждут Шалоумов и отец Христопраз…

– Христодул! – поправил я.

– Молчи, керя. Лучше бы поцеловал… Да куда тебе!

– А керя как же? – прямо ей в ухо шепнул я.

– Ой! Щекотно! – пискнула она. – Керя нам не указ!

– Да я и говорю: керя остается, что ли? Ты что, как Ариша бесполденная!

– Керя подтянется! Кино керя прогонит и придет… Это у него называется перевербовкой

агента. Ты же знаешь: он всегда был неразборчив в связях…

– А ты?

– Я тоже.

– Я о другом.

– А-а! Я остаюсь с Иваном, с батюшкой. Им с батюшкой нужен уход. И ты уходи. Давай, Петя… Сдувайся через центральный выход!

10

– Весело, керя! – открыл мне и сразу же возбужденно заговорил Шалоумов. – Сейчас они нас в больницу брать прибудут, а мы из окошка на них поглядим.

– А где же отец Христодул?

– Он зубы чистит, керя! Хочет тебя зъисты! Третьи сутки по городу Горнаулу тебя разыскивает. Был и по адресу бункера – ты не открывал на звонки. Хорошо. Наташа всех построила. Нашли тебя! Вы с Юрой хороши: керя Анпиратор и керя Конспиратор! Батюшка тебе письмо оставил – и по своим отеческим делам отбыл. На столе для тебя еще записка из дома! Пляши!

– Слава Богу! – дало сбой и рванулось к деревенскому дому мое сердце. Мои простые чувства взыграли, вспенились во мне пузырьками праздничного шампанского. Вспомнилось прошлое Рождество с закланием гуся, счастливые объятья и восторженные глаза сына после праздничной молитвы, и смущенно-неодобрительное покряхтывание тестя, закопавшего в стайке свой партийный билет с огромным номером. И мне захотелось рассказать кере Коське о том, как я соскучился, как много передумал за эти бурные дни. Но пока я раздевался и шел к столику, Коська не позволил себе ни единой паузы:

– Керя, ликуй! Лихие люди ограбили дачу полковника Клячина! У него при окладе девять тысяч рублей со всеми премиям, выплатами и гробовыми обнаружилось несметное количество драгоценностей, как у царя морского! Жадный он оказался! Зачитываю весь протокольный список по памяти: тридцать тысяч зеленых, наручные часы «Патек Филипп» и «Картье» из белого золота, золотые часы «Морис Лакруа», золотая цепь длиной полметра, золотые кулоны в виде сердца и кувшина, семь золотых колец, в том числе три с бриллиантами, брошь с аквамарином, инкрустированная камнями белого цвета, и нательный крест с изображением Иисуса Христа. Мелочей не помню, копия протокола у меня есть!

– Погоди, Коська! Уймись! Довольно считать деньги в чужом кошельке! – я сел на визитку и своими дрожащими руками вскрыл конверт. – Уймись, керя!

Писала Аня.

«Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! Где ты пропал, Петенька, родной наш папочка? Мы ведь с Ваней соскучились, а новую карту для мобильника купить не на что, некогда и негде. Стихов я давно не писала, и вдруг они полились слезами.

Над нами – небо,
Меж нами – версты,
Алмаз моей души.
Ты хлеба, хлеба,

Простого хлеба
Голубкам покроши,
При мне – икона,
К тебе окошко,
К тебе, родному, нить.
Жены молитва,
Как неотложка,
Способна ль воскресить?[34]

Далее – по умолчанию. Засланный тобой твой сват Алеша у нас, помогает по хозяйству. Как ты думаешь, хорошо ему с нами будет? Мы с Ванечкой думаем, что неплохо. Ванечка уже многие иконы знает! Эта, говорит, «внимательная». Так будь же к нам внимательней, мы ждем тебя, Петя. И любим верно и преданно. Аня, Ваня, Алеша».

– Домой, – сказал я. – Войне конец, керя. Простая человеческая радость – этого кому-то мало, мне же – в самый раз.

– Давай, керя, дембильнись, – согласился Коська, глядя в окно. – А мы еще повоюем! Только вот что скажут вам прихожане? Стало быть, вы хорошие, умные и правильно верующие, вы – бежать спасать не то души, не то драгоценные задницы, а мы – глупые, неправильно верующие – останемся страну спасать, на смерть идем! – он развернулся, подошел и присел передо мной на корточки. – Так? Посмотри мне в глаза: ведь я тебя нашел, Петю Керю, а ты – уходишь в этот… садомазохизм!

– Я, Коська, за своей душой иду. Куда она ведет, туда иду. А смерти нет, вот и Иван Георгиевич подтвердит…

– Ты мне еще в письменном виде подтверждение принеси. И пусть Иван Георгиевич подпишет. Нет! Шалишь! Вам нужна торжественная мученическая смерть от супостата, а нам, якобы грешным, – богатство, женская ласка и свобода. А ты ребенка ангельского спросил, хочет он мученической смерти? Какие уж там Ослаби с Пересветами! Если уж и сама власть заменяет идеологию религией, то это тупик. Так давайте – в скиты, в глухие деревни? Да вас и без того никто из сильных мира сего не замечает! Но если надо будет – найдут, из глубокой шахты выкопают! А вы будете только немытыми лапками в воздухе шевелить да на свет Божий щуриться!

– Не сомневаюсь. Наверное, я слабей и проще тебя, керя. Но еще слово, и я тебе засвечу так, что сначала *ты, керя,* лапками зашевелишь! Запасы юмора кончились, тишины хочу.

«Непростительно уйти в сторону от борьбы, когда ты полон сил. Когда их нет, то ты просто обязан отойти в сторону, чтобы не быть помехой. Тогда, говорят, разбитые, рассеянные силы могут вернуться…» – думал я.

– Начинается! Анпиратор идет – что сейчас будет! – сказал Коська Евдокимов дефис Шалоумов. – Вот это режиссура! Они в полной уверенности, что вся наша «банда» в больнице у милой стукачки Ксюши. Стукачка Ксеня как-то в ма-е-э-э… Пойду-ка я, поставлю чайник.

Коська снова отошел к окну. Я вскрыл письмо от отца Христодула.

«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! Здравствуйте, Петр Николаевич! Я прочел Ваш обстоятельное письмо и постараюсь на него ответить столь же обстоятельно. Не знаю, увидимся ли мы. Меня зовут работать в город, в Епархию. У нас, как в армии, приказы не

обсуждаются. Но я хочу снять с себя сан и уйти в бизнес. Квартира, в которой вы сейчас находитесь, снята для меня и моих детей моими бывшими сослуживцами, а ныне – бизнесменами. Я ведь бывший майор ВДВ…»

Тревожные предчувствия охватили меня, заложило уши. Я закрыл глаза и стал гадать: что же дальше в этом ответе на мое письмо, которого я уже не написал бы сегодня? Что, не мною созданное, я невольно разрушил? Я снова глянул на письмо – оно было длинным. Я панически пробежал его глазами, словно желая ознакомиться на случай грядущего нервного потрясения.

«… Говорить и признавать правду часто бывает невыгодно, стыдно и больно, но через эту боль мы обретем утраченное внутреннее здоровье и целостность. Я беспокоюсь за свое внутреннее здоровье. И даю себе отчет в том, кто я в сущности есть. Я вдовец. Моих детей, двух девочек, прокормить-то еще я смогу, но им нужна мать. Они безнадзорны. Когда умерла моя супруга, ей было едва за тридцать лет, и она ведь была неплохим музыкантом, могла регентовать. Скажу вам, что я попросту не вынесу этого испытания детьми-сиротами. А жениться вторично нам, священникам, сан не позволяет…»

– Ничего не понимаю! – сказал я грозно. – Что за дьявольские козни? Он все еще не может поделить со мной Аню?!

– Баня? – отозвался, перекрывая жужжание кухонного радио, Коська. – Сейчас будет баня!

В слепящей ярости я все еще пытался увидеть в письме то, чего ожидал, а вовсе не то, что там написано.

«… Заработков никаких. Уродлива практика, когда батюшка питается не за счет десятины, а вместо этого получает зарплату, как и гражданский человек. Но кто замолвит словечко о тех же псаломщиках? Я не вас, шабашников, имею в виду, а тех, которые являются хиротонисанными чтецами? Ведь они также должны питаться за счет Церковной казны. Причем те, кто распоряжаются Церковной казной, не имеют право оставлять младших клириков погибать от нужды. «… Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, некоему от клира нуждающемуся не подает потребнаго: да будет отлучен. Закосневая же в том, да будет извержен, яко убивый брата своего…» (9-е Апостольское правило). Вот и получается, что у нас очень многие выпускники духовных семинарий идут на гражданскую работу по причине того, что принять Хиротонию они пока еще не решаются, а служить чтецами и получать жалкую зарплату для них означает, извините, умереть от голода или быть выселенными из квартиры…»

Дальше, отец Христодул!

«… Ваше письмо подхлестнуло принятие мною и уже известное вам решение. Я уже знал, что не одними иерархами утверждалась и утверждается крепость Церкви Божией, не ими и не учеными богословами хранится святое достояние ее – Дух Истины. Иногда миряне больше архипастырей обнаруживают не только ревности о деле Божием, но и разума духовного. И раньше «уши народа» оказывались, по словам св. Илария Пиктавийского, святее сердец иерархов. Подлинное самосознание церковное движется не по пути иерархичности и учености, а по руслу святости. Отстраненность наших архипастырей от духовного руководства привела к тому, что и среди священников противоречия в мировоззрении достигли небывалого напряжения. Или их неспособность к нему, духовному руководству, как в случае со мной. Духовенство и мирян, по моим ничтожным наблюдениям, разделяло разное понимание земных и вечных ценностей, но это же основы, на которых стоит все церковное вероучение. А вот поди ж ты, многие из нас теперь по-разному смотрят на эти основы. Что уж говорить о бедной нашей пастве, раздираемой противоречивыми проповедями и поучениями своих собственных

пастырей!..»

Дальше, отец родной! Где Аня? Куда ты уводишь мою Аню?!

«… В предании Церкви ничего не переменилось, но переменилось восприятие Евхаристии, самой ее сущности…»

Где же Аня-то, дорогой товарищ комдив?

«… И получается, что современная Церковь – это лишь дисбат, инструмент изощренной в своей подлости политической Системы. И куда же мне идти, куда вести своих детей с моим желанием видеть на земле нового человека? В революцию, как Вашему другу, Анпиратору? Может быть, революция восполняет литургическую пустоту. Может быть. Может быть, Сильный во бронях Господь дарует им Победу. Во всяком случае, я не встану на пути революции. И как мирянин буду молиться за нее. Но я насмотрелся на человеческую кровь и никогда уже не смогу, наверное, проливать ее, если дело не коснется прямой угрозы жизни моих детей…»

Письмо кончалось:

«… Вам как писателю, наверное, интересно знать, отчего у меня такое имя, хоть я и не монах. Так получилось. Христодулом назвала меня моя набожная деревенская бабушка. Одноклассники звали Крисом, мне это нравилось. Когда получал паспорт – сменил имя. Когда поступал в семинарию – восстановил по метрике. Относительно Анны Михайловны, не нарушая тайны исповеди, скажу: такие не предают. Дерзну, грешный, позавидовать Вам…»

«Стало быть, я туда, в Храм, а ты – обратно?..» Я впал в оцепенение, которое показалось мне долгим. Из этого меда вырвал меня Коськин вопль:

– А-а-а!

«Ошпарился!» Я вскочил с низкого кресла, как с низкого старта и, не разогнувши до конца спины, кинулся на кухню. Мы с ним больно стукнулись лбами.

– Керя! – сказал он, весело потирая мой лоб. – Керя! Тебе не нужен гранатомет – Шулера, гада, застрелили!

– Чему радуешься? Ты и убил! Под тебя роют!

– Знаю! – отозвался он. – Но я еще живой, а его уже – тю-тю!

Я вспомнил отчего-то полиэтиленовые пакеты. Пустой в Крыму на можжевеловом кусту, потом – с продуктами и портретом Димки в руках Натальи. Лопнули пакеты. Содержимое растекается…

Не успели мы, перебивая друг друга, изложить внятно свое видение произошедшего, как пришел стратег.

– Здравствуйте, коллега Шацких из параллельного мира нищих духом! – начал Юра, но сияющий Шалоумов тут же сообщил ему новость. Юра глянул на часы:

– Половина седьмого. Это приятное сообщение. Оно должно ускорить ход событий. Я сказал Ксении, что мы пошли ужинать, а соберемся у нее ровнехонько в семь. Пойдемте пить чай и

усиленно думать. Объявляю мозгобойный штурм, кери вы мои!

… Ровно в семь пятнадцать в больницу ворвались люди в масках. Мы смотрели спектакль из правительственной ложи. Обратно они вышли не спеша, без багажа, как по трапу самолета.

– Облизнулись. Вот это кино, – уважительно говорил Шалоумов. – Вот это режиссура! – и пошел прикладывать холод к распухшему от удара моей головы носу.

– Кому – кино, кому – ино, – сказал я.

После успешного покушения на мэра уже работает система «Перехват». Значит, город закрыт, а мне – домой. Я не понимал лишь: меня-то с каких щей ловят? За то, что дублировал керю на радио?

– Мне ведь, керя, домой надо, на деревню. Как я полагаю, у них нет оснований брать меня на цугундер?

Медынцев сказал мне на это:

– Бывают страшные семьи: если у папы на лице прыщи, то они появляются и у мамы с ребенками. Они ведь, керя, не преступление раскрывают – им нужно сказать телезрителям: задержаны первые подозреваемые… матерые экстремисты… один прикидывался радиожурналистом, второй прятался под личиной псаломщика… по делу открыто следствие. Они же не скажут «уважаемым телевизорам», что сами Димку и хлопнули: он бы проиграл эти выборы вчистую… Ловко! Нет, тебе, керя, гранатомета. А ворон в огороде пугать – рогатку сделаешь… До города Китаевска мы тебя доставим…

– А Коська – как? Я ж ему лицо нечаянно разбил. Теперь он страшней Усамы бен Ладена. А ты – как?

– Я же и говорю: нас провезут через кордоны. Весь этот хухрыжный балаган утихнет – они найдут, кого схватить. Потому Коська отсидится в монастыре, место ему забито. А я хорошо прикрыт в этих больших маневрах.

– А нищие?

– Всяк из нас нищ перед Рокфеллерами. Мои нищие будут мне рукоплескать!

Так получается: грешный отец Христодул завидует мне, я отчего-то позавидовал кере – все ему ясно, поезда идут по расписанию.

Я счет нужным сказать на прощанье:

– Еще неделю-две назад мне последний раз снился механизм Калашникова, керя. Но – извини. Я проснулся и окончательно понял: моя работа там, где сейчас умирают люди без причастия и без молитвы. Словом, буду поступать в духовную семинарию, а там и наши подтянутся.

– Никак, ты у меня бесповоротно рехнулся, керя, – вывел он.

– Никаких «никак», а никак нет, Ваше Анпираторское Величество, не извольте беспокоиться! Вы занимайтесь, керя, «ремонтом земли»[35], а я – текущим ремонтом. Ты помогай живым жить по-людски, а я – уходить по-людски. Ты – Василеве, а слово это того же происхождения, что и базилик – «средство, посредничество», поскольку цари считались посредниками между

верующими и богами, землей и небом. Где-то мы снова сойдемся, керя. И, наверное, очень скоро. Побереги себя, керя.

– За мной сила.

– Нечистая это сила. Угольная мафия, что ли? Кинут они тебя. И во гроб гвозди вколотят.

– А у меня керя – псаломщик! Свой человек перед Господом Богом!

Я обнял Юру.

– Через час – отбываем, – растрогался он. – Дождется тебя, во?рона, твоя Нюська! Обрадуется! Надо бы ей да Ваньке подарочки по дороге купить…

11

Прощай же, прощай, Горнаул, столица Шалтайского края!

Ранний предзимний сумрак успокаивал своим лживым покровительством. В машине с номером фээсбэ нас вез моложавый смуглый мужчина. Тот самый туркмен, который обязан Юре своим московским спасением? Все это настораживало своей правдивой простотой. Шалоумов дремал на моем плече. Керя разговаривал с пилотом. Я неудержимо думал о доме, который казался мне Брестской крепостью духа. Нас не остановили ни на одном милицейском посту, а когда мы миновали Бабаев Курган и пошли по трассе к последнему посту на въезде в город, то чтобы приглушить тревогу, я решил позвонить не кому-то из могикан, а своей беспамятной Раисе Терентьевне.

– Керя, – сказал я, – дай мне свою трубу…

– В счет аванса, – сказал керя.

Шалоумов, похоже, спал крепко. Я набрал номер и долго слушал длинные гудки, воображая то, как старушка вставляет в шлепанцы ноги, долго озирается и не может понять: в дверь ли это звонок, или вообще что это такое… Потом она обнаружит звон, узнает, где он, и спросит:

«Сереженька, а Россия жива?»

«Жива, слава Богу, Раиса Терентьевна! Очнулась после ранимации в этом историко-географическом пространстве да сразу есть попросила!»

«А кто сейчас вождь?»

«Для меня вождь – Христос, Раиса Терентьевна…»

«Значит, Церковь Апостольская жива, Сереженька?»

«Жива, Раиса Терентьевна! Правда, наблюдается незначительный процесс расцерковления быта. Евхаристия, Раиса Терентьевна, в сознании христиан превратилась в частные требы, но это еще не факт православного бытия, а что вполне вероятно, факт моего контуженого сознания! Кому до него есть дело? И правильно, что дела нет…»

«Нет, Сереженька! Но при чем же здесь Господь? Он ведь испытывает нас, ангел вы мой!»

«Господь Бог жалеет нас, не оставляет своей Благодатью. Наша страна широкая, богатая,

прекрасная, вообще создавалась, расширялась и украшалась православными людьми, для которых и сомнения в ее будущем не было…»

«Неисповедимы пути Господни, но, может быть, он делает так для того, чтобы мы сами о ней, о Благодати, затосковали? Ведь тоскуем же мы об утерянном доме? Может быть, она снизойдет хотя бы к нашим детям…»

«Только русский православный фундаментализм, Раиса Терентьевна, спасет русских детей, может быть. Я понятно излагаю, Раиса Терентьевна? Ведь они, детки, видят то, чего мы не видим или видели да забыли… А сейчас, дорогая Раиса Терентьевна, – стихотворение:

Когда за ходом облаков
по лоциям небесным
Следил ребенок, возлежа
на летнем берегу,
То мама пела на лугу —
ему казалось – песни,
И медонос благоухал
перед грозой в стогу.

Казалось, этой тишине
вовек конца не будет.
В ней даже самый легкий вдох —
казалось – шелестит.
И вдруг ребенок крикнул: «Ох!
Скорей смотрите, люди!
Смотрите: Бог! Смотрите: Бог
на облаке летит!»

Смотрели люди в небеса:
казалось им – драконы.
Они смотрели на мальца:
казалось им – чудно.
В жилищах не было икон.
Вместо икон – законы:
Нам должно космос покорять,
сверлить морское дно.

А Бог на облаке летел…
Под синей неба сенью
Он видел: ангела душа
за ним летит легко.
Стояла времени река.
Стояло Вознесенье…
Казалось людям, что четверг…
До Бога – далеко…

– Алло! – ответил мне, наконец, веселый девичий голос. – Вам кого?

– Здравствуйте! – растерялся я. – Мне хотелось бы услышать Раису Терентьевну!

– А вы на машине?

– Да, я… мы на машине.

– Ну так и поезжайте к ней на тот свет – она ведь умерла позавчера!

Я услышал дружный молодой смех – наверное, это смеялись над нами с новопреставленной дети ее детей. Меня передернуло так, что с недовольной миной проснулся Шалоумов.

– Ты что? – потряс он головой. – Агония началась, никак?

– Я – ничто. Аз есмь червь. А вот плечо ты мне, Коська, отлежал – мозжит плечо, – сказал я и попросил Юру: – Керя, давайте заедем по пути в нашу китаевскую церковь! Заедем на кладбище, где наши лежат, а?

– Запросто, но бы, – отозвался керя. – Нам нельзя. И путь впереди неблизкий. Коську в монастырь на послушание определять. Это ж тебе не ребенка в роддоме оставить – и бегом на дискотеку! А еще надо тебя в твою чухомань забросить.

– В какую еще «чухомань»?

– Чухомань как чухомань, – зевнул он.

«Ладно, – думаю. – Дома помолюсь вместе с Аней за новопреставленную рабу Божию Раису. Нечего людей отвлекать…» Но Юре сказал почему-то:

– Отдавай мои деньги, керя!

– Что, свечечек не на что купить? – елейно сказал керя и закрылся руками, как от удара. – Грабю-ю-ют!

Я не стал сдерживаться и крепко стукнул его по крепкой жеребячьей холке.

12

Эх, керя, ты керя! И нужна она тебе, эта хула? Смею думать, что не Святая Церковь и неправедное священство гнут наши спины и лишают сил, а бесконечная череда грехов да упрямое отвержение Божественной Истины.

Я буду строить Храм. Человек приходит в Храм и оставляет за порогом все скотское, суетное и мелкое. Он открывает душу высокому, светлому и вечному, как само небо нашего Великого в своей простоте детства.

Я вижу его. В восточной части на возвышении – алтарь, отгороженный от остальной части Храма иконостасом. В самом центре алтаря – престол, антиминс и большой золоченый крест, украшенный стразами. Он располагается сразу за антиминсом, в дальнем выступе престола. Прямо под антиминсом лежит Святое Евангелие, а чуть сбоку от стола стоит дарохранительница с причастием. В северной части алтаря стоит жертвенник – четырехугольный высокий столик для приготовления хлеба и вина. На нем расположен дискос – небольшое круглое блюдо на ножке для помещения хлеба, лежит копие – маленький ножичек для нарезания просфорок и лжица – серебряная ложечка для причастия.

По сторонам от иконостаса над полом возвышаются солеи и выдается выступом амвон. Сразу за амвоном, в самом центре иконостаса, располагаются Царские Врата, через которые, как через игольное ушко, во время богослужения проходят священники.

Отец Христодул, хороший человек, не прошел. Отец Глеб, хороший человек, прошел.

Я же – грешный подлунный мечтатель, сочинитель застольных песен, соблазнитель женщин, соблазненный женщинами; я – Адам, изгнанный из рая, усатый драчун, усталый бретер и любимец всех гитар мира; я – ворон, плачущий над телами отошедших в Вечность людей, я буду молить Господа со своих новых земных баррикад о Великой Милости: дай мне, Боже, путеводную звезду на пути через игольное ушко.

«Не золотопарчовые фелони с фиолетовыми камилавками, не бахромчатые набедренники и ромбовидные палицы, не саккос со звонцами и не омофор с вышитыми крестами, и не белый клобук дай мне, Господи… – говорю я. – … А дай Ты мне, Великий мой Боже, выстоять в огне и скорби искушений! Если каждый из нас выстоит, родится Россия, обновленная благодатью Христовой!»

Мы ехали мимо темных деревенских погостов, мимо редких в океане степных, снегов огней, похожих на звезды. Справа осталось кладбище села Погорелихи. Скоро сверток, от него мне два километра пешего ходу.

– На свертке остановитесь.

– Зачем? Мы тебя прямо к дому, на вороных!

– Хочу пройтись… Так говоришь, я ворон, керя?

– Мы оба, керя, – вороны. А ворон ворону – глаз не выклюет. Правда, Коська?

Коська спит. Я выхожу в степи.

Приходит час больших испытаний, сынок мой Ваня. Твой отец, похоже, сделал свой выбор. Трус возьмется за валидол, дурак – за автомат. Умный возьмется наконец за ум. А мудрый – за душу.

Скоро начнется правда, которая светлее солнца. Она придет в мой дом. Я – дома.

Эпилог

Мои друзья разбились на стосороковом километре от Убийска, взлетев в небо с трассы на скорости около двухсот километров в час. Зачем-то же я остался жить здесь, внизу?

2006 г.

Рассказы

В монастыре

1

Утро было чудно синим, как забытое льняное поле.

Пора бабьего раннего лета из самых недр России взывала о себе к иссыхающим людям. Если иметь живое еще сердце, то ее, эту пору, можно было принять за стареющую красавицу, которая решилась уйти в невесты Господни. Но по доброте сердечной она явилась проститься с мирянами в своей девической, никому не нужной красе…

Так усталая мать беспомощно грозит жестоким детям: «Вот погодите! Умру – попомните…»

Этим сентябрьским утром Батраков снова влюбился в осень, как влюбляются в детские фотографии привычной жены.

Батраков недосыпал – Коленька подрезал орлиные крылья суток до цыплячьего размаха, но, вопреки расхожим представлениям о времени, жизнь не понеслась вперед и вскачь, а плавно растеклась вширь. Так холодное коровье масло на красную Масленую солнечно, жёлто и радостно растекается по черным чугунным сковородкам.

Снов он, Батраков, не помнил, но пробуждался, бывало, с какой-то ускользающей светлой мыслью, а когда ловил мысль, то мог думать ее долго – она росла и ветвилась. И этим утром его разбудили слова кого-то из персонажей уже забытого сна:

«Жрецы никуда не исчезли из мира…»

– Папа, бъиця! – тут же приказал из своей зарешеченной кроватки Коленька. – В манастий – биби!

– «Вот те на! – не открывая глаз, уцепился он за кончик нитки из бытия в инобытие. – Какие жрецы? Что я знаю о жрецах?…»

– Да, Коленька, да… Я помню, знаю… Беня знает за облаву…

Без четверти семь малочисленное семейство стояло в устье проселка, впадающего в хайвэй. Да, в хайвэй, который некогда назывался «сошейкой». Но страна– сателлит переходила на язык оккупанта и, как всякое легко контуженное существо, ее слегка поташнивало. Но она влачилась, гонимая штабными, не ведая цвета знамени над головой.

Соскучившийся за ночь по сыну, Батраков взял его на руки.

Чисто вымытые Коленькины уши розово и морозно просвечивались востекающим солнцем.

Наташа и без грима выглядела красавицей. К ней, статной и весомой, не подходили стандарты подиумной красоты – она сама по себе. В монастырь она надела на голову легкий платок вишневого цвета, и так это было умно, что, казалось, цвет этот принадлежит лишь ей одной, что она сама его выдумала. Вяленым свежим сеном пахла светловолосая голова Коленьки. Батраков уткнулся в нее прокуренным носом. Знобящим, неописуемым чувством кровной близости и печалью вечной разлуки обратился в слабой душе Батракова запах этого сена…

Коленька притих, словно впал в утреннюю дрёму.

Когда точно в девять за ними подошел автомобиль, когда обменивались коротенькими приветствиями и когда приехавшая Екатерина Христофоровна потрепала малыша за щиколотку, говоря, сквозь страстно стиснутые зубы: «Ух, ти, банда!» Коленька только вяло лягнул ножкой – он словно сросся с отцом.

Чем сейчас было для него время, которое деньги? Что деньги для ангела? Пыль бьющихся черепков…

2

В дороге Батраков коротко познакомился с мужем дородной Екатерины Христофоровны,

который впервые решился переступить порог православного храма и начать воцерковление прямо с монастыря. Это был молодой еще, некурящий отставной полковник высокого роста, несколько затруднявшего ему водительскую свободу. Цыганские сливовые глаза отставного полковника были влажны и остры. Они сидели в припухших мешочках, как стрелки в наспех отрытых окопчиках на господствующей высоте, из которых бдительно простреливали недальнюю дорогу. Звали его Ярославом.

– Что происходит с генералом Трошевым, Ярослав? – спросил Батраков, слушая как жены их, начавши о погоде, помалу втянулись в разговоры о безбожных ценах. – От него ждали многого…

– Башню клинит… – объявил Ярослав и попытался повертеть красной шеей. Шея похрустывала и канцелярски шуршала. Взгляды их встретились в зеркальце заднего обзора и полковник переспросил:

– С Трошевым, вы говорите?.. А что с ним происходит? Вы лучше спросите: что с нами, полканами, происходит… Были беззаботными – стали безработными… Катя вот меня на довольствие поставила, а не она бы, родненькая, – так прямо хоть в петлю ныряй… Стреляться, брат ты мой, патронов нет. – И он снова похрустел шеей. – У вас какое звание, Михаил?

– Раб Божий… – усмехнулся Батраков, прижимая к себе осовевшего Коленьку. Тот открыл сонные глазки и подтвердил:

– Бози, Бози…

Полковник прочистил горло легким кашлем и, сочтя, наверное, невежливым свой уклончивый ответ, продолжил в иной аранжировке:

– Вы вот говорите: от него ждали… Я вас правильно понял, Михаил? – и, не дожидаясь ответа подвел черту: – Получают чаще от того, от кого не ждут. Согласитесь?..

Екатерина Христофоровна зримо обеспокоилась предполагаемой колкостью характера своего мужа и приказала ему прекратить политические дебаты в такое светлое утро. Она даже нахмурила милые белесые бровки. Но тот нимало не обеспокоился исполнением приказа, а, как опытный полемист, вернулся к точке отсчета:

– Башню клинит… Вы, Михаил, что же: думаете там… – скрипнул он шеей, – наверху, меньше знают, чем мы с вами? Отнюдь-с, сказала графиня!..

– Ты еще анекдот расскажи, Яроша… – с видом безнадежного отчаяния посоветовала жена полковнику. – В монастырь ведь едем, солнышко!

– Анекдот? – Полковник с улыбкой подмигнул Батракову в зеркальце. – Ну, слушай… Приезжает полковник с полигона…

– Ой, не надо, не надо! – засмеялась Екатерина Христофоровна и свернутым в трубочку журналом «Русский дом» легонько стукнула мужа по губам, ничем не рискуя, как ей казалось. – Вот тебе!

Наташа Батракова обеспокоилась:

– Катя! Ты же мешаешь ему рулить!

– Ему? Рулить? Да он танки водил! Брал за дуло – и дул по кочкам! Правда, Яроша?

– Всех водил. Тебя одну не проведешь… – И снова получил по губам. – За носик…

– Дай мне Коленьку! – Наташа подергала ребенка за рукав, показывая этим, что занервничала. – Когда ты купишь какой-нибудь пылесос? Ну, жизнь!

– Наташа, я ж не ездил столько лет. Тут ведь опыт нужен!

– А разве вы в киноинституте вождение не сдавали? – спросил полковник. – Кстати, о носиках: у нас в Таманской ваш Носик служил… В мотострелках…

– Сдавали, – ответил Батраков. – Но навсегда… В Таманской, вы сказали? Это в той, которая баррикадников в девяносто третьем расстреляла?.. В той, которая фамилию Романовых осквернила?

– Ми-и-иша!

– Яро-о-оша!

– Кто не без греха, – мрачно сказал полковник. Он скрипнул шеей так, что разбудил Коленьку. – А что касается династии ваших Романовых, так за ними крови не один мешок… Бог терпел и нам велел…

– Да уж поменьше, чем за вашим ФЭДом!..

– Аминь, – сказал проснувшийся на слове «Бог» Коленька. – Коленька Богом тянеть… будить…

За такое заявление он получил по губам от мамы и щелбана от папы.

– Сказано «аминь» – аминь! – Батраков поцеловал ребенка в покрасневший лобик и показал на луг за окном: – Смотри, Коленька – лошадка!..

– Неть! Аминь! – упрямо повторил мальчик, послюнявил палец и потер ушибленное место.

Все засмеялись и затихли на время. До нового женского монастыря, если верить устным лоциям, оставалось не более сорока минут езды.

3

Как же чудно устроился деревянный монастырский посад!

На отрубе старого села, возле песчаной усновосприимной горки он встал в страшной неземной красоте, понимающий печальное небо, отвечающий ему деревянными куполами-сродниками. Из дьявольского плена обещающий этой лазурной синеве верность и послушание.

Как, на эхо каких дедовских молитовок отозвались бедные кошельки мирян? За семь лет встали здесь и два храма, и банька, и общежитие насельниц с белыми занавесками на оконцах, и хлев, и птичий дворик. Все это пахло свежим, умиренным, но не умершим деревом и фимиамом. Здесь все говорило, шептало, пело: «Мир!»

– Проходите! – остановилась одинокая монахиня с ведром, завидев паломников. Она переложила дужку ведра из правой в левую руку и указала на храм. – Там у нас летняя церковь… А зимняя – там, на погосте…

Говорила она негромко и ровно, но слова ложились на слух, как на пух.

– Спаси Господи, матушка! – отвечала бывалая паломница Наталья Батракова. Полковник громко кашлянул, покраснел наравне с шеей, поклонился и сказал что-то вроде:

– М-м… Славно здесь у вас…

– А служба начнется в девять? – спросил Батраков.

– Да, Литургия в девять. А сейчас сестры читают кафизму.

– А много ли народу у вас бывает, сестра? – спросила и Екатерина Христофоровна.

– Нет, – потупившись отвечала та. – Немного. Это монастырь новый.

– Тетя, – сказал Коленька. – Мамаська… – и прижался к ноге отца, не отрывая от юной монахини глубокого взгляда. Та отвела глаза и, поклонившись уже в развороте, на ходу, поспешила куда-то.

И паломники – всяк сам по себе, но одновременно – стали осматривать монастырскую усадьбу. Батраков с Коленькой поднялись в гору к птичьему двору. Коленька со всем соборным вниманием выспавшегося младенца рассматривал чернушек, пеструшек и черно-малинового, янтарноокого петуха с чешуйчатыми налитыми шпорами, который тут же возгласил.

– Это курочки, сынок… А это – петух. Слышишь, как он поет свой сигнал?

– Да… – серьезно и с благодарной готовностью отвечал мальчик.

– Мысли разные в голову лезут… – проговорил полковник за спиной Батракова.

Имеющий уже небольшенький молитвенный опыт, Батраков порекомендовал:

– Гоните их, эти мысли, Ярослав. И на святой земле бес не дремлет. Скорее, наоборот: здесь он искушает со всею своей ничтожной силой: гляди-ка, жеребец – монашка! Или…

– Да я не о монашках, Миша… – сказал полковник. – Я о смерти…

Не служивший в армии по причине плоскостопия, Батраков вечно чувствовал свою вину перед теми, кто нес воинскую службу. Даже не вину, а угрозу вины, ее мрачную мужскую тень. И сейчас, чувствуя, как его охватывает конфуз, и не желая подчиниться ему, Батраков заспешил с благоглупостями:

– Время придет – все там будем… Думай-не думай! но – ах! – как крепко он прижал к себе горячее тельце сына… – Туда, как говорится, не бывает опозданий…

– Это так, – согласился, вздохнув, полковник. Это не был тяжелый вздох. Батракову почудилось в нем облегчение, какое бывает у человека, одолевшего в привычно тяжелом бою. – Это так, Михаил. Только смотрю я на это кладбище… Вот бы, где думаю, я лег бы спокойно… Ах, как же хорошо-то и мирно!..

– Я вас понимаю, – глупо сказал неглупый человек Батраков.

– Мина… – сказал притихший в новом чувстве Коленька, по-детски безмысленно отозвавшись на слово «мир» антонимом…

4

В храме малолюдно.

Батюшка служил один. Он – высок, тощ, молод и как-то по особенному чист, несмотря на созвездия и кружево конопушек по бледному лицу.

Горели, потрескивали свечи и ангельски пели монахини, вставшие не на крыльце-клиросе, а полукружьем, обративши лица к регентующей.

Служба длилась уже около трех часов.

Коленька, как выяснилось, был еще мал для такого послушания. Когда Батраков отпустил его на пол, то он потопал осмотреться. Он держал себя до поры как всякий послушный и в меру любопытный ребенок. Однако каким-то чудесным чутьем он распознал со спины утреннюю монахиню и решил выразить ей свои чувства. С криком «аминь!», который должен был сказать окружающим о том, что он, Коленька, тоже не лыком шит, маленький Батраков с разбега врезался в черные одежды той монахини. Она качнулась, едва не выронив молитвослова, но даже не повернула головы. Пение ее длилось ровно и благостно. Батраков схватил Коленьку на руки и выскочил во двор – он понял, что ребенку уже невмоготу, что ему надо двигаться.

Они стали бегать с горки, Коленька упал, заплакал, выплеснулся и притих.

Тогда Батраков шепнул ему на ухо, что это Бог наказал за шалость, и увидел стоящего на углу храмового придела полковника. Тот утирал обильные слезы.

«Какое же я ничтожество в сравнении с этим воякой… – подумал Михаил Трофимович. – Ведь и мне часто хочется заплакать во время богослужения, а я стесняюсь: люди подумают, что актер во мне плачет… Да мало ли что они думают?.. Перед сыном стыдно… Ах, как стыдно перед этим мудрым ангелочком…»

– Ох! – подошел полковник, все еще утирая слезы и выпрастывая нос в отглаженный белый платок. – Ох, ну и Коленька – век не забуду! Гер-р-рой! А? Вы видели? Разбежался и – на та… на та… на та-ра-а-ан! – Полковника снова разобрало, и они хохотали, обнявшись с Батраковым, как братья.

Смеялся и Коленька, показывая пальцем на огромного белого гусака, который тянул шею и махал тяжелыми крыльями, пугая свое вольное прошлое попыткой возврата – туда не знаю куда.

Никому и ни за что не было обидно.

Светило и играло солнце.

И никуда не хотелось уезжать из этого трудного, из этого алмазно-ясного мира…

В июне

1

На все вопросы о том, что же приключилось на старом кладбище, Коленька не отвечал. И следа румянца не проступало на млечном лице ребенка. Батраков прижал его к себе – сын заплакал молча, как взрослый мужчина.

– Папка… – шептал он. – Папа…

– Я здесь, Коля… – Батраков, приткнул его лицо к своему плечу и стал поглаживать по затылку и косицам. – Давай споем: как на Колины именины…

– Они хотели меня унести… – Коленька повернулся к отцу, и глаза его были полны обиды, но не страха. – …за темные леса, за кр-р-рутые гор-р-ры… – Чтобы быть правильно понятым, он даже букву «эр» произнес старательней, чем всегда.

Не зная, что же все-таки приключилось, Батраков посоветовал Коленьке:

– Не бойся, сынок… Где наша не пропадала!

Он не спускал сына с рук до тех пор, пока тот не заснул и бледный румянец не заиграл на его лице.

Сам спустился на кухню, где Марианна Федоровна со всем тщанием осматривала голову Наташи. Не жалея, она лила из флакончика спирт прямо на эту неугомонную голову.

– Кто-нибудь что-нибудь покажет по делу? – Батраков увидел свежие ссадины среди непроходимых, как густой лес, волос Наташи. «Маньяк?..»

Едва Наташа открыла рот, как Марианна Федоровна сердито отозвалась Батракову:

– Наташа с Коленькой поперлись на кладбище! На них! напали! вороны!

– Отчего же вы на меня-то сердитесь, Марианна Федоровна? Я ведь не ворона…

– Да… Действительно. Вы у нас не ворона… Вы у нас орел! – съязвила теща, и тут же глаза ее обволоклись слезою. – Извините меня…

Как по команде «вольно», Наташа тоненько взвыла и спрятала в ладонях распухший от плача нос.

– Уколы от бешенства-а-а, до-о-чушка-а-а, ста-а-а-авить придё-ц-ца-а-а…

Ей вторила Наташа:

– Нет, мама-а-а… Молиться нада-а-а…

Они обнялись.

– Ребенка заикой сделаете… – Батраков бестолково искал валерьянку в посудном шкафу. Его бесило незнакомое еще пяток лет назад чувство своей вторичности и незначительности в семейной иерархии.

– Ребенок уснул, так вы давай выть… как пожарные машины! Вон как из вас вода-то хлещет, родные же вы мои!

– Это мне за храм… Это за храм мне такие искушения! – заговорила вдруг Наташа замороженным голосом медиума. – Как только мы начали строить наш храм – так хлынуло: золотую серьгу потеряла – раз, перчатки за сорок долларов лайка – два…

– Двадцать баксов перчатка!… – сочла теща.

– Садись: пять! – съязвила Наташа.

– Подумать только: профуговать одним только ротозейством, проворонить аж целых две пенсии ветерана войны и труда!… Где же эта ваша валерьянка-то черт-т-това?

Наташа вдруг сама успокоилась и приложилась поцелуем к щеке матери.

– Да, проворонила. И не надо никакой валерьянки, – высморкалась она в материнский фартук. – Он меня, гад, бил, мама, хватался когтями своими чешуйчатыми и грязными за мои волосы! Он, мамочка, гадил на меня сверху! даже стирать теперь проти-и-ив-но-о-о! О-о-о!

Наташу тошнило. Она, поднесла руку к животу, чтобы сдержать спазмы, легко оттолкнула с пути огромного мужа и промчалась в уединение.

– Кто, скажите мне, хватал ее и за какие волосы? – Батраков, не слыша объяснений, пытался понять причину семейной тревоги. – Ворона? Тогда почему мужского рода – «он»? Кто же это он? Кто этот «он», который на нее гадил – скажите, наконец, Марианна Федоровна?

– Кто да кто! Агрессивный Сатано – вот кто! На кладбище! Сатана кто: он или она? Мужского рода, но в виде кладбищенской вороны! – она ударила шеей, как воркующая голубка. – А вы уже взрослый дядька, Михаил Трофимович! И вы уже сами должны знать, что когда начинаешь богоугодное дело, то лукавый искушает с неистовой силою!

– Ну, хорошо, хорошо: с неистовой… – перевел дыханье Батраков и сел за стол. Он похрустел шеей, показывая, что обеспокоен одним этим слышимым хрустом не то мышц, не то позвонков и готов к разумной беседе.

– Господи! Хорошо, что я полуатеистка!

«Метиска, стало быть… Ну, почему никто не слышит в этом доме ни слов моих, ни мыслей! Я представляюсь им слишком незначительным…»

Так он считал, уязвленный наступающей старостью и безработицей.

– … Хорошо, что ногами на земле стою, а то бы и умом тронулась – страсти-то какие! А они тут сидят как ни в чем не бывало!

«Они» – это он, никчемный Батраков, который, не умея склочничать, тут же закипятился и оглупел:

– Он что: живет там этот «Сатано»? Я удивляюсь вам, Марианна Федоровна: вы умная, тонкая, образованная, но конфликтная… Да! Чего вам не хватает – у вас все есть, чтобы заплатить налоги и спать спокойно! Не пора ли… м-м-м… Один только ваш тон… способен…

«… Живу среди баб – сам таковой становлюсь…» – Он нервно умыл руки и прервал обличение.

– Ну, хорошо, Марианна Федоровна! – сказал он. – Предлагаю вечный, как водка, мир. А всю эту галиматью с кладбищем хотелось бы услышать с самого начала. Можно?

– А что вам мой тон?.. Это у меня юмор такой. Плюньте и разотрите. Я на работе всю жизнь командую, потому и тон… Все нервы уже на пережоге…

Как по отмашке дирижера, она сменила тон и рассказала, что на Старом кладбище Наташа и Коленька подверглись нападению ворон. Одна, пикируя, била телом и клювом Наташу, а еще

три серые особи пытались за капюшон утащить Коленьку. У Наташи порвана мочка уха – ворона утащила серьгу.

– Знаете вы, Михаил Трофимович, какой максимальный размах крыльев у серой вороны? Не знаете? А метр не хотите! – теща крестом раскинула руки и тут же, стыдясь чувств, бросила их к лицу, закрыла его ладонями. – И шнобель – во! Какой ужас! Какая наглость! – Голос ее звучал как из бочки.

– Что она, наша Наташа, делала на Старом кладбище? Чего они с Коленькой туда, не при детях будет сказано, поперлись? – спросил Батраков в смятении чувств, не замечая того, как руки его ищут в карманах пачку сигарет.

Он уже знал свои действия наперед: «Возьму ружье…». Он уже думал о частностях своего плана. Уйдя в себя, он едва слышал тещу, которая язвительно отвечала:

– Это у вас там никого нет! А у нас там весь наш род по линии Перовых лежит – у нас-то в роду артистов не было! Все наши на кладбище полеживают, все! Все наши были православными!

– «… И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе…»[36] – с нажимом произнес Батраков.

– Вот – вот! – Марианна Федоровна, похоже, испугалась мрачной велеречивости. – Это цитата, я надеюсь? Артист-то вы неплохо-о-ой! Уж этого у вас не отнимешь!

Батраков давно научился шутить сам для себя и во имя сохранения здравого рассудка.

– Я уже не артист… Я – суровый мститель, – сказал он и печальным белым клоуном пошел за ружьем.

2

Давным-давно вечный «командировочный» тесть привез из Вьетнама американскую компрессионную винтовку «Кросман» сто второй модели. «Воздушка» мирно покоилась в одном из домашних чуланчиков. До той поры, когда Коленька подрастет, войдет в рассуждение и займется отстрелом воробьев в подсолнухах, винтовку не трогали без нужды. Била она почти бесшумно, а пульки были притягательно красивы оттого, что покрыты тонким слоем меди. Когда Батраков смотрел на медь, у него становилось солнечно на душе, и мысли обретали стройность. Рассудок его уже не вздымал донного ила ненависти: какая-то грязная безмозглая тварь напала на Коленьку и до крови рассадила милую Наташину голову! Тут сам вид оружия ублажал предчувствием черной мести.

Патронов было еще пачек десять – он взял в запас сорок штук, насыпал в карман камуфляжа и надел его. «Перестреляю всех, с-собаки!» Сказывалось недовольство своим нынешним положением странствующего актера, своей болезнью и вечным отсутствием в доме Наташи, которая, казалось, канула в бучило церковных дел. Бучило это всасывало и уже не отпускало Наташу. А она тянула за собой и его грешного, и безгрешного Коленьку, и Марианну Федоровну, и соседей. Она страшно уставала, в доме не смолкали телефоны, и уже никто не брал трубок, зная, что звонят Наталье. Батраков помогал ей чем мог, но был не настолько набожен, чтобы с утра до ночи биться лбом об пол в молитвенном радении.

– Мишка, не вздумай! – услышал он голос Наташи. Она стояла в дверном проеме чулана. Лица и глаз ее было не рассмотреть в «контровом» освещении, но в голосе еще звучало эхо плача. – Не вздумай, Миша – это мистика… Это выше нашего понимания…

– Курить хочу… – Батраков прицелился в треугольник распахнутого под самою крышей окна мансарды.

Она не слышала. Вся эта история его болезни и наступившая ломка курильщика табака не казалась ей чем-то значительным.

Она продолжала свое:

– Это, Мишка, искушение… Батюшка же нам говорил – помнишь? – «Кто храма не строил, тот не знал искушений!» Это, милый Миша, мистика!..

«Пофигистика… Бермудистика… – отзывалось в черепе Батракова. – Табака три листика…»

И он с занудством человека, бросившего курить, произнес такой монолог:

– Вороны, Натаха, заботятся о своем потомстве! Видно, вороненок выпал из гнезда… А крылья-то слабенькие! Значит, взлететь он не может. Но взрослые вороны охраняют их даже на земле! Понятно объясняю?

Наташа все еще отсутствовала: вот она – и нет ее. Но Батраков нудно продолжал, чтобы не думать о сигарете:

– Взрослые вороны этих падших ангелов кормят, а тут вы с Коленькой случайно идете мимо. И эти бдительные твари сочли вас обидчиками… В таких случаях они дружно обороняют своих птенцов! Почему я не должен перебить их, наглецов, с десяток из-за своего птенца? И я перебью!

– На все Божья воля! Неизвестно кто кого сильней…

Она редко возражала мужу, что обозначало христианскую покорность. Но упрямство ее было тихим и неистребимым упрямством рабы, которая и в рабстве строит свое царство, пусть оно небесное.

– Не силой оружия, – с глубокою верою сказала Наталья, – а лишь непрестанной молитвой можно победить эту нечисть!

– Обязательно помолюсь, когда они лягут кверху лапками…

Батраков мягко отодвинул жену плечом и сбежал по лестницам вниз, на кухню. Там он прямо в упаковке взял со стола и сунул в карман ветровки две ром-бабы.

«Приманка!»

Он вышел со двора.

Ярость и жажда мести пьянили и пошатывали. Винтовка плотно лежала в чехле. Казалось, что она легко и страстно дышит.

– Миханя! Остановись! – кричала Наталья вслед, со стуком распахнувши треугольное оконце под крышей.

«Тщетно, барышня…» – Батраков шел, не оборачиваясь, молодым резвым ходом.

– Успокойся, Натаха: он артист!.. – услышал он обращенные не столь к Наталье, сколь к нему,

слова тещи.

«Да, блин, артист! Гоблин, блин! – отозвался внутренне Батраков и ускорил шаг, но скорость тут же отозвалась разлитой болью в ногах… – Куда же так рванул-то, дядя?»

– Егда при-идеши-и-и? – неслось ему вслед на церковно-славянском. Это Наташа так шутила. Так могла шутить только она, венчанная ему жена. Видно, прилетело ей из какого-то псалма. А раньше прилетало из пьес.

«Ну, и слава Богу!.. Она уже шутит…» И подумал вдруг: «А у Мишки-то Лебедева две жены к сектантам ушли…»

Он не знал, зачем бы ему жить без Коленьки и Наташи.

3

… Прошло около часа пути – и вот они, сады смерти.

Батраков так и подумал: сады смерти. Видно, какой-то пьесой навеяло.

Ему нужно взойти на пологую горушку, миновать новую часовню – и вниз, к фамильному, некогда деревенскому кладбищу Перовых, которое теперь находилось в холмистых кущах городской окраины.

Батраков приостыл в виду этих садов.

Как режиссер, он увидел сцену со стороны: человек с ружьем. Сейчас пойдет к часовенке, встретит там лысенького господинчика: где бы, мол, разжиться кипятком, товарищ? Без кипятка, товарищ, совсем плохо – совсем приостыл.

Солнце ушло чуть за полдень.

В плотную кладбищенскую тишину привычно врезался цыганский грай серых ворон. Батраков зарядил ружье пулей с хвостиком стабилизатора и почувствовал спиной легкий озноб: кто-то или несколько кто-то смотрели на него из тенистых зарослей. Никак не выказывая беспокойства, Батраков поднял ружье и пальнул, не целясь, в пятна гнезд. Потом пошел к вершине на своих тяжелых ногах, чувствуя в икрах такую боль, будто их свела судорога.

Часовня оставалась слева.

Кладбищенскими квадратами он шел с передышками в направлении вороньего базара, черно-розовых шапок их грубых гнезд. Он конфузливо оглядывалсяна кресты, звезды и надгробья из камня, добытого стародавними лыткарями. Его увлекло чтение эпитафий. «… Под сим бюстом ангела Божия покоится прах…» Он понял вдруг, что значит выражение «в пух и прах». Это когда земля становится праху – пухом.

Удар вороньего тела сверху в затылок был так плотен, что едва не свалил его с ног, а она ладилась вцепиться в волосы. Но лысеющий Батраков устоял, выругался и стал ширять воздух стволом, как штыком… Летучая крыса тяжко ударила его крыльями, а потом взмыла. Не целясь и не проследив за ней, он успел лишь выстрелить в ее сторону сгоряча. Но справа и слева сверху на Батракова шли еще две летающих биомашины.

«Война!»

Они били его крыльями, они с криками ярости клевали его, сопящего и вопящего, и не давали преломить «монте-кристо». Чтобы высвободить руки, пришлось бросить ружье в траурную кладбищенскую траву, кинуться в нее, а голову накрыть курткой. Непослушные в боли ноги Батраков подтянул к животу. Чуждые его сознанию мысли теснились, мешали одна другой, другая – следующей, как пассажиры тонущего суденышка.

Через мгновение стихло.

И тогда же он услышал каркающий, с ржавчинкой голос:

– Молись, буржуй!..

Батраков мгновенно оперся на локоть и откинул с лица полог ветровки. Перед ним на расстоянии плевка стоял, показавшийся высоким, как дерево детства, черный человек: глаза его, борода, одежда, немытые руки, зубы – все было черным и смрадным. Ружье тестя он держал наизготовку, а целился он в Михаила Трофимовича Батракова. У ног несчастного Батраков увидел слабо шевелящую крыльями серую ворону. С виду – шевелящаяся в порывах ветра кучка ветоши. Похоже, она умирала.

– А-а! – торжествующе воскликнул он. – Я ее, заразу, подстрелил!

Он приподнялся, сел на теплой земле, чувствуя, как оживают отдохнувшие ноги.

– Сидеть! – зычно, для острастки, скомандовал черный человек. – Ты зачем, буржуй, мою маму гепнул?!

Не было страшно. Батраков все еще не понимал смысла происходящего. «Каков трагик!» – подумал он о черном человеке. И спросил с неуместной, может быть, в этом саду иронией:

– А ты кто: ворон здешний?

– За маму я тебя застрелю и зарою!..

Батраков встал в рост – черный сделался на голову ниже.

– Не убий! – сказал Батраков. – Так завещал Господь. И ты не убьешь. Стреляй – ну? – Он просительно вытянул руки и шагнул вперед.

– Не подходи – урою!

– Еще чего! То он зароет, то он уроет! – Батраков достал из кармана ветровки ром-бабы, потом горсть выстрелов. – Видишь это? Чем это ты меня урыть грозишься, о, сын вороны и дятла? Похоже, я тебе сейчас настучу – хочешь?

– Ты-то меня? Не-э-э-т: побрезгуешь… А мне что? Я уже мертвый… Я в могилке живу. Водка есть… А? Что скажешь? – Черный стал пепельным.

– Да недосуг мне по могилам шастать, паренек! – Батраков силой вырвал свое ружье. – Почему ты ее мамой зовешь, кукушонок?

– Убил бы тебя, гада, за маму! Мама тут спокон веков жила! Она меня кормила, она к моей могилке колбасу носила!.. А теперь что? Давай мне, гад, хоть денег! – Казалось, пепельный вот-вот горько заплачет, он уже по-детски лопотал нечто, состоящее из междометий и обрывков знакомых слов, из которых повторялось лишь «дайгад»… «дайгад»…

– Нехорошо, земляк, за убитую маму денег просить… – сказал Батраков, укладывая ружье в кожаный чехол. – А теперь – забирай маму, забирай ноги в руки и двигай по холодку!

– А вы – Родину! Вы Родину-мать продали! – Погрозился бродяга большим, как булава, кулаком.

– Иди! – скомандовал ему Батраков. Он вошел в роль сурового мстителя.

Не шелестела листва.

Только по слабо дрожащим на земле камуфляжным ее теням можно было определить, что веет легкий верховой ветер.

– Пошел! – повторил Батраков.

– Тихо… Дай хлеба… – Молвил побежденный и протянул руку.

Батраков отдал ром-бабы.

Тот сказал вдруг с набитым ртом:

– До театра военных действий… в детстве… из-за таких вот баб… я… в драмтеатр ходил…

Засмеялся сам себе и пошел прочь.

А в сердце Батракова защемило от услышанного.

«Боже ты мой, Боже! Это же чье-то дитя!… Оно бегало на речку… Смеялось… Говорило маме «больно…»… За какие грехи-то, небушко, ась?»

Он проводил взглядом трусящего по кладбищенской лещине мужика и, с леденящим кровь страхом, перекрестился, увидев, как тот нырнул под могильную плиту.

«Что?!» – Батраков почувствовал, как похолодели, как очужели ноги. Он быстро пятился в направлении кладбищенской часовни, собирая руку в щепоть и творя молитву…

«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его…»

Молитва дробилась, ускользала – он не замечал этого. Вошел в часовню, перекрестился и ощутил в утомленной памяти стройность знакомой молитвы.

«… Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнага…»

4

Медово пахло хорошими свечами.

Батраков, как умел, молился о прибавлении ума. В полумраке часовни он вспомнил, что давно не ходил к причастию, щадя больные ноги, что перестал сдерживать мелкие обиды на Наталью, которая уже не была ему келейницей, как прежде, а вся принадлежала новостройке. И оттого, что она редко бывала дома, что приходила выжатой и усталой, в нем, в Батракове, легко вскипала уязвленная супружеским одиночеством душа.

«… Я бы помогал ей, был бы на посылках, но как? Верни Ты мне ноги, Господи – я пойду! Ты

дал мне, Господи, пылкое воображение – как мне гасить его, когда я не вижу жены изо дня в день? Потом уезжаю на гастроли – и снова не вижу ее… Потом посты… И близость тает… На пустом месте взрастает горечь одиночества… И я уже не знаю, как ее обнять, что ей сказать… Я – пустое место, я старая бычья кожа, натянутая на некий обруч ее судьбы. Жизни-то наши пошли порознь – как быть? Мы строим храм, но почему рушится во мне мир, Господи?! Ведь есть же, Боже мой, простые человеческие страсти… Не в монаси же мне подаваться, бедному актеришке? Какой из меня мних – грех один? И каким же мрачным я вижу свое будущее – черней небес! Просвети же Ты мой разум, Господь милосерд! Я утратил смысл существования! Устал… Вспотел мыслями…»

Как разговаривают с Богом? Батраков говорил с Ним, как со столоначальником, словно составлял объяснительную записку о своей нерадивости, а иначе не получалось. Потому он не верил, что будет услышан. Не верил, вот беда…

Он застывал, когда нить молитвы ускользала, когда слова не нанизывались на эту ниточку, а рассыпались по деревянному полу часовни мелким бисером…

Вошла псаломщица, заворчала, заворочала укоризненные слова. Батраков понял и вспомнил, что в храм нельзя входить с ружьем.

– Простите, матушка… – сказал он, перекрестил лоб и потерянно вздохнул. – С головой у меня что-то не в порядке… Вот увидел, как человек вошел в могилу…

Она пальцами тушила догорающие свечи. Посмотрели один на другого: она с неба – он с земли. Оба были голубоглазыми, но в одних глазах сиял свет – в других сгущалась тьма.

– Вы – артист Батраков… – Сказала псаломщица и выпрямила узкую спину. – Вот вы какой стали… Не изменились. Я еще училась во ВГИКе, а вы уже снимались в кино… Меня зовут Нина…

Она посмотрела на Батракова пронизывающе, он снова обмер, думая: «Уж не было ли у меня чего с ней… А, кобель?»

Он протянул спасительное:

– А-ах, та-а-ак… – И сказал неуместное: – Ноги вот болят… Не знаю прямо… – Потом фальшивое: – По грехам и болезни… Да… – Наконец выровнялся: – Скажите: может живой человек сойти в могилу или это я сошел с ума? Он… Оно на моих глазах… вот только что… – Указал он за спину и на дверь.

– Живой человек всю свою жизнь в могилу сходит. А там… – она кивнула туда же, куда и Батраков. – Там Павел Дмитриевич… – Отвечала чернавка. – Он второе лето здесь летует…

– Лютует, вы сказали?

– Я сказала: летует… Он – бывший военный. Три года, как его дочку, девочку, сбила «тойота» на трассе… Похоронили. Запили вместе с женой. Развелись. Потерялись. А сейчас, он говорит, наступило время разрухи, обрухи, мокрухи и недобрухи… Вот он вырыл тут подкоп к дочкиной могилке и живет-печалуется… Любил, Царствие ей Небесное…

Оба доверчиво перекрестились.

– Так бывает… – кивнул Батраков, сопроводив этот кивок глубоким вздохом облегчения. –

Кажется, я его как-то встречал в нашем лесу… Ай-яй-яй!… Подумать только: зачем мы пришли на землю, Боже мой! Вопрос? Вопрос…

– Гамлет… – С неуловимой гримасой неприязни произнесла Нина. – Разумеется. Заходили развлечься – и вот те на! – от ворот поворот. Это казино не для нас. А вы еще играете, Михаил? Я слыхала, вы в девяносто третьем на баррикадах стояли? Такое ими, бесами этими, не прощается…

– Спасибо, кто-то еще меня помнит… – Он не стал рассказывать, что живет редкими окраинными концертами. – А как вы здесь, Нина? Вы, судя по внешности, на актерском учились? Какими же судьбами здесь и сейчас?

– Одной судьбой. Одной единственной, Михаил… – Она едва заметно, как во сне, улыбнулась. – Я училась заочно на сценарном, у Кожиновой. Потом реформы, весь этот бред бытовых отношений. Работа – пас, муж спился – пас. Детки хлебца просят – вист. И вот – кто бы мог подумать, батюшки-светы! – Пригодился старославянский. Люди вымирают, священников не хватает. Я и приноровилась читать отходные молитвы об умерших. Живые – пытают, мертвые – питают. На жизнь хватает… А вы – как: смерти боитесь?

От нее, будто утренней прохладой с реки, потянуло на Батракова близостью смерти.

– Боюсь, да… – сказал он и вышел прочь, зажав ружье под мышкой.

Кладбищенским покоем, садами смерти, между землею и небом, тем пространством, где посредничали серые умные вороны, шел человек Батраков. Он продирался сквозь колючие живые изгороди кустарников на склоне и оставлял на их сучьях кусочки дешевой синтетической ткани с ветровки.

Он спешил домой.

Усталое сердце болело о сыне…

В поезде

Смеркалось, как заведено.

Поскрипывал тайными сочленениями чистенький вагон. Неугомонные колеса выговаривали: тяжело – хо-лод-но… хо-лод-но…

Коленька Батраков на четвереньках ползал по коврику вагонного купе и катал свой джип, рыча, как тигр-р-р-р-р…

– Куда же ты едешь, оголец?

Единственный пока попутчик, чья шевелюра уже унесена ветрами времен, снял очки для чтения и обратился к маленькому Батракову со свойской улыбкой. Такой, с которой во всем, наверное, подлунном мире обращаются к несмышленышам. Несмышленышем чувствовал себя в таких оборотах и сам стареющий Батраков, как бы становясь со своим ребенком единым существом и принимая в душу некое саднящее напряжение.

Коленька притормозил в позе низкого старта и прокурорски пристально посмотрел на своего экзаменатора. Ясно читался в этом взгляде суровый приговор. Он был таковым, что пассажир с изумлением произнес:

– Чего-о-о?.. – и вслед за очками отложил на откидной столик газетный кроссворд, в котором было написано «карга». Затем на ощупь он нахлобучил колпачок на предмет со странным названием «авторучка».

Батраков знал за сыном это редкое свойство думать, прежде, чем отвечать на какой-либо вопрос. Эта вдумчивость и пугала, и радовала его.

– Куда мы едем, Коленька? – выступил он посредником и взял сына за руку.

– На Восток… – угрюмо глядя на чужого, ответил мальчик.

А отец пояснил попутчику:

– Он у нас редко вступает в разговоры с посторонними людьми – вы уж не обессудьте! Меня зовут Михаил Трофимовичем…

– Вася… – отозвался попутчик, садясь на полке и нащупывая ногами тапочки на полу. – Вот такого бы мальчика нам в президенты – все бы меньше бы людям горя было!..

И они с Батраковым поручкались. При этом мощная правая лапа попутчика тискала не менее мощную правую Батракова, а левой – он шуршал в пакете под полкой.

– Я не пью в дороге, – замутил перспективу Батраков.

– И я не пью, – заверил лысый Вася. – За ворот лью…

– Др-р-р-р! – тарахтел Коленька, не спуская с этой сцены синих, вбирающих свет глаз. – Вж-ж-ж!

– А я – специалист… – ставя на стол маленькую «Московского» коньяка, сказал Вася и, позевывая, добавил: – …по наладке дорожной техники… У нас в Брянске – завод… дорожной техники… – И раскрыл ножик, чтобы порезать копченой колбасы. – Вот… колбасой… – начал было он, но Коленька прочел укоризненное стихотворение:

– Саля – лёля – аба-ка! Ой, низя, низя, низя!

Васина рука не дрогнула, он лишь с опаской глянул на малыша и спросил:

– Это он про что?

– Про нож… – улыбнулся Батраков. – Мы пока не даем ему ножа…

– Эх, президент! – улыбнулся и Вася. – Я думал ты про колбасу! Почему, думаю, низя? Мо-о-ожно… думаю… Ну, хоп!

– Хоп! – сказал Батраков.

Коленька смолчал. Он переметнулся на колени к отцу и пытался определить, что бы значило это «хоп», не спуская глаз с натужно вздрагивающего кадыка Васи. И вдруг сказал громко:

– Вася!

Вася поперхнулся, подышал носом, подвигал опытной диафрагмой, утер слезы.

– Не паць! – сказал отзывчивый на слезы Коленька, сам едва не плача.

– А-а… – отмахнулся тот. – Не президентское это дело… Народ плачет, а горе вперед скачет… А? Вот и дедушка подтвердит… Правда, дедушка? Слушай, что-то мне твое лицо знакомо. А? Ты в каких войсках служил, Миш, а?

– В морском десанте, – невольно соврал Батраков, вспомнив одного из своих любимых персонажей. – Девять месяцев в подвешенном состоянии. Потом высадился на грешную сушу и до сегодняшней нашей с вами встречи так и служу.

– Не понял: правда, что ли? А я служил в автобате, как у родного бати. Не, но лицо твое я точно где-то видел…

– Хоп! – сказал лексически чуткий Коленька.

И Вася послушно выпил еще одну – мягко, бесслёзно, ласково…

Батраков смотрел на летящие за окном огоньки в черном море зимы. Он касался губами белесой и шелковистой макушки сына. Несмотря на болезнь ног, он был еще силен. И простая, как пожар, злость начинала туманить голову, напрягая отмирающие мышцы. Он гасил ее этими нежными касаниями, тихо вскипая от того, что попутный Вася принимал его за дедушку Коленьки, и от самого этого вынужденного вагонного общения, за свою простодушную ложь о морском десанте.

«Не будь психом… Что он такого сделал, этот Вася? – внушал он, сегодняшний и смиренный, себе, вчерашнему и буйному. – Терпи… Прощай человеку его невольную бестактность – он другой… Просто он – другой… Всяк несовершенен на свой лад… Вот он написал в кроссворде «карга» – что имеется в виду? Просто сыграй его в характере – и поймешь… и остынешь… и пожалеешь…»

Но некий бес нашептывал: «Замучаешься играть…»

Ситуацию спасал ангел, сидящий на отцовских коленях.

Вскоре постучали в дверь купе.

Вася с простецкой дерзостью ответил, что все дома.

И явились двое: каменно-вежливая молодая проводница в казенном кителе с юбкой, указавшая молодой даме ее место на одной из верхних полок. И сама эта дама с матерчатой дорожной сумкой на колесиках была молода, с нежным румянцем на смуглых щеках. Он робко светился, заметный даже в полусвете купе.

– Она еще успела заскочить в последний вагон, когда поезд тронулся – шла! – пояснила проводница перед тем, как удалиться. – И дошла!

– Дак, зашибись! – сизым голубем проворковал Вася. – Шик-мадера! Прынцеса! Я тож дохожу!

Невиданно желтыми, обезьяньи быстрыми глазами вошедшая дама скользнула по лицам попутчиков. Молча отвесила каждому полупоклон.

Батраков отсадил Коленьку, встал, чтобы забросить ее сак в верхнюю нишу и, ударившись о верхнюю полку, не заметил, что рассек голову на месте какого-то старого шрама.

– Хоп! – отметил этот факт Коленька.

– Во, видал! – сказал Вася, обращаясь к разумению Коленьки. – Добро наказуемо! Поал, Мыкола? А барышни любят пиратов!

– Лысый, прекрати… – с опасным спокойствием произнес грубость Батраков. – Не засоряй, мягко говоря, ребенку голову плохими словами!

– О, мль, попал, мль… – обхватил руками голову Вася. – В вагон для некурящих, мль…

– Не паць, дядя, мль… – волновался Коленька.

Барышня, казалось, ничего не слышала и явно ничего не говорила. Однако ее желтые, медовые глаза потемнели, когда она увидела кровь на той ладони Батракова, коей он потер ушиб на голове. Молча, она присела на краешек васиной полки, раскрыла дамскую сумочку и извлекла из нее невскрытый перевязочный пакет. Мужчины замерли от мала до велика, как заколдованные, как ископаемые со стеклянными глазами экспонатов краеведческого музея. Молчание это длилось все то время, пока барышня останавливала сочащуюся из раны кровь. Она озаряла, она возводила на царственный трон туманный смысл душевного бытия.

Потом она улыбнулась Батракову – и сладким эхом озноба отозвалась эта смущенная улыбка в его разрушающемся теле. Он ответил ей открытой, благодарной улыбкой.

– М-м-м! – застонал Вася, видя это, и, улегшись головой в сомкнутые козырьком руки, прервал стон.

Коленька живо следил за жестикуляцией глухонемой барышни, которая на пальцах и стремительно меняющейся мимикой объясняла отцу, что помнит его по кино и любит.

– Спасибо, милая… – отвечал счастливый Батраков.

– Спасибо, миляля, – дублировал Коленька.

– Ей нужно переодеться… Коленька, побудешь с тетей – а мы с дядей Васей пойдем и быстренько покурим… Хорошо?

– Хоп!

– Нэ кажи «хоп»! – тихонько пригрозил пальцем Батраков, а глухонемая барышня с шутливой укоризной качала головой, глядя на эти его угрозы.

– Пошли, Вася…

Вася встал. Он оказался низкорос, пузат, одышлив и длиннорук.

«Вот беда…» – двигаясь сквозь анфиладу купейных отсеков, испытывал недовольство собой Батраков. Он, сам того не желая, жалел отчего-то неудачного попутчика, не хотел этой жалости, брезговал ею, но оказался не волен разом победить то, что считал слабодушием и отрыжкой ложного гуманизма.

В тамбуре он протянул Васе пачку сигарет, но Вася протер дырочку в белой замше оконного стекла и молча уставил один глаз во тьму за окном – он не курил.

«Бережется», – не без зависти подумал Батраков и спросил отчего-то:

– Что такое карга?

– Где? А-а… Старая женщина… Пять букв…

– Так, может быть, – бабка?

– Карга.

– У тебя, Вася, дети есть?

– Почему – «ты»? Мы что, вместе свиней пасли в Индюшьей балке?

Батраков лишь недоуменно поднял брови, не найдясь с ответом.

А Вася между тем зло сказал, глядя в оконную проталинку:

– Был бы у меня отец… в детстве, мль… Я б точно инженером стал… А так х… ль: живешь – молотишься, жуешь – торопишься…

Стоя у супротивного окна и прикуривая еще одну сигарету, Батраков сделал вид, что не слышит Васю.

«Как же это все… как же все это печально: лысый Вася… Карга… Глухонемая принцесса… Прости, спаси и помилуй мя, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий…»

Он глубоко и протяжно вздохнул:

– А-ах…

Потом зевнул и пошел укладывать сына.

2002 – 2003 гг., с. Валерьяново

[1] Дома офицерского состава.

[2] Жизненное пространство *(нем.)*

[3] Р.У.Эмерсон (1803 – 1882), американский писатель.

[4] *Подвиг* в церковно-славянском значении – это жизненный путь человека.

[5] *Гомилетика* – наука о церковном красноречии в духовных учебных заведениях.

[6] *Точок* (от слова ток – место для обмолота хлеба); точки в деревнях и селах Алтайского края служат местом вечерних увеселительных сборов молодежи.

[7] *Фрак* – татуировка по всему торсу.

[8] *Голбец* – отгородка или чулан в крестьянской избе возле русской печи со спуском в подполье.

[9] Бикса *(жарг.)* – любая молодая девица.

[10] Из Синодика Дедовской пустыни.

[11] Сорочий снег *(сиб.)* – первый снег зазимка.

[12] Презрительное прозвище казахов, подобное «макаронникам», «хохлам», «кацапам», «чернож…», «желтопузым», «янки».

[13] *Номады* – кочевники.

[14] *Мехоноша* – поводырь слепца, обычно мальчик.

[15] *Салазан* – толстый, змееподобный дождевой червь, добытый из земли из-под навозной кучи *(сиб.)*

[16] Они говорили не «чайная», как принято было позже, а «чайна», т. е. Китай.

[17] Сутенерша.

[18] *Кантюжник* – специальность нищего. Кантюжники целыми деревнями «кантюжили», «кантовались» по городам, прося подаяние, в отличие от мостырников, например, которые просили милостыни на мостах.

[19] Завод имени Чкалова.

[20] Фа?йно *(зап.-укр. жарг.)* – хорошо, красиво.

[21] Куваржонка *(сиб.)* – варежка (от варяг), рукавичка.

[22] *Скорбут* – то же, что и цинга.

[23] Цены на 2003 год.

[24] Откр. 10:6.

[25] На сленге наркодельцов, «ляпка» – взвесь талька, крахмала, димедрола, муки. Такие взвеси способны превратить любой наркотик в быстродействующий яд. Они закупоривают сосуды головного мозга, что приводит к мгновенной смерти. Это преднамеренное убийство.

[26] Улица Рочдельская расположена вблизи метро «Баррикадная» в Москве. Она примыкает к территории здания бывшего Верховного Совета СССР.

[27] *«Москвичка»* – фасон мужского полупальто, модного в середине пятидесятых годов XX в. в холодных областях СССР.

[28] Даниил Заточник.

[29] Бомбила *(жарг.)* – профессиональный нищий.

[30] Домовой.

[31] Стихи поэта Ивана Овчинникова.

[32] Это рассказал автору протоиерей о.Валентин из г. Бердска.

[33] *Ревендук* – парусная ткань во времена парусного судоходства.

[34] Еще не опубликованные стихи Татьяны Дашкевич.

[35] Слова Андрея Платонова.

[36] «Екклезиаст»

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch